

Анатолий Гладилин

БЕС- ПОКОЙНИК



Анатолий Гладилин

БЕСПОКОЙНИК

рассказы разных лет



ББК 84 Р7
Г52

Анатолий Гладилин
Б Е С П О К О Й Н И К

рассказы разных лет

Ответственные за выпуск *Александр НИКИШИН и
Елена КОРМИЛИЦИНА*
Редакторы *Виктория ШОХИНА и Александр НИКИШИН*
Оформление обложки *Игоря ШЕЙНА*

Г 47002010201—2 без объявл.
ЛР—060597—92

ISBN 5—85910—011—7

© Анатолий Гладилин, 1992.

© “Конец века”, независимый литературный альманах, книжная серия, 1992 г., совместно с еженедельником “Аргументы и факты”

СОДЕРЖАНИЕ

Поезд уходит	5
Два года до весны	9
Официантка Фая.....	26
Каким я был тогда	38
Исповедь драной кошки.....	43
Беспокойник	53
Южно-Курильские острова.....	102
Тигр переходит дорогу.....	136
Латиноамериканские рассказы	154
Домовой ЖЭКа № 13	177
“Запорожец“ на мокром шоссе.....	232
Концерт для трубы с оркестром	261

ПОЕЗД УХОДИТ

Он вставал всегда с правой ноги. Потом шел в туалет и там читал газету. Завтрак он съедал сам, обед делил с товарищами, ужин отдавал соседу.

На работе он семь раз мерил, потом один раз резал, искал в своем глазу бревно, встречал по уму, выше головы не прыгал.

У него была фигура как раз для костюмов Мосодежды. Нравился он брюнеткам. Один глаз у него был оранжевый, другой — фиолетовый, брови зеленые, волосы малиновые, нос с крапинками.

В такси он давал десять копеек чаевых и в ресторане всегда к сухому вину брал сыр.

Он был ранен под Ржевом, кончил вечерний институт, был десять лет женат, в воскресенье водил в зоопарк пятилетнего сына.

Кроме того, он мечтал, чтобы не было войны и не повысили план на следующий квартал, получить премию и путевку со скидкой на август в Мацесту. Кроме того, он мечтал и о новой квартире, и об успешной защите своего проекта, который надо пробить и, самое главное, внедрить. Кроме того, он мечтал (скрытая неясная мечта) о поезде, который уходит.

Он тихо предполагал, что счастье мужчины зависит от женщины.

Он женился по любви на девушке, которая пришла к нему в общежитие, когда он не кончил институт и получал семьсот рублей на заводе. Но прошли времена общежития и маленькой зарплаты. Прошло четыреста или пятьсот лет с однообразными прогулками в кино, чтением книги на ночь, укачиванием ребенка, запахом кухни, пеленок и тоски у телевизора.

Новые молодые девушки с удивительно длинными нога-

ми, в коротких юбках и пестрых кофточках бродили стаями по улице, работали в его отделе, отдыхали вместе в санаториях. Он понял, что жена его не самая красивая, и он еще мог нравиться, он нравился молоденьким брюнеткам, и ему было еще не поздно, а скоро будет поздно.

А жена его подавала ему горячую рыбу и холодный чай, хотела в театр, когда был аврал на работе, и принималась за стирку в его свободный вечер, и носила дома старый халат, и сэкономила на спичках, а деньги бросала на ветер.

Юность свою он не отгулял. Сначала война, потом работа и учеба. Ему было не до девушек. Надо было пробиваться в жизнь, а она оказалась очень сложной и опутала его тысячами канатов, очень тонких, но не рвущихся. Ведь жена тоже отдавала ему свою юность. Ведь она все посвятила ему и его ребенку.

Оставалось только мечтать. Мечтать о поезде, который уходит.

И однажды, в восьмой день недели, после дождичка в четверг, когда осыпались листья и зацвели каштаны, а солнце повернуло на лето и зима на мороз, — вместо последних известий объявили, что из города уходит поезд.

В этот поезд каждый имел право сесть с кем хотел: с женой, с любовницей, с незнакомой девушкой или так, один. Этот поезд делал человека свободным в любви, освобождал от всех связей, от всех канатов, очень тонких, но не рвущихся.

Вечером из города уходил экспресс “Голубая мечта”. Уходил первый раз за последние две тысячи лет.

По городу пронеслось: торопитесь, больше такого не будет.

Первым к поезду бросился пожилой бухгалтер, примерный семьянин, отец троих детей. Он шел под руку с молоденькой кассиршей и нес в руках теннисную ракетку. О семье он не думал. Семья будет жить счастливо и спокойно, таково было условие поезда.

Старый учитель, отпраздновавший тридцатипятилетие своей свадьбы, ушел с пожилой учительницей, которую он знал уже лет двадцать и за эти двадцать лет беседовал только об уроках и домашних заданиях.

Все, что раньше было тайно и скрыто, — всплыло на перроне.

Тридцатипятилетняя жена доцента, очень порядочная, умная женщина, носящая в кармане два диплома, оставила супруга и пришла с восемнадцатилетним продавцом из мясного магазина.

Двадцатитрехлетняя жена профессора, изменявшая ему чаще, чем любая из других, известных городу женщин, привела за собой своего седого мужа, крепко вцепившись в рукав его пиджака.

Прима местного театра явилась по вызову восемнадцати поклонников. Она выбрала режиссера. Из семнадцати оставшихся пять переиграли и привели студенток, двое остались в одиночестве, остальные — вернулись к семьям.

Пара молодоженов села вместе в поезд, чтобы показать, что никакая “Голубая мечта” их не разлучит.

Студент-математик вел к поезду студентку, в которую был безнадежно влюблен четыре года. Раньше на все его письма, признания, дежурства у окна она отвечала насмешками.

Молодой слесарь на перроне дождался девушку, которую видел один раз, в троллейбусе.

Зубной врач, помолодевший и взволнованный, бродил по улицам, покупая конфеты, не требуя сдачи, и радужная улыбка не покидала его лица. Он узнал, что после пятнадцати лет верного и нравственного супружества жена в одиночку пошла к поезду.

Нельзя сказать, чтобы в городе сразу образовался избыток жилплощади. С каждой улицы уходило по несколько человек. Но тем не менее покинутые супруги осаждали приемную начальника милиции и категорически требовали не выпускать поезда, вернуть неверных. Им казалось, что еще можно все исправить, что можно уговорить. Но секретарша нервно поглядывала на часы, а начальник милиции уже давно занял плацкартные места с билетершей из соседнего кинотеатра.

А тот, чьими мечтами был вызван поезд, уже давно метался по перрону, окруженный молоденькими брюнетками.

Малиновые волосы его были тщательно приглажены, сшитый в ателье костюм чуть жал в плечах. Наш герой прыгал на левой ноге, посматривал на часы и боялся, смертельно боялся, что из-за ошибки диспетчера поезд может задержаться на полчаса.

Раздался первый звонок. Наш герой еще не решил, с кем ехать. Брюнетки выжидательно молчали, шурша короткими юбками. А может, имеет смысл ехать одному? Он теперь выберет как следует, у него теперь масса времени. Он подошел к буфету, выпил, не торопясь, рюмку коньяку и купил “Краснопресненские” сигареты.

Пять минут до отхода поезда. Наконец-то, слава Богу, его не будут ожидать однообразные вечера с телевизором, запахом кухни и стираного белья. Ему не будут подавать горячую рыбу и холодный чай. Он сможет в воскресенье ходить на стадион и не видеть старенький опротивевший халат жены. Да и жене станет без него легче. Кроме неприятностей и лишних хлопот, он ей ничего не приносил. Его семья будет жить счастливо — таково условие поезда.

И хорошо. Теперь жена отдохнет. Ведь она очень, очень измучилась с ним. Ведь у него тяжелый характер. Ведь он принес ей много горя. Теперь все, конец.

Он закурил и неторопливо пошел вдоль перрона, потом свернул к выходу и спустился на площадь.

Смеркалось. Он шел по знакомым улицам, по которым ходил по десять тысяч раз. Так же, как и раньше, зажигались окна, но ему казалось, что дома подвешены на синих и розовых абажурах и тихо, тихо раскачиваются.

Он шел, курил и не смотрел на часы. Он знал, что именно в эти минуты поезд уходит.

ДВА ГОДА ДО ВЕСНЫ

Т.е. более отвратительного настроения, чем в ту осень, у меня давно не было.

Весь сентябрь я провел на полигонах в одном из горных районов страны. А когда кончились испытания и я думал, что вернусь в Москву, пришла телеграмма: сидеть еще месяц в Свердловске. Сидеть и ждать, когда командование округом проведет контрольную проверку. Телеграмму я получил прямо в штабе, куда явился сразу по возвращении в Свердловск. Я пытался выяснить, когда же это будет. Увы, все могло быть “завтра“, а могло произойти перед ноябрьскими праздниками. Мне сказали, что будут вызывать меня для консультации, и заказали номер в гостинице.

Я понял, что предстоит весь октябрь болтаться без дела в незнакомом городе. А между тем единственно, чего я хотел, — это не быть в одиночестве. В этом году произошло достаточно много событий, о которых мне не хотелось бы вспоминать. Я мечтал быть занятым по двадцать часов в сутки, чтоб приходиться в гостиницу и тут же засыпать. Так нет, все наоборот!

Я сказал себе, что буду разрабатывать новое, но знал, что ничего не выйдет. Пока не принят мой последний вариант, ни о чем новом я думать не в состоянии. Уж такой собачий характер! Наоборот, буду целые дни нервничать: как пройдет контрольная проверка, утвердят ли?

Просить руководство, чтоб до вызова я сидел в Москве, бесполезно. Я числился здесь консультантом, и мое дело было телячье — ждать.

В отделе очень предупредительный подполковник заказал пропуск в Дом офицеров, чтобы меня, человека сугубо штатского, пускали на все концерты и увеселительные мероприятия. Подполковник догадывался, что мне будет не очень весело, и он сделал все, что мог.

На почтамте никаких писем мне не было, да и не могло быть, и я вообще подошел к окошечку “до востребования”, чтобы не нарушать традиции.

В номере я пробыл недолго, ходил по улицам, пообедал в ресторане при гостинице, выпил несколько и пошел спать.

Утром я побрился и надел белую крахмальную рубашку и галстук, который мне приятель привез из Англии. Когда я спускался вниз по лестнице, то увидел себя в зеркале и остался доволен. Ростом меня мама не обидела, плащ сидел на мне хорошо, и в свои двадцать восемь лет я выглядел еще неплохо. (В восемнадцать лет я любил косить на себя в зеркало. Потом это прошло. Потом было не до этого. Но сейчас я вдруг вспомнил юность.)

Вернулся я часам к пяти, обегав весь город. Брюки мои были обрызганы грязью до колен, а уж о ботинках и говорить нечего (в троллейбусе первым делом мне наступали на ноги, потом, правда, извинялись).

Два дня я еще пытался найти себе какое-нибудь занятие. Даже зашел в отдел к подполковнику, даже был в Доме офицеров на танцах.

Как я и предполагал, Свердловск оказался не самым веселым городом из тех, что я видел. Собственно, у него другое назначение. Это исконно рабочий город, и дай Бог ему здоровья. И мне бы здесь работать, а не шататься бездельником.

Но и в номере я чувствовал себя неважно. У соседей целый день на полную мощность гремело радио. Ревело и когда они были в номерах, и когда уходили в город. Я попросил горничную зайти в пустые комнаты и убавить громкость. Она на меня посмотрела как на нездорового. И вообще, традиционная кровать, тумбочка, стол и какое-то непонятное животное на столе, литое, весом килограммов на двенадцать (ничего себе украшение!), начали действовать мне на нервы.

Странно, на полигоне я жил в восьмиместной палатке, и все было нормально.

Кончилось тем, что на третью ночь на меня напала бессонница и я даже написал письмо туда, куда совсем не стоило писать. Впрочем, утром я одумался и решил его не отсылать.

И вот, находясь в таком трансе, я встретил Славку. Мы вместе кончали институт, не особенно дружили, но сейчас, столкнувшись на улице, обрадовались друг другу.

Вечером я переехал к нему. У него была своя комната в двухкомнатной квартире. Преподавал он в техникуме, и когда приходил с занятий, его ждал кофе, сваренный мной, а также незамысловатая холостяцкая подкормка — колбаса, сыр, консервы. На большее я был не способен. Мы болтали, вспоминали сокурсников и случайные встречи с ними. Мне удалось настоять, чтобы Славка не уступал мне свой диван, и я мило устроился на раскладушке.

Теперь проблема вечера была решена.

Я опять зашел в отдел к подполковнику. Он был, как всегда, любезен, но по его виду было ясно, что он не понимает, за каким чертом человек выстаивает очередь в бюро пропусков и отрывает от работы занятых людей, вместо того чтобы лежать дома, читать газету и ждать преспокойно, когда вызовут.

Ладно, решил я. Надо взять себя в руки. Тебе повезло. Тонна времени. Ты давно не заходил в библиотеку просто так, не изучать материалы, а читать разные книжечки. А ведь за это время писатели, наверно, поднаписали. Это они умеют.

Я записался в читальный зал городской библиотеки, просмотрел журналы и увидел, что есть на что обратить внимание. Я просидел целый день и был весьма собой доволен.

Утром я опять явился. Меня привлекла история войны на Тихом океане.

Стоп! Вот тут-то все и начнется. Словом, в библиотеке, штудируя Перл-Харбор, я познакомился с девушкой, которую звали Римма. Кстати, как ее зовут, я узнал на следующий день. И, пожалуй, это к лучшему. Причем как мы познакомились — совсем просто или слишком сложно, — я почему-то не могу вспомнить. Не то она мне что-то сказа-

ла, не то я ей, но потом мы стояли на лестнице и вели вполне светский разговор. Почему меня вдруг понесло на беседу, объяснимо: мне надоело молчать до вечера. Хотелось послушать свой голос.

Потом я посмотрел на часы и вдруг предложил ей пройти по городу. Она согласилась, мы вышли.

И вдруг на меня опять нашла тоска. Почему я ушел из библиотеки? Я же должен выполнять свой план. Теперь, когда я уже поговорил с полчаса, я спокойно мог молчать неделю. Так нет же. Раз я ее вывел на прогулку, то надо развлекать разговорами. О чем говорить? Я с детства не терпел умных разговоров. И потом я уже лет пятьдесят не гулял под руку с незнакомой девушкой.

Я твердо знал, что она мне не нравится. То есть девушка была миленькой и в ней что-то было. Но это "что-то" явно не в моем стиле, и я бы никогда раньше не обратил на нее внимания. Правда, этот год я ни на кого вообще не мог смотреть, кроме.

Ну, дело прошлое...

Вообще я давно убедился, что я человек настроения. Я должен был бы радоваться, что наконец завел какое-то знакомство, а я вдруг стал опять думать о своей работе. Уверен, что сиди я по-прежнему за Тихоокеанской войной, мечтал бы о встрече случайной.

Так обычно со мной бывало по праздникам. Ждешь, договариваешься с разными лицами, все хорошо, и даже погода великолепная — так нет, накануне по телефону ты слышишь какую-то пакостную интонацию, холодно прощаешься, утром встаешь злой, как выкипающий чайник, и, если не перехватят ранним телефонным звонком, устремляешься за город к скучной тетке.

Правда, на следующий день с большим интересом слушаешь рассказы домашних, как вечером разнесли твой телефон. Но вот и все удовольствие. А праздники прошли.

Итак, я разозлился и на себя, и на девушку, которую вел под руку.

Обычно в этих случаях (по многочисленным воспоминаниям моих знакомых) между двумя интеллигентными людьми разговор идет по следующему плану:

Погода (наконец-то прояснилась).

Кинофильм (по афише).

Город (хороший городишко, но не Москва).

Последний модный московский концерт (присутствовал).

Поэт Евтушенко (разное отношение).

Какая-нибудь история из собственной биографии (смешная).

Туалеты (а вы одеты прямо по-московски).

Вторая история из собственной биографии (участвует женщина).

Предложение куда-нибудь зайти (купить конфет).

Более интимная беседа.

Не тут-то было!

Началось с того, что она неосторожно похвалилась своими туфлями. Звучало это так:

— Какая грязь на улице. Жалко туфли. Таких здесь не достанешь.

Я же заметил, что такие мокрошлепы были модны как раз в пору неандертальцев.

— Может, вам не нравится и мое пальто?

— У меня нет никаких сомнений, что этот фасон вы содрали с самого элегантного картофельного мешка.

— Однако, может, и я вам не нравлюсь?

— Атомная бомба страшнее.

— Благодарю. Вы, кажется, считаете меня уродиной?

— Но зато не самой последней. Место пятое или шестое от конца.

Так началась наша беседа. Причем по моему тону трудно было догадаться, шучу я или говорю на полном серьезе. И она не понимала. Что ей оставалось — обижаться (и расписаться в том, что ты полная дура) или принять игру?

Мы зашли в магазин. Мне надо было взять хлеба и масла для ужина.

Поймав ее взгляд, я сказал, что пусть не надеется, я конфетами угощать ее не буду. Может быть, если вы очень попросите, я куплю корку хлеба, и то черного.

Здесь она не выдержала:

— Я и сама вам могу купить килограмм шоколада.

Естественно, ликованию моему не было границ.

Мы блуждали по городу, и у одного дома она попросила меня подождать. Я понял, что наконец-то (но почему так поздно?) ей эта болтовня надоела и она нашла предлог тактично от меня избавиться.

— Мне надо отдать одну вещь.

— Ради Бога. Но жду ровно пять минут.

— А если десять?

— Пять, и ни минуты больше.

— Никогда не приходилось больше пяти минут ждать девушку?

— Никогда.

Врал, конечно, безбожно.

Я прождал шесть минут, закурил и хотел уйти. Но тут она вышла. Это меня настолько поразило, что я даже стал вежливее. Но как ее зовут, принципиально не спрашивал.

— Ладно, проводите меня домой.

Она назвала улицу, на которой жил Славка.

— Так мы соседи!

— Вот несчастье!

Она постепенно попадала в тон.

Наши дома разделяло здание техникума. Здесь мы остановились.

— Так как вас зовут?

— Странно, что вас это вдруг заинтересовало.

— А все-таки?

— В следующий раз.

— Если завтра в двенадцать дня вы появитесь на этом месте, буду счастлив наблюдать вашу физиономию.

Я все-таки был хорошо воспитан и для приличия назначил свидание.

Я поднимался по лестнице спокойный. Я твердо знал, что она не придет. Но когда я открывал дверь, мне вдруг захотелось, чтоб она пришла.

Она стала приходить ко мне каждый день, и мы сидели подолгу в комнате (я примерно догадываюсь, что думала о нас соседка). Потом мы ходили по городу, изредка захо-

дили в кино, изредка в библиотеку, а погода была паршивая — сверху лило, снизу хлюпало. Славка привык к Римме и даже удивлялся, если не заставал ее, придя с работы.

Римма привыкла сидеть тихо в комнате, когда я пытался работать, читать книги, когда я ложился подремать, говорить только тогда, когда я ее спрашивал. У нас сложились странные отношения. Мы были на “вы” (так хотел я). Она могла сидеть рядом со мной, потом положить голову мне на колени, но ничего такого, что вело бы хоть к малейшей интимности, между нами не было.

Я узнал ее биографию, весьма несложную. После школы — золотая медаль. Училась два года в Полиграфическом институте. Потом решила уйти. Сама. По собственному желанию. Она работала в совхозе на целине. Через полгода зимой стал трактор. В нем сидели двое ребят и она. Был буран, и был мороз. И мотор остыл, и ребята бились, а потом пошли. Они пытались пробиться с Риммой, но потом вернулись назад. Буран чуть стих. Ребята поднялись, но Римма сказала, что она идти не сможет, пусть ребята идут вдвоем. Но сама идти отказывалась. Она забралась обратно на сиденье. Ей очень хотелось спать.

Тракторист ударил ее по лицу. Она рассеянно, близко на него посмотрела и попыталась улыбнуться. Но ее лицо уже ей не подчинялось. Тракторист скинул с себя полушубок, укрыл ее ноги и пошел с товарищем в клубящийся мрак.

Через час они вернулись на другом тракторе. Четыре месяца Римма лежала в больнице. Потом поступила в университет, на первый курс филфака, но на следующий год она заболела и перешла на заочное. Вот и все внешние события ее жизни. Немного для двадцати двух лет.

На улице грязный дождь. Мне надоело смотреть, как он трогает своими пальцами стекло, и я задернул занавеску.

Я лежу на диване, повернувшись к стене, и делаю вид, что сплю. Римма сидит за столом и читает вполголоса

учебник. Это я ее просил читать вслух. Теория литературы очень усыпляет.

Я знаю, что каждое утро заводские гудки будят сумрачный Свердловск. Весь город идет на работу. Уходят соседи, тихо пьет чай и выскальзывает на цыпочках (чтоб меня не будить) Славка. Даже соседский сын Петька и тот бежит в школу, только я убиваю попусту время. Чтобы время убить, надо меньше думать. Для этого нельзя быть одному. А что будет дальше? Не прошло и двух недель, а я уже лезу на потолок.

— Римма, о чем вы думаете?

— В данную минуту о фабуле и сюжете.

— Прекрасно. А вообще о жизни? Что вы будете делать дальше? Вам нравятся эти фабулы и сюжеты?

— Нет.

Милое занятие! Свою злость я срываю на ней.

— Вы бросили один институт и бросите второй. Дальше что?

— Летом я думаю поехать в экспедицию на Саяны. Там подруга, она меня зовет.

— Кем в экспедицию? Что вы умеете делать? Фабулу и сюжет? Замерзать на тракторе? Вам двадцать два года. Чего вы достигли? Чего вы хотите? О чем мечтаете?

Она молчит. Я вскакиваю с дивана и хожу по комнате. Я рассказываю о своих товарищах, о себе. Я вспоминаю, с каким трудом мы всего добивались. Мы как проклятые сидели над учебниками. Мы читали в подлиннике нужную нам английскую литературу. Мы сутками пропадали в лабораториях. Я полгода спал по четыре часа в сутки. Я не успевал даже прочесть газету. Я объясняю ей, что ненамного ее старше, но, когда скоро я поеду на Север, полковники будут докладывать мне и спрашивать моего разрешения. Да, вот она видит сейчас меня бездельником! Но ведь это один месяц, один месяц за последние десять лет! А раньше мне всегда не хватало времени. И не будет хватать. Догадывается ли она, что я делаю и над чем работаю?

Я говорю очень долго и чувствую, что я говорю не для нее. Я говорю для себя. Я вспоминаю свои прежние заслуги. Я себя успокаиваю. И это противно.

— Ну а вы, Римма? Что у вас впереди? Выходите хоть замуж. Или не предлагали?

Естественно, задевает ее именно последняя фраза.

— Не думайте, что я такая. Это вы меня задавили своей эрудицией, остроумием, успехами. До вас я не сидела вечерами дома. Меня все время приглашали. Летом приезжал Семен. Приезжал специально жениться на мне.

— Ну?

— Ну, видите, я отказалась.

— Кто он, Семен?

— Хороший парень. Простой инженер.

— Ну и дура!

— Спасибо. Да я, знаете...

— Ну, похвастайтесь, похвастайтесь. Кстати, тот, кто пользуется действительным успехом, об этом не говорит.

Она молча смотрит на меня. У нее хорошие глаза. Я как-то раньше не обращал внимания. У нее, действительно, очень красивые глаза.

— Послушайте, — говорю я, — сегодня суббота. Проведите меня в университет. Я столько лет не бывал на обыкновенном студенческом вечере. Наверное, в субботу что-нибудь устраивается.

Перед концертом в зале сплошные перемещения. Все куда-то бегут, толкаются, смеются.

— Зайка, Марта, посмотрите на Римму! Поразитесь!

Римма тоже в этом круговороте. К ней подходят какие-то девушки, ребята. И она чем-то очень озабочена и очень весела. Ей надо что-то всем успеть сказать, и им надо.

На меня ноль внимания. Никто не смотрит.

Постепенно публика оседает на скамейки. Концерт. Маленький капустник про экзамены, общежитие, влюбленных.

Все это когда-то было. Восемь лет назад я участвовал в таких же капустниках. Те же самые хохмы. И так же, как и тогда, смеется зал.

Вот так, наверно, люди начинают ощущать старость. Считаешь себя молодым и вдруг убеждаешься, что ты все знаешь, что ты не понимаешь, вернее, прекрасно понима-

ешь, зачем эти юноши и девушки пришли сюда, но тебе, именно тебе, это совсем неинтересно. Ты все знаешь, ты все испытал. Ты сейчас можешь увести с собой самую красивую студентку. Ты опытнее и умнее всех мальчиков, что выются около нее. Но когда ты будешь говорить с ней, когда ты будешь смеяться с ней и разбрасывать направо и налево остроты и очень крепко, уверенно вести ее в танце, вот в этот момент, когда студент Коля смотрит тебе вслед и кусает губы, — как отделаться от мысли, что это уже было, было, и не однажды?

Капустник кончился. Энтузиасты сдвигают скамейки. Старые приемы: тушится свет, несколько прожекторов бродят по головам танцующих.

На эстраде джаз. Девушка поет:

Все девчата с парнями,
Только я одна.
Все ждала, все верила...

*(Любимая песня пассажиров в
комбинированных вагонах.)*

Я вижу, как девушка на эстраде тихо раскачивается, как вытягивается вслед песне.

Я, наверно, впадаю в детство, потому что мне нравится ее слушать, потому что мне хочется быть студентом Колей и смотреть кому-нибудь вслед, закусив губу, потому что я хочу пригласить на танец студентку и не знать, что будет потом, и вообще, потому что.

Я танцую с Риммой. Танцует она плохо. Я представляю, я пытаюсь представить, если бы сейчас в зал вошла та, другая. Другая. В смысле, для тебя — единственная. Была.

Она, конечно, всех красивее. И одета лучше. Как говорится, элегантно. Если бы я сейчас с ней танцевал, на нас бы все смотрели. Когда-то о нас говорили: “Самая красивая пара“. Ты старик, сколько тебе лет?

На нас бы все смотрели? Четырнадцать? Семнадцать? Она все равно была бы всех красивее. Она это знала. Каменное лицо, и взгляд как бы издали, из глубины зрачков, но в упор. Ура, вот только этого тебе не хватало! Пошли воспоминания.

А вот и царица бала. У нее высокие ноги, и она облокотилась на руки брюнетистого баскетболиста. Она танцует, как будто несет полный кувшин молока, и бросает в окрестности порожные взгляды.

— Послушайте, генерал, пойдете отсюда на улицу.

Правильно, не забывай, что ты не один. У тебя есть обязательства перед девушкой, с которой танцуешь. Генералом она стала меня называть сегодня вечером. В отместку за мою утреннюю речь, весьма эмоциональную и идеологически выдержанную. Но я ей выше ефрейтора звание не присвою.

— На выход, ефрейтор!

Город спит. Окна темные, но в каждом окне на первых этажах видны фикусы, кактусы и прочая непонятная мне растительность в цветочках-горшочках.

— Послушайте, генерал, а эту девушку тоже звали Римма?

— Какую?

— Ну, ту, о которой вы думаете, и иногда вслух.

Надо отдать должное — у нее редкая интуиция.

— Не “тоже Римма”, а просто Римма.

— Подчеркнули?

— Не обижайтесь, ефрейтор.

— А что мне еще остается? Так почему же вы не женились на ней, генерал? Неужели вам дали отставку?

— Я ни на ком не женюсь. Чтобы жениться, надо отдать себя другому.

— Сокровище.

— Да, надо отдавать себя другому, а меня еле хватит на мою работу. Меня не хватает на самого себя. Я же знаю, как это будет. Вечером измочаленный приплетусь домой. Разговор с женой на месткомовские темы. Все. И мне захочется куда-нибудь пойти. Где я смогу рассказать что-нибудь новое для других. А жене я не смогу сообщить ничего нового. Она уже все будет знать. И я уйду. А та, другая Римма, не такая, чтобы сидеть и ждать меня. Она тоже уйдет. Так кому это нужно?

— Слушайте, генерал, а не можете ли вы хоть раз сказать мне “ты”?

— Не нарушайте субординацию, ефрейтор.

...Можно вспоминать еще дни, похожие один на другой. Вечером приходил Слава, и мы втроем пили чай или вино, если я его покупал. И потом Римма уходила, когда я ей говорил: “Ефрейтор, можете на сегодня быть свободным”. А Славка меня ругал: зачем, дескать, я так плохо к ней отношусь? А потом рассказывал, что было днем в техникуме. И я слушал внимательно: ведь это была жизнь.

Но, к счастью, на этом свете все рано или поздно кончается.

Однажды вечером мы втроем распили бутылку коньяка, и я уехал на Север. Я пробыл там неделю. И все было очень хорошо. Очень хорошо человеку, когда он убеждается, что умел работать и умеет работать, что он делает нужное дело.

И все было очень хорошо. И самое главное — я понял, что дальше будет еще лучше.

Но что я об этом могу рассказать? Только то, что там, на Севере, меня накрыла зима. То, что в комнате, куда меня поместили, была выбита одна рама, и ветер налегал на стекло, и в комнате стоял такой собачий, кошачий, свиный холод, что надо было прыгать до потолка или тут же ложиться в постель, натягивая на себя все матрасы и одеяла. Я мог бы жить в общих номерах, где было тепло, но спижонил — захотел отдельную комнату. И в своем плаще я производил весьма жалкое впечатление. Хорошо, что летчики дали мне сразу меховушку, которую я надевал под плащ, и поднимал большой меховой воротник, и прятал голову от ветра. Нет, летчики хорошие ребята! Они притащили мне электрическую печку с вентилятором, и я смог сидеть и работать по вечерам, подставляя попеременно все части тела под теплую струю воздуха. Но вот и все, что можно рассказать.

Меня подвезли на “Волге” в город, который обычно называется Н-ск.

До отхода поезда на Свердловск оставалось полтора часа. Я уже высчитывал, как утром заеду к Славе, потом на аэродром и вечером в Москву.

И тут я вспомнил про человека, который помог мне в трудные для меня дни. Да, теперь-то я понял, как он мне помог!

Я пошел на городскую почту. Я сказал ей, чтобы она мне написала до востребования. И пока я шел, я все больше хотел получить от нее письмо.

И я его получил.

“...Генерал! Я становлюсь ревностным служакой. Вот до чего доводит стремление выслужиться. Стремление и желание, оказывается, не одно и то же. Я раньше не догадывалась об этом, всегда была человеком штатским и противником войны.

В Свердловске мороз и снег. Ветер. И ночью не спать страшно. Летняя форма одежды уже не годится (это я про вас, генерал).

О вас здесь говорят, но больше обо мне. Чудно. И никто в университете не знает, что вы генерал. Я хотела бы знать это долго.

Вчера со мной у подъезда долго стоял один студент. У него пестрый теплый шарф. В этом месяце я отвыкла, чтобы меня кто-то провожал домой. Времена меняются.

Несу чушь, генерал. Голова гудит. А парень в шарфе был очень мил. Чушь, конечно. Пишу о нем, а думаю о вас. Больше писать не стану, а то у меня как в сказке — чем дальше, тем страшнее.

Все, мой генерал“.

Я встретил ее утром на улице, когда шел к ней. Она стояла у троллейбусной остановки. Я подошел сзади и тронул ее за рукав. Она обернулась. Я ожидал, что она покраснеет, но она смотрела на меня долго, словно не узнавала.

— Вы уже вернулись, генерал? А я думала, что мне повезет и я вас больше не увижу.

— Я хотел сегодня улететь.

— Это на вас очень похоже. Отойдемте в сторонку.

Мы стоим у какой-то заколоченной лавки. Я смотрю Римме в глаза. Удивительно — она резко похорошела за эти дни.

— Да, это на вас похоже. И когда?

— Самолеты идут вечером.

— Послушайте, генерал, не смотрите на меня так.

— В чем дело? Нервы?

— Не смотрите. Вы можете отвернуться?

— Ефрейтор!

— Вы хотите, чтобы со мной была истерика здесь, на улице?

На улице снег и светло. Но занавески у нас, как обычно, опущены. Римма лежит на диване, я сижу у стола и говорю ей гадости. Это очень напоминает наш первый разговор. Мне трудно выскивать какие-то пошлости, глупости, но я их произношу. Я знаю, что я не могу сделать подлость этой девочке. Я ей многим обязан. У меня мало времени, но я должен сделать все, чтобы она не думала обо мне, чтобы она спокойно спала сегодня ночью, чтобы она не вспоминала меня в эту долгую зиму, что уже наступила. Надо ее обидеть. Надо доказать ей, что ты эгоист, зазнайка, подонок, что ты не стоишь, и вообще — не было тебя.

Но мне очень не хочется это говорить.

Но вот я выдохся.

— Послушайте, Римма. Вот мой совет. Выходите замуж за инженера с хорошим именем Семен. Или ждите весны — и на Саяны, в экспедицию. Пора вам начать настоящую жизнь.

— Генерал, в прошлом году у меня не было весны, — это первые слова, что она произносит за час, — я была больна. Вы правы. Надо дожидаться весны и уехать на Саяны.

— Кстати, ефрейтор, у меня тоже не было весны. Было такое время, что не дай Бог.

— Вы мне рассказывали, генерал. Сто тысяч раз. И у меня к вам просьба: помолчите немного. Иногда это вам идет.

Я сижу и слушаю, как тикает будильник. Ну и звук! Как у трактора. Римма подняла голову и смотрит на меня. Мне надо идти, надо встать и выйти на улицу. Еще немного — и я подойду к Римме. А дальше? Я не должен. Я не имсю права. А может, я боюсь? Она меня остановит одним взглядом. Я еще раз повторяю себе, что не должен так поступать. Я не имею права. Надо выйти на улицу.

Я встаю. Она опускает голову на подушку и говорит, делая ударение на каждом слове:

— Не будьте трусом, генерал!

...Вечером мы попрощались со Славой, выпили шампанского и поехали в аэропорт. Самолеты не шли: в Москве был гололед. Мы поехали обратно в город, прямо на железнодорожный вокзал. От долгой езды в машине, а может, и от вина Римму укачало. Она сидит рядом со мной и, положив голову мне на руки, спит. Двенадцать ночи. Мой поезд через полтора часа.

Все скамейки заняты. Люди сидят, спят на чемоданах, на полу, на лестнице. Внизу толпа у закрытого входа в ресторан: пьяные ругаются с милиционером. В углу плачет ребенок.

Римма спит, и я не решаюсь пошевелинуться.

Час ночи.

Один за другим уходят поезда. Народу поубавилось. Пусты лестницы. Ловкачи умудряются даже разлечься во весь рост на скамейках.

— Римма, — говорю я, — вам надо ехать. Машину вы не поймаете, последний троллейбус.

Мы выходим на пустынную площадь, где по краям лежит снег. В одной руке у меня чемодан.

— Генерал, попробуйте сказать мне один раз “ты”.

— Ты.

— Смешно. А я, пожалуй, не смогу. Так вы не хотите, чтоб я вам писала?

— Нет, ефрейтор, мы никогда не увидимся. Вам это не нужно. Будет весна, и вы уедете на Саяны.

— Вас, генерал, можно поздравить. Вы закончили работу, да еще провернули интрижку.

— Как умеем, ефрейтор.

— А троллейбус скоро придет.

— Наверно.

Разговор переходит на транспортные темы.

Троллейбус выскакивает из-за угла, как помятая собака. Мы обмениваемся церемониальным рукопожатием.

— Разрешите вас поцеловать, Римма?

— Генерал, не нарушайте субординацию. Всего хорошего.

Она вскакивает на подножку. Я вытягиваюсь и отдаю честь.

— Благодарю за службу!

Это называется — выдал под занавес. Глупо, но уже поздно. Троллейбус укатывается.

Поезд шел, спотыкаясь на станциях. Женщина с нижней полки включила радио на полную громкость, когда появились “все девчата с парнями, только я одна”.

Ее муж (вторая нижняя полка) выходил за мной в коридор. Он был молчалив и говорил только “Сейчас станция”, когда было видно станцию, “Вот река”, когда мы переезжали реку, “Тронулись”, когда поезд трогался, “Чай принесли”, когда приносили чай. В вагоне-ресторане за моим столом пожилая пара. Они громко изучали меню... “Возьмем курочку и булочку... и рыбки... и кофейку...” “Маслица закажи”, “Придвинь тарелочку”.

Сиреневый туман в вечерней дымке тает.

Над тамбуром горит хрустальная звезда.

Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Что с девушкой я прощаюсь навсегда.

Эта старая песня прилипла ко мне. И еще я думал о работе, о товарищах и что, наверно, начальство меня отметит, и о том, что скоро Москва, и о новой работе.

На следующую ночь я проснулся часа в четыре. Я не смог заснуть. Оделся и вышел в пустой коридор.

Подъезжали к Ярославлю. Снег на полях кончился, и я снова вступил в осень, вторую осень в этом году.

Что со мной происходит? Каким я стал? Внешне все

благополучно, внешне все блестяще. Я уверен, что мне многие очень даже завидуют. Внешне. Но почему мне так плохо?

Я понял, что сам страшно завидую. Я завидую этой девушке Римме, что осталась в Свердловске. Она может любить. Она любит, и жизнь для нее наполнена смыслом, и даже сейчас, сейчас она счастливее меня.

А я никого не люблю. Я, наверно, не смогу любить... Глупость, ерунда! Этого не может быть. Ты еще молод и силен. Ты должен верить, что у тебя все впереди. Будет еще весна! Будет еще небо голубое, синес, оранжевое. Надо верить. Надо хотеть жить, хотеть любить!

Вагон дернулся и остановился. Я вышел на пустой перрон. Проводник зевнул и плюнул в лужу. Станцию загоразивал товарный состав. Я пошел вдоль вагонов. И спереди, и сзади над перроном повисли красные огни светофоров.

ОФИЦИАНТКА ФАЯ

Жизненный опыт проверяется в мелочах. Опытные люди всегда берут с собой хлеб с колбасой. И когда в столовой Н-ского соединения встречаются только что прибывшие два офицера, и один из них нервно общипывает горбушку и следит горящими глазами за маячившей вдалеке официанткой, которая, увы, не первый класс в смысле женской красоты, — а другой офицер, только что “заморив червячка” заботливо припасенным еще в городе бутербродом, лениво поигрывает вилкой, — словом, вам уже все понятно. Как бы потом ни расхваливали достоинства первого офицера, какой бы высокой оценки он ни заслужил на инспекторской проверке, вы всегда будете скептически к нему относиться. Дескать, человек он хороший и дельный, но вот жизненного опыта маловато. И наоборот, сытое поигрывание столовыми приборами как-то сразу внушает вам уверенность, что на второго офицера можно положиться.

Правда, опыт — дело наживное. Но советуем приобрести его раньше, чем вы сядете за последний столик (остальные места заняты), ну, скажем, третьего ряда.

Естественно, бывают и исключения. Если вы молодой жгучий брюнет в новой форме, то вам повезло, и через полчаса вы получите полную порцию борща по-московски.

Если же вы человек пожилой и по вашему лицу видно, что вы измучены заботами о больной жене и двух взрослых дочерях, то ваше дело, прямо скажем, труба.

Итак, вы сели за столик и как человек воспитанный (а в нашей армии все такие) не стучите по столу кулаком, а просите у соседей меню и внимательно изучаете стоимость гуляшей, яичниц, рисовой каши с отварной курицей. Вы успели заучить весь текст, а официантка все порхает на самом дальнем расстоянии от вас, потом любезничает полчаса с лихим капитаном-артиллеристом, потом исчезает на

сутки в кухне (разумеется, я беру не действительно прошедшее время, а то, какое вам кажется).

Наконец, когда она приближается к вам на минимально близкое расстояние, вы сердито замечаете ей, что, дескать, не успели позавтракать и что, дескать, здесь за порядки? Вам приходится повторить свое обращение, и тогда вас нежно обрывают:

— Вас много, а я одна! Подождете!

Дремлющий рядом гражданский техник-строитель вам сочувствует и говорит, что в этой столовой никогда не было порядка, официантки делают что хотят, потому что столовая подчинена не нашему соединению, а областному военному округу. Он вспоминает, что сам наблюдал, как эта официантка отказалась обслужить даже командира соединения, когда тот пришел за пять минут до закрытия. Полковник должен был пойти на кухню, переговорить с заведующей столовой, и только тогда ему сделали яичницу и принесли творог.

Проходит полгода (по вашему летосчислению), и запыхавшаяся официантка (вы уже знаете, что зовут ее Фая) подбегает к вам и спрашивает, посчитали ли вы и что у вас было.

Вы ревете, что это уже черт знает что и что у вас еще даже не брали заказ. Тогда официантка сурово достает блокнот и карандаш.

- Харчо.
- Нет.
- Борщ с мясом.
- Уже нет.
- Бифштекс.
- Продали.
- Оладьи.
- Кончились.

Вы заказываете щи, гуляш, кофе и продолжаете уплетать хлеб с остатками горчицы. Техник-строитель вам читает лекцию о “выходе блюд”. Столовой невыгодно, чтоб готовые кушанья не разбирались и оставались на ужин. Поэтому готовят примерно на среднее количество посетителей. Надо раньше заказывать, пока есть выбор блюд.

К вам приближается Фая. Но, как ни странно, чем ближе ваш обед, тем меньше у вас энтузиазма. Фая несет шесть тарелок супа. Каждая тарелка накрыта такой же большой тарелкой, на ней другая и т.д. Башня тарелок раскачивается над вами, и вы ясно себе представляете, что будет с вашим кителем, когда на него обрушатся две верхние тарелки.

Но все кончается благополучно. Правда, вместо щей вам подают молочный суп. Щи уже кончились. Если вы человек проницательный, то заранее догадались, что гуляша вам не видать. Вам приносят рисовую кашу с вареной курицей — последнее, что осталось из вторых блюд.

А кофе?

Тут на вас, мягко говоря, повышают голос. Какой может быть кофе в обед? Компот! Я приняла заказ? Так вы бормочете себе под нос!

Нет, скорее в часть, туда, где корректный командир роты вам все объясняет и показывает, дежурный командует “смирно“ и четко докладывает, солдаты при вашем появлении вытягиваются и старательно отдают честь — и так постепенно тягостное воспоминание о нахальных официантах у вас рассеивается.

А потом снова ужин.

Но человек ко всему привыкает. Вы знаете, за какой столик и к какой официантке надо садиться, чтобы вас скорее обслужили, вы запасааетесь свежей газетой. Да и официантка уже вас заметила и поворачивается быстрее.

Если вы остаетесь служить в этой части, вас, как старого знакомого, начинают обслуживать в первую очередь.

Если вы уезжаете, то сначала на правах анекдота вы несколько раз расскажете в веселой компании о веселом обеде в столовой Н-ского соединения. А потом вы забываете. Когда-нибудь вы опять поедете в другую часть, и столовая вдруг будет еще хуже, и вы с благодарностью вспомните официантку Фаю — дескать, там все-таки неплохо кормили. А может, и не вспомните. Вы на действительной службе, и у вас достаточно своих забот и воспоминаний. К тому же вы стали человеком опытным.



У зам. Господа Бога по кадрам выдался тяжелый день. Он привык к тому, что ежедневно рождаются десятки тысяч человек и каждого надо куда-то устроить и определить ему судьбу. Но сегодня женщины на земле словно сговорились.

Был исписан целый рулон небесных архивных ведомостей. Ангел, посланный на склад, вернулся растерянный. Там ему сказали, будто лимит на сегодня исчерпан.

— Бюрократы! — ругался зам. Господа Бога по кадрам. — Ишь, кончился лимит. Так что, я должен запретить на земле рожать?

Ему осторожно напомнили, что, собственно, расходы рулонов ограничил он сам приказом по канцелярии от 17 мая 438 года до н.э. В те времена на небесах шла кампания за экономию и бережливость.

Когда рулон наконец достали и машинистка вложила копирку и приготовилась печатать, вновь рожденных набезало около девяти тысяч.

Первой на очереди стояла женская душа, родившаяся в России.

Видя нахмуренные брови зама, ангел секретарь-машинистка вздохнула: “Не повезло ей, бедной“.

— Почему не повезло? Она будет здоровой, даже высокой и пухленькой. Но в конце концов, не могу же я из каждой делать Ларису Латынину или Лючию Бозе. Не всем проводить лето на Ривьере или быть знаменитой гимнасткой. Итак, Фая тиража 1940 года. Из-за любви к ней никто не застрелится. Она будет рыжей, курносой, близоруккой. Характер мягкий и нерешительный. Место работы — официантка в столовой. Следующий!



Детство ее прошло в сибирском поселке на берегу реки. Раз в три года река затопляла поселок, и все жители перебирались на Лысую сопку и ждали, когда сойдет вода.

А потом возвращались, чинили, латали дома, и жизнь продолжалась. Потому что это был поселок сплавщиков леса. Река им давала хлеб и работу.

Однажды во время очередного наводнения погиб ее отец. Вода начала наступать ночью, а отец с вечера валялся пьяный на берегу, оставленный такими же пьяными и ничего не помнящими сплавщиками.

С тех пор Фая стала бояться реки, темноты и одиночества.

Ей было тогда десять лет, и мать повезла ее в Челябинск к своей старшей замужней дочери.

В семнадцать лет Фая кончила десятилетку. Училась она средне и кончила школу потому, что ее старшая замужняя сестра хотела исполнить волю умершей матери — дать Фая образование.

Фая мечтала:

скорее уйти из дома и не сидеть у сестры на шее, получить какую-нибудь приличную, чистую специальность,

о красивом мальчике Юре, который бы ждал ее каждый день у булочной, просил бы разрешения поцеловать и говорил, что хоть его заработок маленький, но они вместе будут пробивать дорогу, только бы Фая согласилась стать его женой. И она отвечала сотни раз — да, пускай у нас мало денег, но мы будем работать. Пускай у нас будет шалаш. Однажды Фая даже нарисовала этот шалаш.

И в книгах, и в кино, и в театре говорилось о любви, в классической литературе, что проходили в школе, герои стрелялись из-за женщин, а в современных кинокартинах — уезжали на стройки коммунизма. Один умный человек даже сказал: “Любви все возрасты покорны“. С тех пор прошло много времени, но никто с ним не спорил. И Фая ждала своего первого поцелуя.

Но уйти из дома она не могла, так как не имела ни жилья, ни специальности.

Получить специальность, приличную и чистую, она не могла, так как для этого потребовалось бы еще год, как минимум, сидеть на шее у сестры.

Местные Ромео даже не пытались зажимать ее в темных

коридорах, а наиболее умные и добрые товарищи по школе сразу и безвозвратно зачисляли ее в разряд “свой парень”.

По окончании школы Фая еще верила в возможность мальчика Юры. Но уже спустя три месяца она поняла, что его не будет. То есть смутно она о нем мечтала, но убеждала себя, что его не будет. Убеждала себя довольно просто: смотрела в зеркало.

Миф о мальчике Юре рухнул на торфоразработках. Фая поехала туда сразу после выпускных экзаменов. Чтобы получить приличную или хотя “чистую” специальность, нужно было полгода. Значит, надо было заработать деньги. Говорили, что на торфоразработках много платят.

* * *

Торфяные поля как шахматные квадраты. И если смотреть с самолета, то кажется, что на черных квадратах, разделенных узкими зелеными линиями, копошатся стаи белых птиц.

Но это если смотреть с самолета.

А вблизи — это бригады торфяниц. У каждой женщины на глаза надвинут белый платок, и все, независимо от возраста, в белых лифчиках и длинных, почти до колен трико, сиреневого или светло-коричневого цвета.

Мужчины здесь появляются редко, быстрой походкой, роняя по дороге: “Привет, девушки, как дела? Давай, давай!”

Официально у торфяниц восьмичасовой рабочий день. Неофициально — с пяти утра до восьми вечера.

Это их собственная инициатива. Фая так и сказали:

“Отдыхать будешь дома. Сюда приехала заработать”.

Торфяницы выполняли по две-три нормы. А заработки были большие. По сто пятьдесят рублей в месяц.

Вечером девчата еще умудрялись ходить на танцы. Фая валилась в постель. За месяц она прочла всего пятнадцать страниц книги.

В воскресенье Фая посещала красный уголок, просматривала газеты.

В ее комнате никто не читал ни книг, ни газет. Радио включали, когда передавали хор Пятницкого.

У каждой девушки над кроватью вместе с фотографиями прилизанных киногероев и кошек (эти фотографии продавали в поездах глухонемые) висела еще карточка какого-нибудь солдата.

Однажды торфяниц собрали на митинг. Выступало несколько мужчин и одна бригадирша. Выступавшие клеймили позором империалистов, напавших на Египет. Единогласно приняли резолюцию протеста.

Последствия митинга были неожиданные. Одна бригада в полном составе сбежала в родную деревню, скупая по дороге соль и мыло.

С тех пор, когда Фаина бригада делала перерыв на обед и женщины, поев хлеб с нехитрой снедью, отдохали, ложась в кружок тут же на поле, Фая рассказывала о международном положении.

Женщин тянуло к международному. Никто не хотел войны. Но географические понятия были у них на грани фантастики. После того как Фая объяснила, что Египет находится в Африке, ей прощали неловкость и нерасторопность в работе. А работали бабы, как звери. Ни один мужик за ними бы не угнался. И Фае самой нравились эти политбеседы. Нравились еще и потому, что тогда бабы не вели между собой бесконечные разговоры на гинекологические темы, от которых Фаю выворачивало.

Смотря на лица своих соседок (лоб в морщинах, квадратный тяжелый подбородок, маленькие острые глаза), на их монументальные мужские медвежьи фигуры (каково же было удивление Фаи, когда она узнавала, что женщинам всего 28—30 лет), Фая вспоминала белые одухотворенные лица и стройные фигуры женщин из кино. Она вспоминала те слова, которые мужчины говорили этим женщинам.

А тут? Судя по разговорам, все очень просто. По-скотски. Да неужели найдется мужчина, который пожелает одну из ее соседок? Фая смотрела в зеркало. Нет, и она такая.



Вернувшись в Челябинск, Фая поступила работать в магазин. Там была хорошая заведующая, относившаяся к Фая, как к дочери. Фая подружилась с продавщицами. Она стала даже секретарем комсомольской организации. Вместе с девушками она увлекалась лыжами и стрельбой. Весной Фая получила третий разряд. О мальчиках Фая не думала.

Но муж сестры устроился на работу в Н-ское соединение. Сестра уезжала из Челябинска. Заведующая магазином, подруги уговаривали Фая остаться. Фая очень хотелось остаться. Она мечтала поступить осенью в техникум. Но она боялась остаться одна. Она уехала с сестрой.



Каждую субботу и воскресенье из всех окрестных деревень в расположение соединения шли девушки. Они приезжали на автобусе за 20 километров. Они брели по узким тропинкам в сапогах, неся в руке туфли. Вечерами в субботу и воскресенье солдаты устраивали танцы.

Сначала Фая тоже ходила на танцы. Потом ей надоело.

Однажды зимой она принимала участие в стрелковых соревнованиях и заняла первое место среди женского обслуживающего персонала.

На соревнованиях она познакомилась с солдатом Колей. Он был татарин, воспитывался в детском доме. Неожиданно Коля сделал ей предложение. Может, потому, что Коле оставалось служить еще полтора года, может, потому, что она не восприняла это всерьез, или потому, что не испытывала к нему никаких чувств, Фая отказала.

К весне у Фая сохранилась только одна мечта: скорее уехать отсюда.

Она тосковала по Челябинску, по подругам. Вера, одна из бывших челябинских подруг, прислала Фая письмо. Вера писала, что приехала в Акмолинск, и живет в общежи-

тии, и работает на стройке, и что там очень интересно, и много интересных ребят, и чтобы Фая обязательно к ней приехала, и работа для нее найдется.

Фая несколько раз перечитывала письмо, а потом пошла на железнодорожную станцию. Она знала, что любой поезд доведет ее до Акмолинска. Но до станции она не дошла.

Военный поселок стоял на берегу реки. Фая остановилась на мосту и долго смотрела в воду, которая уже скинула с себя лед. Река была по-весеннему мутная и бурливая. Какой-то детский, } уже забытый страх проснулся в Фае. Куда я поеду одна?

Между тем, жить с сестрой становилось все тяжелее. Фае надоели вечные придирки и упреки, надоело каждую ночь притворяться, что спишь, и слышать возню на кровати сестры.

Работа в столовой Фае не нравилась. Фая очень редко выполняла план. То у нее пропадали деньги. То пропадали посуда. Все это вычитали из зарплаты.

Официантки мечтали выйти замуж за офицеров. У одних были какие-то сложные романы, другие, видимо потеряв надежду, откровенно гуляли.

В столовой Фаю считали растяпой. Молодым офицерам доставляло удовольствие подсмеиваться над ней, особенно когда было много работы и Фая нервничала и суежилась.

* * *

Однажды вечером в столовой задержался молодой капитан. Фая обратила на него внимание еще несколько дней назад, когда он впервые пришел в столовую. Капитан обычно терпеливо ждал своей очереди, не грозился вызвать заведующую, не смеялся над Фаей, не пытался подмигивать и щупать самую разбитную официантку Настю.

Капитан спросил у Фаи, почему она такая злая?

— Я не злая, жизнь у меня тяжелая, — ответила Фая.

— Так расскажите, в чем дело.

— Подождите, вот уберу посуду, поговорим.

Капитан остался ждать.

Фая рассказала ему всю свою жизнь и пыталась объяснить свои сложные отношения с вилками, ножами, деньгами и другими официантками. Рассказала она это потому, что ей просто хотелось перед кем-то высказаться. Капитан слушал ее внимательно. Потом сказал, что он здесь в командировке от штаба округа и у него много своих дел, но что он обязательно поговорит с заведующей столовой.

Несколько раз случалось, что кто-нибудь из офицеров вел с Фая подобные беседы, после чего следовало приглашение пойти в лес погулять или прийти в гости в гостиницу.

Но капитан больше ничего не сказал, попрощался и ушел.

На следующий день капитан говорил с заведующей. Но Фая сама понимала бесполезность такого разговора. Торговое дело хитрое, а к Фая самой можно было предъявить много претензий.

Капитан старался садиться в тот ряд, который обслуживала Фая. Однажды к столу капитана сел генерал из округа. Генерал долго выбирал блюда. Фая повернулась к нему спиной и спросила у капитана: “Что вы хотите?” На следующий день капитан сказал:

— Фая, в армии субординация, нельзя же спиной к генералу!

— А мне все равно, — ответила Фая и посмотрела в глаза капитану.

Капитан рассмеялся.

Вечером Фая предложила:

— Мы с Ниной сегодня ночью будем разводить костер и печь картошку. Пойдемте с нами.

Ночью они втроем сидели у костра, и капитан долго рассказывал. Он много ездил, много видел. Он говорил, что Фая надо уехать на большую стройку или на большой завод, и там ей будет интересно, и там у нее начнется новая жизнь. И это надо сделать обязательно. Фая рассказала о письме Веры из Акмолинска. Капитан сказал, что ей надо ехать к Вере.

Нина, у которой был долгий роман с одним лейтенантом, молча смотрела на костер и загадочно улыбалась.

В субботу вечером Фая пришла на танцы в офицерский клуб. Капитан сидел в стороне и слушал духовой оркестр. Сам он не танцевал. Фая подошла к нему:

— Вам, наверно, скучно у нас? В городе, наверно, интереснее?

— Нет, я привык ко всему.

После танцев Фая задержалась у выхода. Она боялась сама себе признаться, но она знала, что если капитан к ней подойдет и скажет: “Фая, пойдемте со мной”, — то она пойдет с ним и будет все, что он захочет.

Заметив Фаю, капитан остановился:

— Фая, я завтра уезжаю. Желаю вам всего хорошего. Спокойной ночи.

Фая очень холодно с ним попрощалась, а когда шла по темной аллее домой, заплакала.

* * *

Рабочий день кончился, и зам. Господа Бога по кадрам отдыхал, качаясь в гамаке. Вдруг он услышал покашливание ангела-письмоводителя.

— Почему вы не уходите? Опять за кого-нибудь будете просить! Ладно, выкладывайте!

Ангел-письмоводитель высморкался в платок и начал жалобным голосом:

— Ну, вот, помните, была такая Фая, образца тысяча девятьсот сорокового года? Вы ее сделали официанткой. Она добрая девушка, и мне ее жалко. Давайте ей поможем.

Зам. Господа Бога опустил ноги и остановил гамак.

— Насколько мне известно, она молодая, здоровая, рыжая девка. Спортсменка! Теперь вспомните, сколько на земле слепых, глухих, искалеченных, горбатых, паралитиков? А Фаю солдат Коля хотел взять замуж. По российским условиям это совсем неплохо. И мы ей должны помогать? Поселить бы ее, дуру, где-нибудь в Африке да заставить работать на плантациях, вот тогда бы она взвыла. А

ей повезло, она родилась в стране, где все друг за друга отвечают. Случись что-нибудь с Фаей, заведующей столовой — выговор, командиру соединения — неприятность. Тем более местком обещал Фае бесплатную путевку. Они там совсем избаловали людей! Люди привыкли, что им помогают, что о них заботятся. Пускай Фая сама действует. А вам мой совет — забудьте о бабах! Бабы до добра не доведут. Идите.

И, сделав толчок ногами, зам. Господа Бога закачался в гамаке.

* * *

На мосту Фая задержалась, чтобы взять чемодан в другую руку.

1961

КАКИМ Я БЫЛ ТОГДА

Я начал учиться играть на пианино в 15 лет. Дома у меня инструмента не было, и я занимался у учительницы. В день мне удавалось поиграть часа два, не больше. Одновременно я еще учился в военной школе. Я не буду сейчас объяснять, чем она отличалась от обыкновенной школы, но важно, что занятия у меня начинались в 9 утра, кончались в 5. Потом я ехал к учительнице музыки, потом домой готовить уроки. Я вставал в 5 утра и занимался до полвосьмого математикой. И еще приходилось чистить пуговицы, гладить каждый день брюки, подшивать воротнички.

Это я все рассказал к тому, что будь у меня возможность играть хотя бы по восемь часов в день — может быть, чего-нибудь я и добился.

А способности у меня явно были. Через год я уже играл первую часть “Лунной сонаты”. Конечно, у Рихтера получалось лучше, но я разучил ее самостоятельно и тайно, потому что учительница мне запрещала даже мечтать о ней. Я имею в виду сонату, а не учительницу. Учительница была лет на десять меня старше, красива, и я, конечно, был в нее тайно влюблен, но не очень. Во всяком случае, мне большее удовольствие доставляли минорные гаммы (их я мог играть без конца), чем присутствие Нины Петровны (так, по-моему, зовут всех учительниц, но что поделаешь!), которая ругала меня за торопливость и за то, что опускаю кисть руки.

Учительница жила в подвале, и днем тени прохожих метались по комнате. А вечером приходил муж Нины Петровны. Меня он переносил с трудом. Он не любил ни минорных гамм, ни полонеза Огинского. Полонез я мог играть “официально”, но это не поднимало меня в глазах мужа. Однажды он привел приятеля, который лихо отбарабанил популярную мелодию, известную мне под названием “В

Кейптаунском порту“. “Вот как надо играть!“ — сказал мне муж. И мне стало стыдно за собственную бездарность.

Итак, почти ежедневно я приходил к учительнице, брал с полки ключ, заходил в комнату и играл что мне вздумается. Я не знаю, как реагировали на это соседи, но и сейчас мне бы не хотелось встретиться с кем-нибудь из них.

Потом приходила Нина Петровна. Был уже вечер, и зажигались две неоновые трубки над пианино. Я проигрывал урок, меня ругали, потом я опять играл, и Нина Петровна все это выдерживала.

И если муж задерживался, я просил:

— Нина Петровна, сыграйте!

И она играла вальсы Шопена, “Патетическую“ Бетховена, Вторую сонату Листа. В маленькой комнатке, освещенной двумя неоновыми трубками, да еще в исполнении Нины Петровны, эта музыка звучала так, что я плевал на позднее время и невыученные уроки, и шел пешком домой через весь центр, шел возбужденный, размахивая руками, что-то напевая, и мечтал быть не то великим композитором, не то великим полководцем, не то дирижером оркестра Всесоюзного радио. Я читал вслух отрывки из своей “биографии“: “В пятнадцать лет он впервые подошел к пианино, но через четыре года фамилия Михайлова стала известна любителям музыки всего мира. Необыкновенное упорство и огромная одаренность...“ В этом месте я внезапно видел перед собой прищуренные глаза армейского майора, и жесткий голос возвращал меня к действительности.

— Курсант, почему не отдаете честь?

Надо сказать, что тяжелая физическая работа в военных лагерях, куда я попадал летом, не очень развивала гибкость пальцев. Тем не менее в конце ноября я преподнес Нине Петровне сюрприз — первую часть “Лунной сонаты“.

Меня выслушали с интересом, но без энтузиазма. Кончился год наших занятий. Я выучил несколько вещей, но читать ноты практически не умел.

Мои успехи подытожил командир взвода. В праздники

меня назначили в наряд. И всю праздничную ночь я просидел в училище. Товарищ пошел спать, командир взвода сидел в дежурке, и я подсел к роялю. Потом командир взвода поднялся ко мне.

— Я начал засыпать, — сказал он, — слышу что-то хорошее играют. Кто, думаю, радио включил? Потом прислушался — врет ноты. Тут я понял, что это ты упражняешься.

Скоро я расстался с Ниной Петровной. Во-первых, муж ее озверел от моих гамм. А во-вторых, я сильно увлекся математикой. На уроках я совершенно нахально решал задачи московской городской олимпиады, и учитель (военный учитель, старый математик) не мешал мне. Доверие надо оправдывать, и я пожертвовал музыкой, потому что понял: дирижера оркестра Всесоюзного радио из меня не выйдет, а в академию им. Жуковского я могу попасть запросто.

И еще одно обстоятельство — мне пошел семнадцатый год. Однажды меня остановила девушка, и начала задавать какие-то посторонние вопросы, и долго шла со мной. Я, как человек скромный, подумал, что во всем виновата военная форма. Но, как выяснилось впоследствии, дело было не только в форме.

Итак, появились девушки — и забрали все время, которое я раньше тратил на музыку, на математику, на домашние уроки и прогулки в одиночестве по улицам.

Из-за них я не попал в академию, собственно, меня уж чуть было не зачислили, но вдруг я простудился, попал в госпиталь. Свидания не разрешались, а ко мне пришла одна девушка, и я полез к ней с четвертого этажа по пожарной лестнице, меня застукали и вернули документы.

Прошло много лет. Итак, я не стал ни композитором, ни полководцем, ни великим математиком. Я служу под городом Пермью и командую радиоротой. Для нашего гарнизона это совсем неплохо, и многие говорят: “Вот Михайлов, такой молодой, всего старший лейтенант, а уже командир роты!” Конечно, это только в масштабах нашего гарнизона. Но хотел бы я посмотреть на дирижера симфонического оркестра Всесоюзного радио, как бы он разби-

рался в моих установках или как бы он командовал третьим отделением, которым заправляет лучший специалист и первый матерщинник и лентяй соединения — младший сержант Разбейрылов.

А насчет музыки — я на наших установках ловлю любые джазы и даже транслирую к себе в комнату. И все летчики по вечерам настраиваются на мою волну. Так что возвращаешься в поселок, а из многих окон ревет Луи Армстронг.

Сдуру, сразу, как получил звездочки, женился, а теперь разошелся, потому что жена тряпичница, и вообще лучше не касаться моей семейной жизни. Достаточно ее разбирали на партбюро.

Ну и встречаются девчата, есть среди них неплохие, но я теперь уж не тороплюсь надевать на себя ярмо.

А недавно к нам приезжали артисты из Перми. Читали стихи, пели из “Евгения Онегина” и показывали фокусы. Ну, обыкновенная халтура, некоторым нашим ребятам нравилось, а я бы давно ушел, да понравилась мне артистка, что читала стихи. Какая она, описывать не буду, это неважно. Важно, что она мне понравилась, и другу моему, капитану Гоглидзе, тоже понравилась, и многие наши ребята... Ну, в общем, вы понимаете.

А я, как говорят летчики, был в тот день в “форме”. И в перерывах отпускал такие остроты, тихо, но зал слышал и грохотал, а конференсье только глазами моргал. Даже буфетчица Люся (у нее со мной старые счеты) и то сказала:

— Ну, Коля сегодня дает!

В общем, может, я и глупость порол, но знаю, что артистка меня заметила. Я так понял. Она выдала мне такого “косяка”. Так, подумал я, знаю, как ты к нам относишься. Мол, “военные тупы и в искусстве не смыслят”. Сейчас мы ответим.

Кончился концерт, артистов окружили. Разговорчики.

— Как бы с ней познакомиться? — говорит Гоглидзе.

— Сейчас сделаем! — говорю я.

И подхожу к роялю. Ну, тут ребята увидели, встали кругом около меня.

— А ну, Коля, вдарь чего-нибудь!

А артистка та (а она зла на меня) тихо так говорит (но все слышат):

— Вдарьте, товарищ старший лейтенант, фокстрот или камаринскую.

Ехидная девка. А сама так невинно улыбается.

Я на нее смотрю и тихо начинаю “Лунную сонату”.

Постепенно все смолкают. А я играю.

Дохожу до середины, где начинается разработка, и резко останавливаюсь. Потому что подошла эта артистка.

“Это интересно”, — говорит она.

“Я и не думала”, — говорит она.

“Прошу вас, сыграйте”.

Смотрю, капитан Гоглидзе обними фарами мне моргает. А я вдруг захлопнул крышку рояля. Встал.

— Без нот не могу.

И ни разу не взглянув на нее, пошел курить в коридор. И ведь вправду, я без нот не умею. Ведь только когда у меня выпадало пустое время и подвертывался инструмент, я играл сонату. Сначала по нотам, потом на память, потом постепенно стал забывать. И я, действительно, не смог бы дальше играть. И хорошо, что артисточка раньше подошла. А то пришлось бы просто так, без повода, встать и уйти.

Так я стою в коридоре и курю, и вдруг почему-то вспомнил маленькую комнатку, и две неоновые трубки, и Нину Петровну, и мужа ее, и, самое главное, вспомнил, каким я был тогда. Ведь я тогда многого хотел, о многом мечтал, надеялся. А чего я хочу сейчас? Познакомиться с этой артисточкой? Вот так вот незаметно проскочило время, и я уже совсем другой человек. И паршиво мне стало. И самое главное, жалко, что забыл сонату. И дал я было себе слово, что обязательно вспомню ее и разучу как следует.

Но тут кто-то трогает меня за рукав. Оборачиваюсь. Стоит грустный Гоглидзе.

— Выпьем, — говорит, — Коля, пива?

И мы пошли.

ИСПОВЕДЬ ДРАНОЙ КОШКИ

Мама мне запрещала выходить на улицу. Она боялась машин, собак и прохожих. Мама говорила, что шоферы не любят, когда кошки перебегают дорогу. Они давят кошек.

Собаки тоже рады задрать бедного котенка. Некоторые взрослые солидные собаки даже науськивают борзых щенков на беззащитных котят.

Прохожих мама боялась еще больше. Время было военное, голодное, и маме казалось, что меня обязательно кто-нибудь стащит в суп или на мыло.

Поэтому в детстве я ничего не видела, кроме своего двора. Я знала там каждую щель в заборе и выбоины в подъездах под ступеньками. Самым интересным местом была скамейка и помойка. Вечером, забившись под скамейку, я слышала бесконечные разговоры и сплетни соседей. Под скамейкой я узнала многое такое, что мне просто не стоило узнавать так рано. Это помогло мне быстро повзрослеть.

Ну а помойка! Как часто потом мне говорили:

— Ах, моя кошечка, как бы я хотел узнать, что ты таишь в своем сердце!

Им казалось, что там они найдут ответ, люблю ли я их или нет, или какую-нибудь загадку, мировую скорбь и т.д. — все, что может себе представить пылкое воображение влюбленного.

На самом деле в тайниках моего сердца хранятся сладкие воспоминания о нашей дворовой помойке. Вещи, которые сейчас до смешного обычны, незаметны, но когда-то...

Заплесневелый кусок сыра, который я подобрала в то утро, когда меня родители лишили завтрака, останется светлым пятном в моей жизни.

И как часто потом мужчины, заглядывая мне в глаза, заискивающе спрашивали:

— Чего вы хотите? Шампанское, коньяк, икру, курицу?

Я мечтала о том самом заплесневелом куске сыра, который однажды доставил мне удивительное блаженство. Ах, золотая пора детства! У каждой из нас остались святые реликвии, непонятные посторонним.

Но бывает, что дети, или щенки, или более взрослые котята силой забирали у меня какой-нибудь лакомый кусочек, с трудом найденный в отбросах. Они еще смеялись надо мной. Я тоже смеялась. Я знала, что мне нельзя показывать свою обиду. Обиженных всегда дразнят. А я с детства умудрялась со всеми ладить.

Я мечтала отомстить. Вдруг я вырасту не простой кошкой, а какой-нибудь очень большой. А вдруг на самом деле я происхожу от рыси и скоро вырасту в огромного зверя, и люди будут почтительно меня обходить, а собаки — прижиматься к заборам?

В сумерки у помойки появлялась старуха. Она всегда ходила в одной и той же юбке, которая мне казалась куском занавески, обернутой вокруг тела и заколотой булавкой. Вылинявшая красная кофточка (из мышинной шерсти, как говорила мама), а на голове два платка: один грязный, ситцевый, другой серый, вязаный. Лицо ее было типично для одиноких восьмидесятилетних старух. Но нос ее всегда был расцарапан. Он мне больше всего и запомнился — расцарапанный, но воинственно задранный. Старуха ненавидела весь двор и любила только меня. Не знаю, правда, применительно ли к ней слово “любовь”, но при моем появлении ее сухой ворчливый голос смягчался.

— Киса, киса, кисуля... — говорила она мне почти ласково. Иногда мне нравилось с ней гулять. Иногда я шла за ней для того, чтобы получить огрызок колбасы. Иногда меня охватывал ужас: неужели и я когда-нибудь буду такой и единственным удовольствием для меня останется — бродить в сумерках у помойки.

И я мечтала, что, когда я стану взрослой, меня, холеную и красивую, будут почтительно выносить на подушечке из машины.

Я не буду вспоминать подробности моего детства и юности. Собственно, у меня все было, как у других. Но два события (если их можно так назвать) определили мою цель в жизни, вернее, средство к достижению этой цели. Что касается жизненных идеалов, то я уже говорила, в чем они состояли. Увы, детство нас формирует.

Итак, я еще училась, когда к старухе приехала ее дочь. Дочь подъехала на машине и в мехах. Дочери было лет пятьдесят.

Я давно подозревала, что у старухи много денег, но она чрезвычайно скупа. Теперь я поняла, откуда она их брала.

Дочь еще сохранила хорошую фигуру. От нее несло различными кремами, но морщины на лице уже не замазывались.

Но по тому, как почтительно здоровались с ней жильцы нашего дома, и даже дворник, злой барбос, и тот прошелся за ней на задних лапках и лизал пыль с ее машины, я поняла, что дочь старухи — дама почтенная и знаменитая.

Вечером я, как всегда, дремала у старухи на кушетке, смотря телевизор.

Надо сказать, что дочь, погладив меня два раза и сказав “славная кошечка“, больше меня не замечала.

Старуха куда-то ушла. Дочь тоже сидела у телевизора и пила кофе с коньяком. Естественно, кофе и коньяк она принесла с собой.

По телевизору показывали ревю “Балет на льду“. Молодые красивые женщины демонстрировали свои крупные бедра.

И вдруг я заметила, что дочь начала хлестать одну рюмку за другой. Более того, она не сводила глаз с экрана. Я увидела на ее глазах слезы.

— Боже мой, — зашептала она иступленно, — красота какая, Боже мой, молодость! Прелесть какая. Дуры, они не понимают своего счастья. Мне бы молодость, мне бы опять стать молодой!

И второй случай произошел, когда я поступала в инсти-

тут. Мы подали заявление вместе с одним щенком из нашей школы. Щенок хорошо учился, задирает меня и насмехался над моей тупостью (вероятно, в этом проявлялось его скрытое влечение ко мне).

Щенка срезал на экзамене заносчивый доцент. Вероятно, щенок хотел показать, что он все знает. Это сразу не нравится экзаменаторам. А засыпать они умеют. Им за это деньги платят.

Настала моя очередь. Я знала предмет раз в десять хуже щенка. Но я вкрадчиво замяукала. Доцент пристально на меня посмотрел. Мы встретились вечером. Я была принята в институт.

Мне пришлось много наблюдать знаменитых женщин: ученых, писательниц, партийных работников, колхозниц, депутатов. Они всегда были в центре внимания. Но стоило появиться мне, как все мужчины начинали косить в мою сторону, и никакая слава не могла затмить моей красоты.

А встречая взгляды мужчин, я поняла, что для них — страшнее кошки зверя нет.

* * *

Мужской пол делится на котишек и котофеев. Котишки, как правило, молоды, и все, что они делают, посвящено нам, кошкам. В конечном счете деньги, успех, образование, спорт, остроумие, поездки за границу им нужны для того, чтобы произвести большой эффект на нас и отхватить кошку получше или переспать с максимальным количеством кошек.

Потом постепенно они стареют, и у них появляются более фундаментальные жизненные цели. Котишки легкомысленны, легко растрачивают все деньги, и с ними весело.

Котофеи, как правило, женаты. Я имела дело с такими котофеями, перед которыми любые котишки поджимают хвост. Простой смертный неделю будет обивать пороги их приемных. А я могу назвать имена очень крупных котофеев, которые целовали мои руки, мечтали об одном поцелуе, становились на колени, плача пьяными слезами и прося

меня сделать для всех них одно и то же. Кстати, в том, чего и котешки и котофеи добиваются от нас, они на редкость однообразны.

Так вот, обладая такими возможностями, я прожила удивительно счастливую юность.

Моим правилом было — всегда иметь при себе одного котофея и штук десять котешек. Котофей начинает капризничать — к черту. В нашей пуританской стране всегда найдется сотня котофеев, жаждущих иметь дело со мной. Между прочим, я слыла очень остроумной кошкой. Ведь все коты рассказывали мне самые смешные истории и анекдоты. И наступило время, когда я знала их больше, чем самые утонченные котофеи. Еще бы, они доходили до всего своим умом, а на меня “работали” сотни.

Итак, каждый вечер мне обрывали телефон. Десятки самых заманчивых предложений. За мной всегда заезжали на машине (такси, служебная, личная). Я была на всех модных театральных премьерах, на закрытых просмотрах зарубежных кинофильмов, на концертах иностранных артистов. Люди по полгода стояли в очереди, чтобы достать билеты на Ван Клиберна, а мне принесли билет на первый же концерт — восьмой ряд партера. Я привыкла ужинать или в ресторанах, или на вечеринках. Мне доставали массу заграничных тряпок. На все курорты я приезжала без копейки денег и устраивалась лучше всех.

С однокурсницами у меня установились милые отношения. Правда, студентки поглупее мне откровенно завидовали, а студентки поумнее делали вид, что смотрят на меня свысока, но с моим легким характером я со всеми ладила.

Вообще, о тысячах веселых приключений я буду вспоминать всю жизнь. Да, юность у меня прошла великолепно.

Но вот я кончила юридический институт. Учиться мне было легко. За отметками я не гналась, важен диплом. Конечно, меня оставили в Москве. Это стоило многих интриг, но цель оправдывает средства. Правда, в Москве очень трудно устроиться на работу юристу без практики. Но не это меня волновало. Мне пора было выходить замуж.

Сначала у меня было очень много вариантов. Но это, как правило, оказывались “скучники”. Они мечтали о ти-

хом семейном счастье. Положение и средства не позволяли им создать мне роскошную жизнь, которую я веду. А я не могла по-другому. Я предвидела бесконечные семейные сцены и, как кошка благородная, отказывала.

Но время шло, поклонников не убавлялось, но почему-то котов, мечтающих о женитьбе, становилось все меньше.

Я поняла — мой час проходит.

После нескольких неудачных попыток я встретила кота, который мне подходил. Он был с положением и с деньгами. Он разводился с патриархальной женой, и теперь ему нужна была красивая, умная, опытная кошка, прошедшая огонь и воду.

Мы очень быстро поняли друг друга. Я очень быстро его скрутила. Этому помогло еще то, что он видел, как, в отличие от всех своих блестящих знакомых, я к нему одному отношусь серьезно. Он стал почти каждый вечер приходить ко мне домой. Раньше я сама уходила, а теперь постепенно привыкла к дому. Он садился и говорил:

— Киса, я не понимаю, что со мной происходит. Ведь такого никогда не было. Всю жизнь кошки бегали за мной. Стоило мне подкрутить ус и поднять хвост, как кошка начинала заискивающе мурлыкать. Да я не с каждой кошкой шел. Я никогда не гонялся за кошками, не дежурил у водосточных труб, не лазил по крышам, не ждал в темных коридорах. Всегда кошки сами открывали мне дверь и вели как почетного гостя в кухню, где жарилась курица, и мама и папа кошки, надев по случаю моего прихода новые синие ленты, были со мной любезны, беседовали о войне в Индокитае и демонстрировали кулинарные способности дочери. Папаша, расчесывая усы, доставал бутылку “столичной”. Мамаша говорила о последних театральных премьерах. Да и вообще, при чем тут родители? Я шел за кошкой только в том случае, когда чувствовал, что очень ей нравлюсь. Чтоб я за кем-то бегал? Жмешься? Играешь? Привет, кошка! Я пошел.

А теперь? Ты пойми, что происходит. Ну, извини, что я говорю только о себе. Но о чем же могут разговаривать настоящие любовники, как только не о себе? Так вот, пойми. Я все забыл. Вчера у кинотеатра “Центральный” одна

кошка (приличная, миловидная, из хорошей семьи) так задрала ногу, так со мной кокетничала, что даже старые дежурные кошки и то возмутились: “Ну и нравы у современной молодежи!” А мне ничего. Я шел и думал только о тебе. Я живу только мыслью увидеть тебя. Ведь я же никогда и никого так не любил.

Мне, конечно, были приятны эти речи. Но, шалишь, кот, меня не проведешь. Или ты просто стареешь и тебе надоело по чужим подворотням бегать и захотелось семьи и уюта, или ты просто еще глуп. Милый кот, ты не первый и не ты последний рассказываешь о своих похождениях и победах. Старый прием. А за мной ты бегаешь, может, потому, что, действительно, любишь, и, может, потому, что я тебе первая не звоню, что тебе всегда приходится меня ждать, что в каждом переулке я встречаю знакомых котов и на многих из них отличные шубы, а твоя, того, потрепана. При тебе мне звонят другие коты, я им отказываю в свидании, но ты каждый раз слышишь мой разговор. Тебя, мой милый, элементарно закрутили. И метод простой: пусть несколько раз он подождет меня. Пусть посомневается, пусть перестанет верить, что я приду, пусть в своем воображении нарисует мрачные картины, как я веселюсь с другими. И когда, казалось, нет надежды — тут-то я и появляюсь. И опять же, я красивая кошка. Тебе такие не попадались.

Вот что я думала, когда он сидел передо мной и мурлыкал о своих нежных чувствах. Но он мне нравился. Я чувствовала, что мы не будем мешать друг другу. И у него, и у меня останется прежний круг знакомых. Что ж, брак в современном смысле этого слова нас устраивал.

Он знал, что, появившись в любом обществе со мной, он будет в центре внимания.

Мы ждали, когда он получит официальный развод и разменяет квартиру. У меня хватило ума вести себя очень лояльно и тактично по отношению к его жене. И на этом я выиграла...

Меня погубил мой нрав. Я уже привыкла всех дразнить и флиртовать сразу на несколько фронтов.

Однажды мы поехали с моим котофеем и его другом в

ресторан. На этот раз был даже какой-то повод — не то день рождения друга, не то его сестры.

Я захватила с собой котишку, который давно за мной бегал. Это было первой моей ошибкой, потому что котишка вел себя так, как и в любой привычной для нас компании. Он целовал меня, обнимал, тем более что скоро напился. Моему котофею это не нравилось, но он не показывал виду. Это меня разозлило, и я стала еще больше кокетничать с котишкой. Мне очень хотелось, чтобы котофей проявил свою ревность. Но котофей молчал.

Потом я сообразила, что, пожалуй, переиграла. И я попросила котишку унести из ресторана, чисто для хохмы, пару вилок и рюмку. Подвыпивший котишка мог унести для меня вообще весь ресторан.

Гардеробщики заметили торчащие из кармана вилки. Поднялся скандал. Котишка попал в очень глупое и смешное положение. Я искренне хохотала. Так и надо котишке за глупость, и мой котофей должен был понять, что мне наплевать на котишку.

Но котофей вдруг озверел и лапой подрал мне лицо.

Вестибюль был полон народу. Были и мои знакомые. Все с любопытством наблюдали эту сцену.

Маленькая подробность. Эта ночь должна была стать нашей первой брачной ночью.

Я завопила, чтобы он немедленно извинился, иначе ничего не будет. Он повернулся и пошел к машине.

Его товарищ был в курсе дела. Он посадил меня в машину, повез и его и меня к себе. Он пытался нас примирить.

Я требовала, чтобы котофей встал передо мной на колени. И не такие вставали. Но он перестал со мной разговаривать.

Его, очевидно, заело. Меня тоже.

Надо сказать, что с котами я спала очень мало. Я так научилась закручивать мозги и избегать самых решительных сцен, что казалась сама себе чуть ли не девственницей.

Но когда это происходило, кот чувствовал себя наверху блаженства.

А тут вдруг мной так пренебрегали.

Он так и не извинился и уехал домой.

Два дня я ждала его звонка. Потом решила кончить ребячество и позвонила сама. Не застала. Я стала звонить каждый день. Он не подходил к телефону, а если, случилось, я на него нарывалась, бросал трубку. Я ничего не могла понять.

Я стала искать с ним встречи. Это была моя третья, решающая, ошибка.

Много прошло времени, пока я поняла, что все прова-лилось окончательно.

Тут я убедилась, что меня знает вся Москва. Все мои похождения всплыли. Кто-то назвал меня прямо в глаза “драной кошкой”.

Мои поклонники вдруг стали откровенны и грубы. Я никогда не собиралась быть проституткой, и мне пришлось рвать старые знакомства.

Скоро я оказалась на мели и без денег. Работы не находилось, уезжать из Москвы я не могла.

Меня могло спасти срочное замужество. Увы, теперь от меня стали бегать.

* * *

И вот я опять в знакомом дворе у помойки. Увы, старуха давно умерла, и некому подкармливать меня сыром и говорить нежные слова.

Да, сейчас я на мели. Но не надо отчаиваться. Я хороша собой. Я еще буду нежиться у окна, ездить на заднем сиденье большой машины и есть в “Национале” цыплят табака.

Главное — быть целеустремленной и не разбрасываться на разные “трали-вали”.

Но мерзкая погода. Идет снег. Тоскливо и сумрачно. А на помойке ничего нет. Все пищевые отбросы собирают теперь на корм для свиней.

А нам, кошкам, что делать?

Сырость проникает сквозь мою потертую шкурку. Све-

тят огни в доме. Сейчас бы погреться у батареи под фikusом.

Поздний вечер. Снег заметает все следы. Куда податься?

Но, чу! Кто-то идет!

Я отряхиваюсь, отрываюсь от помойки и начинаю умываться лапкой.

Появляется кот. У него усталые ищущие глаза. Кот паршивый, из тех, кто мечтает о случайной встрече на улице. Но, может быть, это он?

Я умываюсь и не гляжу на него. Я словно вижу себя со стороны: кошечка с весьма милой мордочкой, правда, круги под глазами (это он потом заметит, но все равно — сойдет). Он, наверно, тут же придумает мне какую-нибудь личную трагедию. Опять же, мне плюс — значит, у меня высокая душа.

Кот делает вид, что меня не замечает, но хвост у него трубой.

БЕСПОКОЙНИК

Повесть

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта маленькая повесть была написана в 1957 году в г. Новороссийске. Потом я несколько раз к ней возвращался, переделывая, в основном сокращая. Все мои попытки опубликовать ее в советских изданиях были безрезультатны.

После моей эмиграции “Беспокойник” был напечатан в двух немецких изданиях, но переводчики потеряли русский текст. Мне пришлось восстанавливать оригинал с немецкого, и в процессе работы я старался избежать соблазна “осовременить” рукопись.

Думаю, “Беспокойник” представляет собой интерес как литературный, так и, можно сказать, “исторический” — это первый “самиздат” моего литературного поколения. Ведь в 1957 году мои будущие коллеги еще только начинали свою писательскую деятельность.

А.Гладилин

ГЛАВА 1

Я умер седьмого декабря 1956 года. В семь часов утра я почувствовал резкую боль в сердце и сразу же понял, что мое сердце останавливается. Потом был провал в темноту и пустоту. Прошла целая вечность. Постепенно я опять начал видеть и слышать. Я мог видеть — наверно, мне недо-

статочно крепко закрыли глаза. Когда мне стало ясно, что ко мне опять вернулось сознание, у меня вдруг появилась мысль — может, я жив? Но я не обрадовался, не рассердился. Мысль появилась и ушла, нисколько не взволновав меня. Нет, решил я, я действительно мертв. Я ничего не чувствовал, и ничего не шевелилось во мне. Меня могли резать, жечь, рубить на куски — я был трупом. Но мой мозг продолжал работать. Тут я подумал, что идеалисты правы: есть высший разум, есть моя бессмертная душа. В любой момент сюда должен спланировать какой-нибудь ангел-командировочный, на опереточных крыльях и показать мне путь в рай. Это, наверно, забавная вещь — увидеть свою душу! Какого она хоть цвета? Однако райский посланник не спешил. “Итак, — сказал я самому себе, — материалисты не ошиблись, души нет“. Я просто по-другому представлял себе смерть. И все описания смерти, которые дает классическая литература, — наглосе вранье. Оказывается, мозг не сразу умирает, человек продолжает думать, видеть и слышать. Наверняка мозг отключится через какое-то время, но пока я вижу и слышу. Только живым это неизвестно, живые, когда они умрут, узнают то же самое, что и я, но и они не смогут об этом никому рассказать. Мертвые не рассказывают.

Я лежал на кровати. На этой кровати я спал последние десять лет. В эту постель я лег вчера последний раз в жизни. Моя жена сидела рядом со мной. С момента моей смерти, наверно, прошло несколько часов, потому что она уже не плакала. Она молчала и куталась в теплый платок. Я еще раз убедился в том, что я мертв, ведь по отношению к жене я не ощущал ни грусти, ни сожаления. Я был как каменный, а камень ко всему равнодушен.

Судя по бликам на обоях, день был солнечный, и, очевидно, это придавало моему лицу розовый оттенок, потому что моя жена вдруг прошептала: “Он не ледяной, он совсем не холодный, он теплый. Он словно дышит и лежит как живой“. И она громко заплакала. Сразу из соседней комнаты вышло несколько моих товарищей по работе. Лица у них были скорбные, глаза покрасневшие. Они начали хором утешать мою жену, но, так как все утешения были на-

прасны, раздавалось лишь неясное бормотание: “Ну, что делать, Нина Владимировна, перестаньте, Нина Владимировна, мы все должны умереть... Может, вы пойдете в соседнюю комнату к детям?” Наконец ее увели. Комната опустела. Перед тем как выйти последним, Палиевский, мой бывший зам, с шумом втянул носом воздух.

Внезапно в коридоре послышались какие-то громкие голоса. Из обрывков речи мне стало ясно, что пришли работники похоронного бюро. Вскоре в комнату ввалились двое отвратительных жалких пьянчужек. Они надели белые халаты, достали маленький таз и попросили никого не входить. Чего они только со мной не делали! Раньше я думал, что с покойниками обращаются все же с уважением. А эти еще ворчали, дескать, я слишком тяжелый. И конечно же, они поставили свой диагноз — третий инфаркт, хотя я умер после второго. Когда они меня одевали, один из них сказал напарнику: “Посмотри, ты ему оцарапал щеку”. — “Ничего, до свадьбы заживет, наложим пластырь“, — и я услышал короткий тихий смешок. Потом они положили меня в гроб. Вошел Палиевский.

— Ну как, все в порядке?

— В порядке. Год полежит, с гарантией.

Палиевский дал им сто рублей*. (Если бы я был жив, я бы скорее умер, но не платил бы таких денег.) И пьянчуги тут же смылись, сославшись на то, что их ждут другие клиенты.

Мои сослуживцы уехали на работу, чтобы заняться организацией похорон, а жизнь вокруг меня — если это можно было назвать жизнью — продолжалась. Рядом с моим гробом положили несколько телеграмм с соболезнованиями. Одна из них — ее прочли тихо — была от нашего замминистра. Все были тронуты. Но мне показалось, что эту телеграмму составлял не замминистра, а его секретарша Верочка, с которой у меня когда-то были хорошие отношения. Наше главное управление тоже направило письмо с выражением соболезнования. Масса подписей, в

* Все цены указаны по старому курсу до денежной реформы 1961 года.

том числе многих высоких ответственных товарищей. Я, конечно, знал, что некоторых из них сейчас нет в Москве, они в командировках, но так принято, должны быть все подписи.

У кого-то появилась идея: отправить младших детей к нашим знакомым. И очень кстати, так как вскоре квартира превратилась черт знает во что — начали собираться мои родственники. Сколько же их оказалось! Да еще старых знакомых. Мне лично, в принципе, должно было быть приятно это массовое проявление соболезнования, но как раз мне было все равно — ни тепло, ни холодно. Однако для моей жены и старшей дочери Ирочки это выливалось в дополнительную муку. В конце концов сколько слез может быть у человека? Как только жена и дочь успокаивались, врывалась какая-нибудь моя очередная родственница, седьмая вода на киселе, и рыдала страшно. Получалось, вроде бы посторонние люди все в слезах, а у близких сухие глаза! Это же просто неприлично! Хочешь не хочешь — надо плакать. Тетка, выплакавшись рядом со вдовой, сразу же успокаивалась и отваливала, она честно выполнила свой долг. Но что было делать моей жене? Знакомых и родственников — огромное количество, и с каждым надо рыдать! Господи, вы лучше подумали бы о покойном, который был веселым человеком и не любил слез...

Вечером у моей жены и дочери уже не было сил плакать. Палиевский догадался отправить их в соседнюю комнату и сам стал принимать гостей. Палиевский всегда был надежным другом. А гости все еще шли. Появился наш знакомый по даче, на которого я был страшно зол: ведь именно по его совету и с его помощью мы провели последнее лето в такой страшной дыре, что я всю осень чертыхался. Сейчас он вместе со своей женой стоял у моего гроба. Они читали телеграммы. Он увидел телеграмму от замминистра и показал жене: вот смотри, какие у него были важные знакомые. Потом эта парочка стала рассказывать Палиевскому, как они недавно хоронили своего родственника. Они так долго и подробно описывали все бедному Палиевскому, что я уже хотел закричать: "Прекратите, в конце концов это мои похороны!" Но приходили и

другие, кто был искренне опечален моей смертью. Пришла и Она, все еще молодая женщина, которую я когда-то любил. Нет, ее слезы не могли меня тронуть. Мне, покойнику, горе моей жены и моих детей было безразлично, ничто не могло меня задеть, я ничего не ощущал. Но мне было приятно знать, что она, именно она, все еще меня любит.

Наступила ночь. Моя жена и дочка и еще две родственницы легли в соседней комнате. Четверым им там было довольно тесно, но никто не соглашался спать в одной комнате со мной, а жена и дочь ни за что не хотели оставаться одни. Покойник — странный объект: днем его оплакивают, ночью его боятся...

Моя дочь... В жизни я ее любил больше всех. Мои два сына были очень шумными, эгоистичными, и, честно говоря, у меня уже не хватало сил и времени, чтобы заниматься ими как следует. Но моя дочь... Если бы я мог сейчас встать, чтобы сказать ей несколько слов, успокоить ее, поцеловать в лоб, как я всегда это делал, когда был жив. Однако веселая была бы сценка! Представьте себе: я встаю, подхожу к Ирочке, нагибаюсь, она вскрикивает от испуга, истерически смеется и падает в обморок. Нет уж, покойник должен вести себя смирно — раз умер, лежи и не рыпайся.

За ночь женщины немного отдохнули, но утром вновь принялись плакать. Еще целый день продолжалась эта казнь — родственники, знакомые, рыдания моих близких. Но мне это сильно надоело. Скорей бы на кладбище, на заслуженный отдых! Наконец, на следующее утро меня отвезли в главное управление. Меня положили в зале заседаний, и я стал самым важным человеком нашего ведомства. Гроб обложили искусственными цветами и венками, люди говорили обо мне с большим уважением: "Он..." Потом началась торжественная церемония. Зал был полон, и я слышал, как моя жена сказала дочке: "Посмотри, сам директор управления".

Надгробные речи. Говорили, что я был хорошим человеком — все покойники хорошие люди. Говорили, что я много работал, что надо беречь и щадить людей при жиз-

ни: Короче, речи были именно такими, как принято на торжественных похоронах.

Заиграл оркестр. С чувством, с надрывом. Многие заплакали, и даже мне вдруг стало немножечко себя жалко. Потом меня понесли к похоронному автобусу. Гроб был тяжелым, но, даже если бы это было в моих силах, я бы и пальцем не пошевелил, чтобы им помочь. Хватит, я свое отработал! всю жизнь на мне ездили! Пусть хоть раз на чужом горбу в рай въеду. Впрочем, какой рай? Меня привезли в крематорий. Гореть мне в адском пламени. Ну и хрен с вами! Мне-то без разницы.

Хуже было другое — я увидел, что здесь я далеко не единственный. Я уже привык быть в центре внимания, но в крематории было много других покойников. Их всех выстроили в очередь. Слезы, рыдания, похоронные марши. Очень оживленное место... Проклятая жизнь — везде надо стоять в очереди. Ничего в этой жизни не получишь даром, за все надо бороться, прикладывать усилия, ждать, когда наступит твоя очередь. Даже умирать можно только в порядке общей очереди.

Между тем сияло солнце. День почти весенний, даже снег начинал таять. Небо было таким голубым, что мне стало несколько досадно, не рановато ли я умер? Я прислушался, что говорят мои друзья? Вначале я удивился, но потом их понял. Они потеряли друга. Сейчас им надо было бы огорчаться, переживать, ведь я был, надеюсь, хорошим человеком. Но в этот яркий солнечный день люди, живые здоровые люди, несмотря на все усилия, были просто не в состоянии плакать и грустить. И поэтому они начали утешать друг друга. “В первый момент потеря товарища не воспринимается очень остро, — говорили они, — но потом мы будем страдать и только через некоторое время как следует все поймем“. Они это говорили совершенно честно, забывая, что через какое-то время все равно все отойдет в прошлое, особенно в нашей повседневной суете, с ее заботами и обязанностями.

И я вспомнил, что на похоронах моих друзей я вел себя точно так же. Конечно, грустят о друзьях, но закон жизни требует иного. Каждый из нас должен умереть, к потерям

надо привыкать, не сентиментальничать. Если все время думать о мертвых, можно, действительно, помереть с тоски. Нет, к моим друзьям у меня нет претензий, хотя, вероятно, Палиевский где-то, не признаваясь самому себе, радовался: ведь он теперь займет мое место заведующего. Словом, мои сослуживцы хотели покончить с этой грустной историей как можно скорее. И я на их месте вел бы себя точно так же.

Но мои бедные родные! Если бы я мог, я бы постарался их успокоить. Невозможно представить себе для них худшей муки: после того, что было, — опять очередь, музыка, слезы.

Наконец меня вносят внутрь крематория. Навстречу валит толпа с предыдущих похорон. Довольно громко переговариваются, и кто-то замечает в мой адрес: “Как он поси-
нел, бедняга!” Ага, значит, я стал синим — ничего, в конце концов я не молодая красотка и могу с такой рожей жить или, вернее, сгореть. Но какой там дурак играет на скрипке! Что он тянет нервы из моих родных! Честно говоря, если бы я предвидел все это, то постарался бы остаться в живых...

Слава Богу, кажется, конец. Я опускаюсь. Зеленая шторка надо мной закрывается. Все. Я попрощался с этим миром. Мои близкие там, на земле, расходятся домой. Им сейчас нужен покой. Ведь все было нелегко для них, хотя, откровенно говоря, они не так занимались мною, как утешали друг друга. И моя жена должна чувствовать облегчение. Лучше потерять мужа сразу, чем годами ухаживать за тяжелобольным. В конце концов все не так плохо: она не одна, есть дети. Будет получать как моя вдова высокую пенсию. Пусть отдыхает от меня.

Однако и мне нужен отдых. Скорей бы все кончилось! Любопытно бы знать — я уже на том свете или все еще на этом? Впрочем, света почти не было. Темный длинный коридор, и на конвейере стоят гробы. Сожгут нас, очевидно, только к вечеру, когда наступит наша очередь. Кстати, это, наверно, самая спокойная очередь в мире.

Сколько прошло времени, я не знаю. Вдруг близко от меня открылась дверь. Вошли двое рабочих, сняли пальто и

надели, насколько я мог видеть в полутьме, халаты. “Черт побери, — сказал один, — во всех моих карманах дыры, и в штанах тоже“. Последовала неприличная шутка. “Выложи все из карманов в пальто, чтоб не затерялось, — посоветовал его напарник. Он поглядел на гробы и засмеялся: — Сколько же вас здесь сегодня! Может, скинемся, ребята, по семь рваных и выпьем?“

Рабочие исчезли неизвестно куда. Дверь хлопнула — и потянуло свежим воздухом. Да, свежим воздухом! Но как же я почувствовал свежий воздух? Значит, я дышу? Да, конечно, я дышу. И тут же я понял, что могу двигаться. Я приподнялся на локтях, сел, осторожно вылез из гроба. Я сделал несколько шагов. Что-то заставило меня обернуться. Я увидел, как мертвец, которого хоронили непосредственно передо мной, вдруг приподнялся — у него был огромный шишковатый нос.

Если бы я был жив, я бы удивился. Если бы я был жив, я бы испугался. Если бы я был жив, я, может быть, помог бы мертвецу встать. Но я был мертв, и я не хотел терять времени. Я быстро надел пальто одного из рабочих, совершенно автоматически, ведь мне нечего было бояться простуды.

Я открыл дверь. Передо мною была низкая ступенька. За ней — другая дверь, которая, наверно, выходила на улицу. Но я не успел ее открыть. В коридоре слышались шаги и голоса рабочих. Я застыл, не шевелясь. Как я и ожидал, внезапно воцарилась мертвая тишина, потом раздался робкий голос: “Ну да, точно, он исчез“. — “Может быть, его потеряли по дороге?“ — спросил другой голос. “Странно, по какой это дороге? — ответил его напарник. — Не ломай голову. Скорее всего отдали в музей, ну, как он называется? Туда, где выставляют скелеты“. — “Ну, да, конечно, но как мы обойдемся без праха? Что-то ведь надо отдавать его родным?“ — “Ну и что! Мы просто сожжем гроб и отдадим им пепел. Пойдем спросим у директора“. И они побежали обратно по дороге.

Если бы я был жив, у меня дрожали бы колени. Но сейчас я все воспринимал хладнокровно. А как могло быть? И потом, право, мне порядком надоели дрожь, сердцебие-

ние и повышение кровяного давления. Один раз это уже привело меня к смерти. Сейчас я даже не знал, есть ли у меня хоть какая-то сердечная деятельность.

Неважно, зато я знал, что начинается вторая жизнь. Из нагрудного кармана пальто я вынул пакет. Отлично! Паспорт, еще какие-то бумажки и деньги.

Итак, в новую жизнь. И ни в коем случае не возвращаться на старую квартиру. Во-первых, все человеческие привязанности умерли во мне. А во-вторых, я не хотел начинать свою вторую жизнь с убийства — ведь у моих родных был бы разрыв сердца, если бы я появился на пороге. Итак, я возвращаюсь в старый мир, в котором мне нечего бояться. Ведь люди больше всего боятся смерти. Но как может покойник умереть еще раз?

Я открыл дверь и очутился на кладбище крематория. Минуту спустя я был уже у забора. Я поднял воротник, пальто немножечко жало в плечах. Я поднял воротник не потому, что мне было холодно, а потому что хотел закрыть свое лицо.

Напоследок я оглянулся. По темному небу неслись черные облака. Дул холодный, резкий, влажный ветер. Я увидел густой дым, который повалил из трубы крематория. Мир моему праху! Наступала ночь.

ГЛАВА 2

Газета “Вечерняя Москва“. Заметка из раздела происшествий — “Всеми виной пьянство“.

“Советские органы охраны общественного порядка образцово выполняют свой долг перед народом. Ночью, в холод, мороз, в метель они всегда на посту, чтобы охранять народное достояние. Однако, как говорится, в семье не без урода.“

Поздно вечером 26 декабря сержант Матвеев, находясь на дежурстве, увидел, как кто-то выходил из магазина ювелирных изделий. Это показалось сержанту Матвееву

подозрительным. Он хотел остановить неизвестного надлежащим образом и крикнул: "Стой!" Но неизвестный удалялся быстрыми шагами. Сержант был вынужден воспользоваться служебным оружием. Он выстрелил в воздух, но неизвестный даже не обернулся. Потом сержант выстрелил три раза, и согласно его показаниям он ясно видел, как все три пули попали неизвестному в спину, но тот спокойненько завернул за угол и бесследно исчез.

Во время расследования происшествия оказалось, что ночной сторож магазина, очевидно, был пьян до такой степени, что потерял сознание. Ночной сторож оправдывался, уверяя, что он сделал всего только маленький глоток, как вдруг увидел перед собой мертвеца, поэтому и упал в обморок. Старая песенка! Естественно, можно напиться и до чертиков! К сожалению, надо полагать, что и сержант Матвеев находился в подобном же состоянии. Иначе как объяснить тот невероятный факт, что он на расстоянии десяти шагов три раза не попал в цель. Совершенно невозможная вещь для опытного милиционера.

Из сейфа магазина украдено 84 тысячи рублей. Ночной сторож и сержант привлечены к уголовной ответственности".

* * *

После смерти все люди надеются попасть в рай. Что такое рай?

Это некое буколистическое место, где человек живет без страха, сомнений и забот лишь для собственного удовольствия. В рай, в принципе, должны попадать те, кто достаточно настрадался в жизни. Если рай — это компенсация за страдания, то я законный кандидат на место в райских кущах.

Страдал ли я? Господи, моя жизнь состояла из сплошных мучений. В этом смысле пребывание в аду не принесло бы мне ничего нового, а казалось бы естественным продолжением нашей прекрасной советской действительности. Вся моя прошлая жизнь состояла из бесконечной нервоотрепки,

напряженной работы, борьбы с разными “измами”, очередных пропагандистских кампаний, когда надо было выявлять, обличать, вскрывать, клеймить, а если уклонишься, то тебя самого так обличат, вскроют и заклеят, что очутишься в местах не столь отдаленных, откуда люди стали возвращаться только после разоблачения культа личности. Впрочем, оттуда возвращаются не все и не люди — тени людей.

Я пережил коллективизацию, 37-й год, войну, борьбу с низкопоклонством и иностранщиной, расформирование министерств, совнархозы, а трудности не уменьшались, лишь прибавлялись, и все время придумывали что-то новое на нашу голову. Теперь мне представляется чудом, как я все это выдержал до самой смерти? Одно лишь утешение: не я один, все так жили.

В бумажнике я храню свой некролог, вырезку из “Московской правды”. Это все, что у меня осталось от предыдущей жизни. Меня самого наверняка уже забыли, а газеты с некрологом в лучшем случае можно найти лишь в уборной на гвоздике.

Теперь я многое вижу гораздо яснее. Я помню, как я жил в последние годы. Господи, если б я знал, что меня ожидает после моей официальной смерти, я бы поспешил умереть!

И верно. Сейчас я живу как в раю, я веду спокойную растительную жизнь. Мне все совершенно безразлично, ничто меня не волнует. Работник похоронного бюро дал мне гарантию на год, надеюсь, что потом найдется способ продлить этот срок заморозки. Единственное, что мне нужно, — есть и пить.

Обеспечить себе еду, питье и одежду совсем нетрудно. Деньги у меня есть, и немалые. Однако я вряд ли еще когда-нибудь решусь, как говорится, “брать сейф”. И не потому, что боюсь. Повторяю, я ничего не боюсь. Но в следующий раз пуля может перебить мне позвоночник, а я не хочу ходить искривленным. Зачем же рисковать? Есть тысячи законных способов добывать деньги. 26 декабря я несколько погорячился. Горячиться мне сейчас совсем не к лицу. Это был рецидив прежних лет.

Короче говоря, сегодня я имею все, что мне нужно.

А что у меня было раньше? Семейное счастье? Кажется, я его никогда не испытывал. Единственное, что я запомнил из семейного счастья, — это похороны. Все время я должен был кого-то хоронить.

Сначала жену моего брата, затем мою мать, отца. Во время войны погибли самые близкие моя друзья. Потом мы похоронили нашего первого ребенка, затем моего брата, родителей моей жены, чуть позже — двух ее теток.

Короче говоря, на каждые два года моей жизни приходилось трое похорон. Я всегда с большой тревогой спрашиваю родственников об их здоровье. Боже сохрани, чтоб кто-нибудь захотел перейти в лучший мир!

Похороны были травмой для моей жены, после них она не могла прийти в себя много месяцев. Она стала истеричной, худела, съезживалась и, поднимая свои маленькие сжатые красные кулаки к небу, беззвучно рыдала. От ее настроения страдал и я, ко мне она цеплялась за каждую мелочь. В этом отношении она была мастерицей. И это понятно. Ей был нужен кто-то, на ком можно сорвать злость. Но в чем же моя вина? Разве я мог уберечь кого-нибудь от смерти?

И вообще, что это была за жизнь! С трудом засыпаешь каждую ночь, с трудом просыпаешься каждое утро, ешь невкусную, наспех приготовленную пищу. А между прочим, я неплохо зарабатывал, я всегда много работал, старался сделать карьеру, был отличным специалистом в своей области.

Ну и что толку? Жизнь — это не книга с благополучным концом. После свадьбы идут первые семейные ссоры, потом скучный быт, а тебя тянет к другим женщинам. Жизнь каждый день приносит неприятности. Даже если ты быстро справился на службе с каким-то заданием и получил награду, на завтра все начинается сызнова — новая работа, новые трудности. Ты боишься ссоры с начальством, дрожишь от страха сделать ошибку, оторваться от коллектива, быть обвиненным в бюрократизме. Когда ты опаздываешь на работу, тебя могут уволить. Если ты вечером задерживаешься на работе, это тоже может привести к

увольнению. К тому же в последнее время наше управление, в котором я работал, постоянно децентрализовывали, реорганизовывали и опять централизовывали.

И потом, что в моем возрасте могли мне дать деньги? Здоровье пошатнулось, много мяса есть нельзя, острых соусов тоже не рекомендуется. Короче, ничего вкусного. Я отказывался от алкоголя, от развлечений, от женщин. Я с тревогой прислушивался к каждому своему сердцебиению, со страхом ждал очередного визита к зубному врачу.

А хлопоты с детьми чего стоят! Маленькие получают плохие отметки — естественно, вина родителей. Старшая дочь не может выйти замуж — конечно, виноват отец.

И вообще, мы попали в сумасшедший век революций и так называемых справедливых войн, атомных бомб и гамма-лучей, телевидения и детских радиопередач. Спасаясь от уличного шума и вони бензина в городах, мы вдыхаем запах навоза и мусора в клопьяных сараях, которые нам сдают под дачи. Идиотское создание — человек! С каждым новым поколением жизнь становится только сложнее. А для чего?

И не говорите мне, что продолжительность жизни увеличилась. Я так и не достиг возраста моего отца. В наше время уже сорокалетние умирают от инфаркта. Раньше такого слова не знали, инфаркт — это достижение прогресса.

Я жил в постоянных заботах и страхе: не дай Бог попасть под сокращение штатов, не дай Бог попасть под колеса автобуса, не дай Бог попасть в больницу, не приведи Бог потерять кого-нибудь из детей! А с ними в любой момент может что-то случиться: собьют машина, проглотят иголку, взорвут на кухне газовый баллон, сожгут квартиру, играя спичками...

И от тебя все время кому-то что-то надо. Надо давать деньги на семью, платить квартплату и по счетам, платить всевозможные членские взносы, посещать вечерний университет марксизма-ленинизма, курсы повышения квалификации, регулярно читать всю муть в центральной прессе и при этом — не разбивать семью, не бросать жену, не

разлагаться, не спиваться и оставаться морально чистым. Ну, как не подохнуть от такой жизни!

Нет, мою вторую жизнь я проживу совсем по-другому.

Кстати, сейчас меня зовут Иван Петрович Сидоров. Так значилось в паспорте, который я унес в чужом пальто из крематория. Ржа на фотографии такая невыразительная, что вполне сойдет и за мою. И год рождения, указанный в паспорте, близок к моему. Настоящий владелец паспорта заявит о потере не сразу, ведь за утрату паспорта надо платить штраф — сто рублей. А для алкаша (в том, что этот Сидоров был алкаш, я не сомневаюсь) сто рублей — большие деньги. И потом, Иванов Петровицей Сидоровых в Москве, наверно, 10 тысяч. Мне нечего волноваться. Впрочем, волноваться я физически не могу. Не забывайте, я все-таки мертвец.

Главное теперь — найти работу, спокойную и не пыльную.

Вот и решил я стать банщиком. Точнее говоря, это называется не банщик, а пространщик — человек, который выдает простыни и следит за порядком в раздевалке. Но все равно в простонародье его называют банщиком. Ну что ж, банщик так банщик. Эта идея пришла мне в голову после того, как в бумагах Сидорова я нашел трудовую книжку с указанием его предыдущей работы.

Раньше, в моей первой жизни, посещая баню, я часто присматривался к банщикам и находил, что у них довольно простая служба. Кроме того, они получают большие чаевые.

Там, где связано с дополнительным заработком, так просто место не находят. Поэтому я отправился к начальнику отдела кадров городского управления коммунальных услуг.

Я пришел незадолго до конца приема, и меня впустили последним. За окнами уже стемнело. Две слабые лампочки с матовыми стеклами освещали комнату. Лысый человек с беспокойными живыми глазами предложил мне сесть, взглянув при этом на часы. Было слышно, как в коридоре хлопали двери — служащие торопились домой. Я дал ему свои бумаги. Он склонился над моей трудовой книжкой.

Очевидно, он был близорук. Наверняка моя солидная наружность его смутила. Он очень долго изучал записи в трудовой книжке, время от времени бросая на меня короткие взгляды. За моей спиной начали бить часы. Я обернулся. Большие настенные часы, которых я раньше не заметил, показывали половину седьмого.

— Нет, к сожалению, ничего не могу для вас сделать. У нас нет свободного места.

В комнате вдруг наступила абсолютная тишина, что совершенно необычно для такого большого учреждения. Начальник посмотрел на меня. Он ожидал, что я встану, попрощаюсь и тут же уйду.

Я встал. Только письменный стол, заваленный деловыми папками, разделял нас. Письменный стол с деловыми бумагами... Я закрыл глаза и представил себя сидящим за таким же столом и ждущим, когда же уйдет последний посетитель. Когда я открыл глаза, я увидел ужас на лице начальника. Он побелел, его руки дрожали.

— Вы получите работу, — прошептал он очень испуганно.

Он отклонился назад, не отрываясь смотрел на меня остановившимся взглядом. Потом опять же дрожащими пальцами вытащил анкету и подтолкнул ее ко мне. Я взял анкету и, не сказав ни слова, пошел к двери.

Через неделю после устройства на работу я посетил райжилотдел. Я хотел получить комнату. Сначала надо мной чуть ли не смеялись. Какая дополнительная жилплощадь? В Москве жилищный кризис. Живите по месту прописки и становитесь в очередь на общих основаниях.

Но я все же пробился к начальнику. Причем это было опять вечером.

Когда мы остались одни, я встал, навис над столом и закрыл глаза.

Эффект превзошел мои ожидания. Заплетающимся языком начальник проблеял, что тут же подпишет мне ордер, только чтоб я больше его не беспокоил. А ордер я сейчас получу в регистратуре.

Слабые нервишки у живых людей...



Как-то в один из дней в моей раздевалке появились двое знакомых из нашего главного управления. Я увидел их удивленные лица и услышал приглушенные слова:

— Погляди, как этот банщик похож на покойного Сергеева...

Я вспомнил, что во время моих похорон эти двое совершенно нагло болтали и кадрились к нашей секретарше Верочке. Поэтому я содрал с них лишних три рубля чаевых за полотенце и простыню.



Вывеска: “ПАЛАШЕВСКИЕ БАНИ. Открыты ежедневно с 8 до 22 часов. В понедельник — с 8 до 20 часов. Выходной день — вторник. Работает парикмахерская“.

ГЛАВА 3

Лишь сейчас мне стало ясно, почему меня всю жизнь любили в ресторанах, гостиницах и банях. Приятно иметь дело с серьезными мужчинами. Я не терплю школьников и студентов. Они всегда берут билетки в кассе за мыло и полотенце. Они отказываются от помощи — мол, спасибо, не надо. Ну что с них возьмешь?

С солидным мужчиной совсем по-другому. Для него сходишь за мылом, простыней и веничком, поможешь вытереть спину, сложишь одежду. И вот он дает тебе в руку 10 рублей. Из них 7 рублей идут в твой карман. Во время одной рабочей смены иногда набирается до тридцати таких посетителей. Это 210 рублей чистой прибили.

Правда, солидные мужчины ходят в баню в определенные дни. В другое время приходит одна молодежь. Но не-

которые из них тоже благодарят — смущенно протягивают рублевку, очень собой довольные.

Иногда появляется клиент, который действует всем на нервы. Ничего ему у нас не нравится. Дескать, лавки грязные, веники потрепанные, на полотенцах жирные пятна. Он всем морочит голову, изображая важную персону: “Прошу вас, как следует обслужите меня“. И при этом — маленький, худенький, плюгавый, из тех, кто при моей жизни никогда бы не осмелился войти в мой кабинет.

Все это, конечно, неприятно. Но если раньше у меня было то, что называется честолюбием, чувством собственного достоинства и так далее, то сейчас мне плевать. И даже самые нахальные клиенты смолкают в моем присутствии, они понимают, что от меня все отскакивает, как от стенки.

Больше всего наш банный персонал любит почтенных старичков с козлиными бородками. Все делают вид, что их уважают и внимательно слушают. Эти дедушки обожают вспоминать, как было в банях до революции, а ты сидишь рядом, киваешь головой, поддакиваешь — и получаешь на чай.

Чего только не увидишь, работая в бане! Например, приходят солидные товарищи, по виду — руководящие работники среднего звена. Но как только они начинают раздеваться — носки с дырками, грязное нижнее белье. Да, сразу все можно понять про их отношения с женами. И в обнаженном виде какая уж солидность! От них остается только огромный живот, худые ноги и впалая грудь. Такой человек стесняется своего голого вида и скорее бежит в парную.

Молодежь, конечно, хорошо выглядит, но и среди них я что-то не замечал атлетов. Когда я был молодым, мои сверстники были сильнее и лучше сложены. Сегодняшние молодые люди — интеллектуалы! — худенькие, с большими рыжеволосыми головами на тонких шеях. И до чего шумные! Уже при входе в раздевалку начинается:

— Слушай, Бобров-то молодец!

— Бобров — молоток! А Шувалов — старая галоша. Пора ему ноги приделать...

Поразительно, в бане все первым делом начинают говорить о хоккее. Федор охотно вмешивается в спор. Федор — черный, как цыган, лет тридцати, один глаз у него косит, другой глаз стеклянный. Среди банщиков он самый молодой, но по стажу — самый опытный. За словом в карман не лезет и в любом споре становится главным. Но некоторым из ребят это не нравится. И вот один из них ругается матом. Федор отвечает спокойно:

— А, ты уже получил аттестат зрелости? Отмечаешь свое образование?

Парень смущен. Другой, желая выручить товарища, предлагает Федору:

— Давай поборемся, посмотрим, кто сильнеей.

— С младенцами не связываюсь.

И впрямь, одной рукой он свободно кладет любого. Да, Федор знает, как обращаться с ребятами. И вообще, он может осадить кого угодно, даже нашего заведующего баней. Лишь со мной он держится почтительно. И другие банщики относятся ко мне с некоторой робостью — видимо, на них производит впечатление мое потрясающее хладнокровие.

Когда нет клиентов, все банщики собираются у больших весов, обсуждают разные истории — кражи, грабежи, рассказывают о смертных случаях в парилке или о том, как они ловко отделяются от клиентов, требующих книгу жалоб. Потом они обсуждают новости политики. Вот тут, если бы я не был уже мертвым, то каждый раз помирал бы со смеху.

Если в течение смены нет выгодных клиентов, а идет лишь мелкая рыбешка, то есть нет работы и время тянется томительно, Федор впадает в лирику и начинает скучать по весне:

— Скоро весна, — обычно говорит он. — Господи, какая настанет красота!

Не понимаю, чего он там нашел красивого. Когда я был жив, я тоже всегда ждал весны, и лета, и осени, и зимы. И они наступали — и весна, и лето, и осень, каждый год. И с каждым годом я старел. И наконец умер. Ну и что? Люди всегда чего-то ждут. А мне ждать нечего. У меня все есть:

и деньги, и комната, еда и питье. Больше мне ничего не надо. Может быть, летом поеду в деревню и заведу огород. Хотя зачем он мне? Я не ем свежих овощей, они мне без пользы.

В ресторанах я всегда заказываю лишь заливную рыбу. В “Метрополе” ее делают отлично. Когда я был жив, я очень редко мог позволить себе такое лакомство. Я предпочитаю ужинать в ресторанах. Благодаря этому мне не надо толкаться у прилавков продуктовых магазинов и возиться на коммунальной кухне. Я купил себе несколько хороших костюмов, и с тех пор в “Метрополе” меня принимают как важную шишку, с почтением и уважением. Тем более я знаю, сколько и как надо давать чаевые. Сейчас уже все официанты называют меня по имени-отчеству. А швейцар, даже если у входа стоит очередь, пропускает меня с поклоном.

Я с удовольствием бываю на чужих похоронах. Мне приятно сознавать, что вот еще кто-то умер. Бедняга, небось цеплялся за жизнь, был полон планов, ловчил, интриговал, пытался ухватить кусок пожирнее, отпихнуть локтем соперника. И наверняка он боялся смерти. А сейчас он лежит трупом. Зачем же надо было суетиться? Пешеходы на улице не обращают на него внимания, водитель похоронного автобуса думает только о том, чтобы поскорее отделаться и вернуться к своей бабе. Даже у близких умершего лишь одна мысль — скорей бы все это кончилось!

Неужели еще кто-то рассчитывает на людскую благодарность?

Иногда я посещаю так называемые культурные мероприятия. Как-то я собрался в консерваторию на концерт. В программе был “Реквием” Моцарта. Когда-то я проливал слезы, слушая траурные марши Бетховена и Чайковского. Кстати, Чайковский считается у нас великим оптимистом. И это несмотря на его Шестую симфонию! Бетховен — тоже оптимист, потому что связан с народом, “оптимист трагический”.

Ну, ладно, хватит официальной пропаганды. Во всяком случае, Бетховена и Чайковского я знал почти наизусть, но

мне никогда не удавалось услышать “Реквием” Моцарта. Все не хватало времени. Теперь у меня времени навалом, передо мной — вечность.

Короче, я пошел на концерт. Знакомый Большой зал консерватории. Со стен взирают классики — семь русских, семь иностранцев, все поровну, никакого низкопоклонства перед иностранщиной.

Концерт начинается. На эстраде появляется человек — бурные аплодисменты. Но это только ведущий, который объявляет программу. Потом выходит дирижер — аплодисменты повторяются. Потом, извиваясь, как дождевые черви, на сцену вползает хор: женщины в белом, мужчины в черном. Некоторые женские лица мне сначала понравились, но когда я посмотрел в бинокль, лишь одно лицо показалось действительно интересным. Блондинка посередине, с модной короткой прической.

И вот “Реквием”. Певцы открыли рот — и хорошенькая блондинка сразу же потеряла свою привлекательность. Нет, пока это на меня не производило впечатления. Слава Богу, что пел Эстонский хор — я с трудом представляю, как бы это все звучало по-русски. Дирижер очень часто делал паузы, давая отдых оркестру, и вытирал платком потный лоб.

Неожиданно зазвучала очень красивая мелодия. Я внимательно слушал. Да, действительно, выразительное место. Если бы такая музыка играла на моих похоронах! Я ожидал, что тема повторится, но нет, она не вернулась. Жаль. Зато в финале в оркестре так гремели тромбоны и ударные, что, наверно, разбудили всех мертвых в радиусе 20 километров.

Домой с концерта я возвращался пешком. Я шел по вечерним улицам и смотрел на окна домов, на проезжающие машины, на вывески, на рекламы, на пешеходов, даже на небо, желая найти что-нибудь новое, что-то, что могло бы меня удивить. Теперь я чувствовал себя настоящим пришельцем с другого света и хотел понять, что же изменилось за мое отсутствие на земле.

Нет, мир все тот же. Люди все так же куда-то спешат, перебегают улицу в неполюженном месте, милиция их

штрафует. Молодежь по-прежнему целуется в подъездах. У гастрономов мужская часть населения соображает на троих. И пьяницы поют все тот же старый репертуар.

Улицы, боясь темноты, зажигают окна домов, пряча свет за занавесками, но — “уходя, гасите свет, экономьте электроэнергию!” — и улицы постепенно погружаются в темноту, и к часу ночи все окна ослепнут.

Так оно было, так оно и будет. Как всегда, деревья растут на земле, а не на крышах, и ночью все кошки серы, и по-прежнему продается пианино, и по-прежнему ищут няню к двухлетнему ребенку, и мебелированную комнату для одинокого холостяка. Завтра опять наступит день, и поезда пойдут по расписанию, и все дороги ведут к коммунизму. Уважайте труд уборщиц! Юный пионер — всем ребятам пример! Что посеешь, то и пожнешь! Пейте советское шампанское! Храните деньги в сберегательных кассах! Люди все еще стоят на ногах, а не на голове.

Когда же я действительно умер? Мне начинает казаться, что это произошло значительно раньше моей физической смерти.

ГЛАВА 4

Самое интересное в моей жизни то, что у меня нет никаких интересов. Я ем, пью, хожу на работу, стараюсь развлекаться. А что еще? Я знаю, что я всегда буду есть, пить и спать. У меня больше нет никаких забот.

Раньше меня увлекала работа, я даже ночами просиживал над какими-то проектами, а теперь?

Я знаю, что наша баня никогда не сможет вымыть всех людей, а если бы это когда-нибудь произошло, то вымытые люди через неделю стали бы грязными.

Развлечения? Ну, каждый развлекается по-своему. Например, можно развлекаться над глупыми и спесивыми клиентами.

Любовь? Я же не могу ничего чувствовать. И вообще

утверждают, что все женщины — потаскушки, а все мужчины — сволочи. Любви нет, ее просто выдумало министерство культуры для утешения некрасивых девушек.

Правда, сейчас я много читаю, но и это постепенно надоедает. Ведь вся мудрость древних греков заключается в двух заповедях: “Не спи с женой ближнего своего” и “Не сожительствуй с животными”. Средневековье нашло лишь одну истину: “Наслаждайся данным моментом”. Старый китаец, который жил в каком-то веке, написал по этому поводу:

День уходит за днем,
Чтобы к старости срок приближать.
Год за годом идет,
Но весна возвратится опять.

Насладимся вдвоем,
Есть вино в наших поднятых чашах,
А цветов не жалея —
Им еще предстоит расцветать...
Но и это не для меня.

Зачем мне радоваться цветам, которые вновь расцветут? Меня уже один раз забросали цветами. С меня хватит. Что же касается мудрости нашего времени, то я ею наелся доотвала еще в прошлой жизни. В моей прежней квартире, если жена не выбросила, должны храниться многочисленные конспекты четвертой главы “Краткого курса” и ленинских работ “Государство и революция”, “Детская болезнь левизны”, “Шаг вперед, два шага назад”. Когда-то я даже конспектировал “Капитал”, хотя сам капитала не нажил.

Впрочем, хватит об идеологии. Я был таким же ослом, как и все, и нечего сейчас изображать из себя умного. Все передовые идеи нашего времени в конце концов приведут человечество к атомной войне. Если меня не сожжет атомный огонь, то на радиацию я чихал.

Бани, естественно, закروются, некого будет мыть. Что ж, разведу натуральное хозяйство.

Пока же ежедневно я возвращаюсь домой в шесть вече-

ра, варю себе кофе и пью его из чашки Людовика XIV. Я сажусь в старинное дворянское кресло, которое я по дешевке купил у антиквара, беру с полки перевод старого французского романа. Или переставляю в шкафчике фарфоровые безделушки. Или включаю телевизор.

Если в программе нет кинокомедии, я надеваю один из шести своих вечерних костюмов, белоснежную рубашку, модные черные туфли, аккуратно повязываю галстук и иду в ресторан.

Но иногда мне хочется поужинать дома. Тогда я покупаю бутылку коньяка, икру, несколько других закусок, а в “Кулинарии” — готовую заливную рыбу.

Кстати, я никогда не напиваюсь, от алкоголя мне становится только теплее, и я чувствую, как приятно согревается все мое тело. Мои соседи мне не мешают. Я без споров плачу все, что с меня причитается за газ и электричество.

Соседям я ежемесячно даю сто рублей, и они делают за меня всю уборку в квартире. Соседи меня ценят, потому что я никогда не вожусь на кухне. Мои фарфоровые чашки моет соседка, естественно, за особую плату, а когда набирается много грязных тарелок, я их просто выбрасываю и покупаю новые.

Рубашки я не отдаю в прачечную, туфли не отношу в починку. Гораздо проще покупать новые вещи. Кроме того, нижнее белье остается на мне чистым и через неделю.

В свободные дни я хожу по антикварным, ювелирным и букинистическим магазинам. После каждой такой прогулки в моей комнате появляется какая-нибудь интересная штучка. Поздно вечером я включаю радио и слушаю все станции, говорящие по-русски.

Повторяю, политика меня не волнует, но мне любопытно, как по-разному подают одни и те же события советская пресса и так называемые вражеские голоса.

Джазом я не увлекаюсь, современными песенками — тем более. Но у меня набралась хорошая коллекция пластинок классической музыки. Я предпочитаю Чайковского и Вагнера. Последнюю часть Шестой симфонии или “Су-

мерки богов“ я проигрываю целыми вечерами. Приятно слушать хорошие траурные марши.

Ко мне никто не приходит в гости, и я сам ни к кому не хожу. Если мне хочется высказать свои сокровенные мысли, я их записываю в дневник. Вот и все. Очень редко я предаюсь воспоминаниям. Однако, вспоминая, я пытаюсь понять одну вещь: если бы в последние годы моей жизни у меня был тот же комфорт, что и сейчас, тот же материальный достаток, та же беззаботность, то где разница между моим прежним и теперешним существованием? Тогда возникает вопрос: когда же я на самом деле превратился в покойника?

Однако если уж вспоминать, то, пожалуй, самым счастливым в моей жизни был тот год, когда я работал в райкоме комсомола, в сельхозотделе. Коллективизация и борьба с кулаками тогда были в самом разгаре. Это не так романтично, как теперь стараются изобразить. Но я был молод и во все верил.

Однажды мне пришлось ночевать в пустом амбаре. Крысы бегали по моему телу, и это для меня было страшнее, чем выстрелы в спину. Кстати, я не боялся анонимных угроз, хотя уже получил два письма, в которых меня обещали зарезать.

Молодость... Нас было трое друзей — Васька Лазутин, Сашка Пахомов и я. Васька всюду ударял за девушками, а Сашку увлекали только книги. Он изучал философию.

С образованием у нас у всех было довольно плохо, и нас удивляла эта Сашкина страсть. Однажды мы спросили Сашку, понимает ли он что-нибудь в философии. Он ответил: “Я люблю все то, что непонятно“. Забавно было слушать историю человечества в Сашкиной интерпретации. Мы веселились до упаду.

— Дело было так, — объяснял Сашка. — Перед тем как покинуть деревня, обезьяны устроили профсоюзное собрание. Во время бурной дискуссии выявились две фракции: оптимисты — большевики и пессимисты — меньшевики. Оптимисты хотели идти на поиски нового жизненного пространства, а пессимисты возражали: “Зачем уходить отсюда, — говорили они. — Наша жизнь и так тяжела. Ба-

нанов все меньше, змей — все больше. Куда еще тащиться в неизвестность на поиски приключений? Если бы где-то был рай, наши предки его бы давно обнаружили“. И обезьяны разделились. Оптимисты стали людьми, хозяевами своей жизни, а пессимисты превратились в южноамериканских обезьян-ленивцев, которые висят на деревьях, зацепившись хвостами за сучья, и питаются случайно пролетающими мухами.

Однако в каждом новом поколении людей, продолжал развиваться свою историю Сашка, опять рождались пессимисты. Они тоже не хотели работать, но так как висеть на деревьях неприлично, да и хвоста нет, то они пугали народ, предсказывая скорое наступление конца света, а сейчас они пророчат скорую гибель советской власти и ворчат: “Зачем надо поступать в колхозы? Если бы в них был рай, то наши деды и прадеды уже давно бы объединились...”

— Ну, а среди тех пессимистов твоих южноамериканских, что висят на деревьях, зацепившись за хвост, так вот, среди них уже что, не рождаются оптимисты? — ехидно спрашивал Васька.

— Как же, рождаются, — живо парировал Сашка. — Только они хитрые и сразу становятся буржуями...

Они были веселыми парнями, Васька Лазутин и Сашка Пахомов. Да и я, кажется, был не промах. На деревенских гулянках, помнится, отплясывал до зари. Потом мы вместе с Васькой записались в аэроклуб и оба стали летчиками.

Но это было тоже не так романтично, как изображают сейчас. Иногда часами сидишь на аэродроме в дикий ветер, в мороз, мерзнешь в самолете, ждешь летной погоды. А на каких самолетах мы летали, смешно вспоминать! Кажется, дунешь — и он рассыплется на составные части.

Васька вскоре женился, и каждый вечер я приходил к нему домой. Его жена Нюра поила нас чаем, а мы прокладывали маршруты и занимались теоретическими спорами — мы собирались ни больше ни меньше как покорять Северный полюс. Мы были уверены, что станем известными летчиками.

Да, это была молодость, и у меня были прекрасные друзья.

Сашка погиб во время коллективизации. Васька разбился в тренировочном полете. Я ушел из авиации и поступил учиться в вуз.

* * *

Недавно мне понадобилась справка из домоуправления за подписью начальника конторы. Я за этим начальником гонялся целую неделю. В приемные часы его нет, он присутствует на каких-то совещаниях и конференциях, а в остальное время — нет приема. Хоть на стенку лезь с отчаяния!

В общем, получать справки в домоуправлении — это не занятие для живых людей. Тут нужны стальные нервы. И вообще, мне кажется, в домоуправлении сидят механические куклы, их заводят, и они двигаются. Но двигаются по своему замкнутому бюрократическому кругу, куда простым смертным доступа нет.

Но у меня нет нервов, и ждать я могу бесконечно. Короче говоря, наконец-то я застал начальничка. Мне неизвестно, что он делал в прежней жизни, но я его сразу узнал по носу, огромному шишковатому носу, второго которого не существует. Так вот где ты укрылся, дорогой покойничек!

Через месяц мы случайно столкнулись с начальником конторы на городской конференции служащих коммунального хозяйства. Меня послали туда делегатом. Федор объяснил: “Ты у нас личность представительная, заметная фигура. Вот и заседай“. Мы мило поздоровались с начальничком и завели разговор о Ближнем Востоке.

ГЛАВА 5

Я знал, что когда-нибудь меня потянет посетить старые места, эту улицу, этот дом, где прошли последние годы моей жизни.

И вот как-то вечером, в конце октября, когда выпал первый снег, я оказался на знакомой улице. И мне даже почудилось, что я просто возвращаюсь домой с работы, из главного управления.

В неоновой рекламе над угловым домом по-прежнему не горели две первые буквы, и получалось: "...рите сигареты "Прима". На углу, как и раньше, стояло несколько одиноких фигурок, этот угол всегда был местом для свиданий.

Я остановился около освещенной витрины булочной, здесь я покупал батоны за 1 рубль 35. За прилавком сустилась все та же продавщица. В воздухе танцевали снежинки и таяли под ногами пешеходов, превращаясь в грязь.

Мимо прокатил автобус, и лицо шофера показалось мне тоже знакомым. Неудивительно, я же ездил по этой линии.

Зажглись уличные фонари, толпа на тротуарах густела, все куда-то спешили, толкали друг друга, весело переговаривались или проклинали погоду, кто-то наступил мне на ногу. И все это казалось мне таким родным и привычным...

Я поднял воротник пальто, надвинул шапку на лоб и свернул в свой переулок. Но внезапно я замер. На противоположном тротуаре появился молодой человек в модном ратиновом пальто с широкими плечами. Он шел, чуть раскачиваясь, и на его узких губах я угадывал насмешливую улыбку.

Я пропустил его и последовал за ним в некотором отдалении. Я знал этого парня, жениха моей дочери. Интересно, что же ее привлекло в нем? Наверно, бойкий характер, наглая самоуверенность, плохо скрытое пренебрежение к людям старшего поколения. Он утверждал, что "предки" — мы для него тоже были "предками" — не в состоянии понять современную молодежь. Возможно, у не-

го были достоинства. Он с отличием окончил МАИ и уже устроился в каком-то “ящике”. Но я его не любил. Не любил за вызывающее поведение, меня раздражали его совиные глаза и хищный, с горбинкой нос. Я прозвал его “стервятник”. Правда, ко мне он относился вежливо и с уважением, но про себя, конечно, догадывался, что я про него думаю, ведь не дурак был. И, разумеется, платил мне той же монетой. Они с Ирккой хотели пожениться, но я ей сразу же сказал: “Свадьбы не будет, пока ты не закончишь институт”.

Жалко, что во время похорон я не видел лица этого типа. Теперь-то мне ясно, что моя смерть была ему на руку.

У меня возникло побуждение догнать “стервятника”, схватить его за шиворот, потряхнуть...

Но ярко горят фонари и окна домов, по тротуару шастает народ. И потом, парень может не испугаться, а спокойно, полувопросом со мной поздороваться: “Здравствуйте”.

И что мне отвечать, мол, впрямь здравствую? А на следующий день он расскажет своим друзьям: “Вот какую глупую шутку отколол Иркин предок!”

И потом, имею ли я право сейчас вмешиваться в личную жизнь своей дочери? И потом, вдруг они уже поженились? Мое возникновение из небытия плохой подарок для семьи. Мало ли что? Возьмут и отменяют мою пенсию. А у Ирки еще нет собственной зарплаты. Ладно, пусть идет своей дорогой.

Парень исчез в подъезде, в моем подъезде. Я остановился на тротуаре напротив.

Здесь каждый камень должен был меня помнить. Мой дом нависал надо мной темной огромной глыбой. В окне моей комнаты горел свет. В другом окне приоткрыта форточка и желтая занавеска чуть сдвинута влево.

Я вспомнил последние часы своей жизни: непрекращающиеся боли в сердце, потом провал, потом лицо врача, тревожное озабоченное лицо, на котором я читаю свой приговор — конец! И я еще тогда подумал: “Вот как оно происходит”. Люди почему-то уверены, что перед глазами умирающих проносится вся их жизнь! Глупости! Я видел

перед собой только желтую занавеску. Я не смотрел на жену, я боялся ее испугать. Я смотрел на темное пятно на занавеске и считал минуты — одна, две... Сколько еще минут мне осталось смотреть на это пятно?

Дом, где меня любили, где когда-то проливали надо мной слезы, где должны меня вспоминать...

Снежинки планировали на карниз окна и не таяли. Снежинки опускались на мое лицо и не таяли. А что произойдет, если я сейчас поднимусь, войду в свою комнату, полистаю бумаги на столе, погляжу на свою фотографию в черной рамке на стене? Рукавом я вытер снег с лица. Еще раз взглянул на желтую занавеску за окном, на которой отпечаталась тень чьей-то головы. На один миг я сосредоточенно прислушался и облегченно улыбнулся: нет, мое сердце не билось.

Твердым шагом я пошел дальше, но внезапно остановился. Послышалась знакомая мелодия. Кто-то включил проигрыватель на полную мощность. Я обернулся — из форточки моего окна на улицу лились звуки веселой итальянской песенки: “Чао, чао, бамбино...”

* * *

На столике дымится чашка кофе и блики верхней лампы застыли в начатой бутылке коньяка. Неторопливо кружится пластинка, наполняя комнату глухими раскатами траурного марша Вагнера “Гибель богов”. Я перебираю китайские фарфоровые безделушки.

Итак, я побывал в гостях у прошлого, побывал там не в своих воспоминаниях, а наяву. Прошелся по реальным улицам. Вон еще ботинки не высохли...

Грустно? Нисколько. И это самое удивительное. Мне совсем не захотелось возвращаться в жизнь. А ведь были времена, когда я был полон жажды жизни, отчаянно цеплялся за нее. Сегодня в это верится с трудом.

Когда я еще работал в райкоме комсомола и проводил коллективизацию, мне однажды приснился сон, который я навсегда запомнил.

Мы с Сашкой Пахомовым идем по лесной дороге в деревню Березки. Ветер шелестит в листве, птицы поют, солнце припекает... Словом, все как наяву. Тем более ходили мы в Березки по той же дороге много раз. Но мы почему-то останавливаемся на маленькой полянке, которая вся покрыта содранной березовой корой, а из-за сломанной березы навстречу нам выходят четверо парней. Парни загорелые, широкоплечие. Они идут на нас, как будто нас не видят, но они идут точно на нас. Когда первый поравнялся со мною, я узнал его — это был Семка, в принципе, тихий, робкий парень, сын кулака Комарова, но сейчас он казался почти в два раза выше меня. И вот дальше все куда-то исчезают, а мы остаемся с Семкой, и он мне начинает подробно рассказывать, как меня убивали:

— Ну, с тобой мы быстро покончили. При первом же ударе ты упал, мы чуть добавили, и ты уже не шевелился. Но вот Сашка оказался крепким парнем. Он дрался отчаянно, как бешеный, но мы его окружили и били со всех сторон. А наши девушки смотрели из-за кустов. Это была, наверно, забавная картинка. Он перелетал от одного к другому, он кричал, он задыхался, мы умирали со смеху. В конце концов, затих голубчик.

— Какие девушки? — спрашиваю я.

— Ну, моя сестра Марфа с подругой.

Я хорошо знал его сестру Марфу, красивую крепкую девицу. Может быть, я бы за ней всерьез и приударил, если бы она не была дочерью кулака. И вот тут меня охватили горечь и обида: значит, она смеялась, когда видела, как меня сбили, как валили Сашку, как он обливался кровью...

— Вас будут судить, — говорю я. — Вас всех арестуют и расстреляют.

— Не пойман — не вор, — отвечает Семка. — Нет свидетелей. Никто не докажет, что это мы вас убили.

— А если я пойду в милицию и все сам расскажу?

— Ты? Как ты пойдешь? Ты же мертвый.

— Ну ладно, хватит мне сказки рассказывать.

— Нет, голубчик, все правда. Сам убедишься. И все-таки это было забавно. К сожалению, ты сразу свалился.

Но Сашка, тот прыгал, словно его кусали шершни. А теперь мы отсюда уматываем к моему брату в Ярославль.

Все это Семен рассказывал тихо, монотонным голосом. Я смотрю в его глаза, они светло-голубые, добрые, и чуть не вою от беспомощности.

Я не могу рассказать на суде, что это они нас убили, я не смогу отомстить ни за себя, ни за Сашку. А он ведь издевается над нами, ведь он хвастается передо мной...

— Семен, — спрашиваю я, — но почему меня? Ведь я же хотел жениться на твоей сестре.

Семен отвечает все так же спокойно и меланхолично:

— Знаешь, я лично против тебя ничего не имею, мне даже тебя было жалко, но ведь ты работаешь в райкоме комсомола, и именно ты приехал в нашу деревню на раскулачивание. Как ты сам не понимаешь, что ты несешь нам смерть?

И вот Семен исчезает, а я думаю — нет, это не может быть, я наверно жив, просто в следующий раз, когда мы пойдем в Березки, надо будет позвать на помощь милицию или надо взять с собой оружие. Но ведь мы часто ходим в Березки. Когда же нас будут ждать с засадой? Угадать трудно. А если каждый раз приходиться в Березки с милицией, это глупо, и потом, нас засмеют деревенские девки.

А может, вообще мне просто никогда не ходить в Березки, придумать что-нибудь, чтобы никогда больше там не появляться... И вот большего отчаяния, страха и стыда, которые я в тот момент чувствовал, я не переживал никогда.

Когда я проснулся, когда я осознал, что это был только сон, помню, я встал, выпил воды из ведра, закурил папироску и начал хладнокровно рассуждать — почему это все мне приснилось? Вечером, перед тем как лечь, я долго думал о Марфе, даже строил волнующие планы о “свиданке” за околицей. Понятно, что Марфа появилась во сне, а за ней ее брат. Но ведь брат пришел не как сват, а как убийца. Я вспомнил, что недавно на сельском сходе в Березках я выступал с речью, громил кулаков, высмеивал богатеев. Я говорил, кажется, удачно, крестьяне сме-

ялись, но я услышал голос из угла, где сидели сыновья кулаков: “Посмотрим, кто посмеется последним!” А в этой группе как раз и был Семен. Потом — еще раньше, — именно в Березках мне подложили два угрожающих анонимных письма, а в соседнем районе с месяц назад уже убили комсомольца, убили в лесу. Кто? Поди догадайся.

Конечно, надо было бы забыть этот сон, как кошмар, но я решил, что это судьба подает мне знак, предупреждает. Ну, хорошо, можно не верить в судьбу, но есть реальные приметы. Надо трезво просчитать варианты. (Это выражение я услышал недавно, и оно мне очень понравилось: просчитать варианты.) Пути жизни вроде бы непредсказуемы, но есть математика. На развилке двух дорог, продолжал рассуждать я, написано: “Налево пойдешь — полено найдешь, направо пойдешь — голову сложишь”. Надпись из сказки. Но если из десяти человек, пошедших направо, вернулось лишь два, то при помощи простой арифметики становится ясно: лучше свернуть налево за дровами.

И вот после этой ночи я совершил свой первый рациональный поступок. Но с тех пор, кажется, что-то во мне надломилось, погасло.

* * *

В последние годы моей жизни я стал бояться одиночества. Дни у меня были заполнены работой, общественными поручениями, конференциями и прочей суетой, вечером — домашние хлопоты, телевизор.

Я старался днем как можно больше уставать, чтобы ночью скорее засыпать и спать как убитый. Раньше этому помогали алкоголь и любовные утехы с женой, но потом, когда по состоянию здоровья мне стало нельзя ни того ни другого, когда часами лежишь с открытыми глазами, смотришь в темноту и видишь только самого себя, чувствуешь ноющую боль под правой лопаткой и прислушиваешься к собственному сердцебиению — тогда страшно. Ведь именно

в часы бессонницы ты остаешься наедине с самим собой, ты один в этом мире, чувствуешь себя совершенно изношенным, измотанным, как старая кляча, и понимаешь, что жизнь твоя на исходе и никто не в силах тебе помочь, и скоро тебя вообще не будет.

Говорят, на Западе люди в 60 лет еще бодры, женятся, играют в теннис, ходят в бассейн, путешествуют. Там другая жизнь, что ли? А я, не достигнув 50 лет, был уже живым трупом. Почему? Мне кажется, все дело в том, что все устои нашего общества противоречат нормальному человеческому существованию. Мы привыкли делать одно, а говорить другое, совершать поступки, противоположные нашему желанию, подавлять порывы, лицемерить, понимая, что лицемерим, казня себя за это, продолжать врать. Наша жизнь — это борьба с бесконечными табу. Например, есть одна вечная истина: своя рубашка ближе к телу. Но попробуй об этом где-нибудь заикнись — тебя заклеят, раздавят. Человек инстинктивно живет согласно этой истине. Но ему от этого стыдно, он сам себя презирает и, занимаясь самоедством, сам себя разрушает как личность. Человек по природе собственник. Мне всегда хотелось иметь свой домик, сад, огород, машину. И ни от кого не зависеть! Однако советский человек не имеет права об этом даже мечтать, иначе тебя всенародно объявят мещанином. А попробуйте работать в так называемом советском коллективе с ярлыком мещанина! Заключают! Правда, среди моих сослуживцев были такие, которые незаконно построили себе дачи за государственный счет. Но никто из них никогда честно не признался — мол, хочу иметь свой участок земли, свою крышу над головой. Нет, они прятались за пышными фразами — мол, лишь высшие интересы заставляют их обнести свою дачку штaketником. Они делали карьеру, бесцеремонно расталкивая других локтями, а прикрывались словами о бескорыстном служении Партии и Отечеству. Впрочем, чего уж мне валить все на идеологию — я сам был хорош. Когда мне после войны дали ордер на двухкомнатную квартиру, вдруг выяснилось, что есть еще один очередник, Иванов, который живет в подвале с тремя детьми. Мне намекнули, что я должен уступить одну из комнат

Иванову. Будь я совершенно искренним, я бы ответил, что я понимаю — у Иванова трое детей, но я не хочу опять скандалов на коммунальной кухне. Хватит, я всю жизнь прожил в коммуналке, я ждал долго своей квартиры, и пусть Иванов тоже подождет. Во всяком случае, я был бы честен. Но я знал хорошо правила игры, и я сказал другое. Я сказал, что я беру много работы домой. Я имею второй допуск. На бумагах, которые я приношу домой, стоит гриф “Секретно”. А Иванов не имеет этого допуска. Так что, дорогие товарищи, смотрите сами, не произошла бы утечка государственных тайн. Вот этот довод подействовал, с ним все согласились. И так я въехал в двухкомнатную квартиру.

Признаюсь, какое-то время мне было стыдно смотреть Иванову в глаза, но потом я нашел для себя утешение. Ну представьте себе, что тонет в ледяной воде человек. И вы — этому свидетель. Что вы сделаете? Ну, конечно, только последний подлец уйдет, спокойно насвистывая. Нет, вы будете бегать по берегу, давать утопающему советы, может быть, бросите ему веревку, если найдете, или протянете ему длинный шест, если найдется на берегу что-нибудь подходящее. Или вы побежите к телефонной будке звонить в милицию. Только одного вы не сделаете — сами не прыгнете в ледяную воду. Почему? Да потому, что прыгать в ледяную воду — это чистое самоубийство.

А ведь я не самоубийца. Я ведь простой, нормальный человек, воспитанный в определенной системе, умеющий рассчитывать варианты. В этом отношении меня многому научил тридцать седьмой год. Как раз тогда я заканчивал университет, и нашего декана объявили врагом народа. Собирали подписи под соответствующим заявлением. И меня попросили подписать. Я не спал несколько ночей. Я знал, что декан порядочный человек и никакой не враг, не троцкист, не шпион, не убийца, но я уже понял, что нельзя переть против системы. Система — это как асфальтовый каток, попадешь под нее — раздавит. А вот мой товарищ Юрка Щукин не поставил свою подпись. Более того — выступил на собрании. Ну и что? В 54-м году Щукина ре-

абилитировали, но он вернулся из лагерей больным человеком, с хроническим туберкулезом. Может быть, он поступил как герой, но кому польза от этого геройства? А я, оставаясь в Москве, я работал, приносил пользу стране. Убежден, что на лесоповале от меня было бы меньше толку.

Нет, великое дело — правильно рассчитать варианты. Я не думаю, что я жил как мещанин. Я не увиливал от работы, я просто делал то, что делали все. И когда все кричали “ура“, я тоже кричал “ура“. И когда все проявляли “трудовой героизм“, я тоже его проявлял. Но при этом я не старался выходить вперед. Я предпочитаю быть где-то в серединке. И вообще, лучше жить обыкновенным, средним человеком, чем умереть героем.

ГЛАВА 6

Вчера я познакомился с очень живым, очень подвижным, любящим жизнь человеком. Произошло это так. В разговоре с банщиками я сказал, что хочу купить хорошую норковую шапку. Конечно, мне сейчас уже не нужна теплая шапка, наоборот, чем холоднее моя голова, тем лучше. Но когда я еще жил, я часто мечтал о такой шапке. И вот случайно вспомнил об этом. Федор покосился на меня своим единственным глазом и сказал, что знает кое-кого, кто сможет мне достать такую вещь, и дал мне адрес.

Вечером я пошел к этому человеку. Он мне сразу же понравился. Насколько я понял, он работал в меховой артели. Его квартира была похожа на музей. В комнате, в которую он меня ввел, мне сразу же бросились в глаза две высокие тахты, покрытые пестрыми восточными коврами. Я долго к ним присматривался, что-то меня заинтересовало в них, и потом догадался, что под коврами и постелями скрываются два больших сундука.

Насчет шапки мы быстро сговорились. Я не стал торговаться, и это понравилось меховщику. Он сказал, что мно-

го слышал об мне от Федора и уже давно хотел со мной познакомиться.

Слово за слово он стал рассказывать о себе. Когда-то он был инженером на большом заводе, но это было давно. С тех пор он работает в артели, причем в отличие от других меховщиков, он действительно понимает свое дело. Он достал из шкафчика бутылку коньяка и соорудил на столе довольно изысканную закуску. Мы выпили по одной, потом по другой. Я заметил, что он хотел меня напоить. Напрасное старанье. Но сам он несколько опьянел и говорил со мной весьма откровенно. Согласитесь, довольно странно в наши дни слышать от малознакомого человека такие признания: “Моя работа — не бей лежачего. Мех — он и в Африке мех, и цена на него только растет. Я делаю ровный, аккуратный шов — и нет отбоя от клиентов. Все хотят иметь красивые, теплые шубы, начальство в первую очередь. Мне смешно, когда ругают чиновников, бюрократию, когда говорят, что начальники — сволочи, что власть прижимает. Кого, когда? У меня всегда будут деньги, а на начальство мне плевать, да и на подчиненных тоже. Лучшие времена — они никогда не наступят, надо жить, как живется. Хватит лозунгов. И не говорите мне про борьбу, про жертвы... Я хочу жить спокойно, и чужие слезы — это меня не касается. Сказками о светлом будущем пускай кормятся те, кто не умеет зарабатывать деньги“.

Потом он начал хвастаться своими историями с бабами. Он рассказывал об этом живо и с юмором, я даже несколько раз смеялся. Когда мы расставались, он сказал мне: “Я преклоняюсь перед вами и вам завидую — вас ничто не может лишить спокойствия. Вы холоднокрвны“. — “А я завидую вам“, — ответил я. И это была чистая правда. Потому что мне, действительно, трудно было понять, как он мог по-настоящему убедительно играть роль живого человека. Да еще остряка! И его истории о женщинах были как будто абсолютно достоверны. И как прекрасно сыграл роль пьяного! Замечательный актер. На следующий день я спросил Федора, давно ли он знает меховщика. Я ожидал, что Федор скажет: “Ну, где-то полтора года...“ Но Федор отве-

тил: “Я знаю его лет десять“, — и потом начал мне выкладывать подробности из жизни меховщика. Действительно, создавалась иллюзия, будто меховщик был живым человеком. Кончив сплетничать, Федор вздохнул:

— Да, этот умеет жить, срывает цветы удовольствия. Этот своего не упустит.

И опять загадка. Так что же меховщик — живой или мертвый? Ведь наша психика, наш образ мышления совершенно идентичны. Неужели он умер десять лет тому назад? Кто знает! Может, и я через десять лет буду производить впечатление очень жизнерадостного человека. Нужно лишь немного практики. А может быть, меховщик таким и родился? Все-таки удивительное создание — человек. Даже в моем, мертвом состоянии у меня есть еще какие-то иллюзии. Я, например, был уверен, что я — уникам, исключительное явление. Но вот уже встречаю таких же, как я. Конечно, меховщик, пожалуй, самая колоритная фигура, конечно, мертвецы умеют приспособливаться. Но опять же, повторяю — вдруг меховщик таким и родился? Он не мучился, как все мы, и с самого начала жил только для себя самого. Счастливый человек. Счастливый.

А что это вообще — счастье? Ведь и я сам был когда-то счастливым. Во всяком случае, мне так казалось. Вот я вспоминаю молодость, своих друзей Сашку, Ваську... Конечно, в молодости все счастливы. Во всяком случае, так кажется в старости.

Это было в далеком и страшном сорок первом году. Распевая бодрые песни, мы топали на Запад. Ура, мы прорвали оборону немцев! Но фриц совершенно спокойно обошел нас и замкнул за нами кольцо. Так мы попали в окружение. Окружение — ясное дело для каждого — это конец, это смерть. Мы забились в спешно вырытые окопы и гадали, что же делать дальше? Нас осталось три четверти роты, продуктов и махорки — кот наплакал, патроны можно было сосчитать по пальцам. Где фронт, никто не знал.

Мы сидели, считали патроны, считали пачки махорки, считали варианты. Первый вариант и, наверное, самый разумный — расходиться по деревням, прятаться у крестьян,

пока не вернутся наши. Второй, очень неопределенный — отсиживаться в лесу, заниматься партизанщиной. Третий — самый безнадежный — пробиваться к нашим. Мы, в конце концов, приняли третий вариант.

Эти дни оставили глубокий след в моей памяти. Я помню, как однажды на рассвете мы вышли на поле. Поле было покрыто туманом, и мы нырнули в это белос ватное море. Мы предполагали, что где-то за полем должен быть лес, спасительный, долгожданный лес. И желательно было достичь леса, пока туман не рассеялся. Мы шли цепями. Те, кто шел впереди, исчезали, растворялись в тумане. Мы передвигались осторожным шагом. Наверху стало светлее, туман голубел. Выцветшая гимнастерка моего товарища Борьки Макарова, за которым я двигался след в след, тоже отливала синеватым светом. Туман поднимался, стал тоньше, и я уже мог различить собственные ноги и голубоватую траву. И потом вдруг нам попалась маленькая голубая ель, и над нами засияло синее небо. И тогда Борька сказал: “Голубой поход”. Так нам все это и запомнилось: голубой поход.

Нас гнали, как зайцев на охоте, нас загоняли в ловушку, но мы вырывались. И еще я помню: сначала я нес Макарова на спине, потом он нес меня. А потом Борьку убили. А мы все шли и шли. Над лесами висел серый дождевой пар. Сухое время кончилось. Дни были бесконечными, ночи — угрожающе короткими. Кроны деревьев стали редеть, трава желтеть. Серое болото, черно-коричневая глина — какой уж там голубой поход!

Но мы прошли. И у нас еще остались силы ударить немцам в спину, и мы погнали их, и они улепестывали от нас так же, как когда-то мы улепестывали от них. И когда мы, наконец, увидели наших солдат, мы поняли, что такое счастье. Мы стояли в грязных, порванных шинелях, в дырявых ботинках, еле держались на ногах, обессиленные от голода и лихорадки, но мы были счастливы. Я уверен, что мой новый знакомый, меховщик, никогда не испытывал такого чувства.

“Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...” Это были любимые

стихи и Сашки Пахомова, и Васьки Лазутина, и Борьки Макарова. “Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас...” Да, я был молод, я считал себя строителем новой жизни, я участвовал в раскулачивании, я летал на истребителях. Потом, почти в тридцать лет, я заставил себя закончить институт, а ведь это было трудно. Мы с женой жили только на стипендию и на случайные заработки. Потом был фронт, и я прошел, я пережил “голубой поход”. “Но в крови горячечной поднимались мы, но глаза незрячие открывали мы...” Нет, мои друзья не встали и не открыли глаза. Сашку Пахомова убили около деревни Березки. Прах Васьки Лазутина развеялся по лесу, когда его самолет не долетел до полевого аэродрома, зацепился за вершины деревьев и взорвался. Борька Макаров не вернулся из разведки.

А я ведь тоже был в Березках, у меня тоже была аварийная посадка, когда шасси моего самолета заклинило, я ведь тоже ходил в разведку... Да, я был как все, а может быть, и не как все. Я, наверно, лучше других умел рассчитывать варианты и выбирать правильные решения.

Однако неужели вся моя история с Наташей была тоже одним из вариантов? Я любил ее, и она любила меня. В этом я мог убедиться, когда она пришла на мои похороны. Да, она меня любит до сих пор, надеюсь. Но почему же я не ушел к ней тогда, когда я еще был живым человеком? Может быть, и сейчас еще не поздно прийти к ней и сказать: “Ты права, Наташа, давай начнем все сначала”. И она мне скажет: “Подойди ко мне, обними меня, мне холодно”.

Что ж, разве я могу ее согреть? Ведь на моем лице даже снежинки не тают...

Я замечаю, что всю ночь провел в кресле. Да, я не спал всю ночь. Я встаю и, не зажигая света, подхожу к окну. Я смотрю на улицу — ночь уходит. Снег становится все более серым. Темный квадрат дома напротив моего окна пробуждается, уже смотрит на меня двумя оранжевыми глазами. И еще один глаз зажигается, голубой. Станный свет от абажура... Вот уже открылось несколько глаз, а вот уже и все окна на третьем этаже освещены. Они отражаются на

мостовой резко очерченными светлыми квадратами и прямоугольниками. С сугробов ветер поднимает белые хвосты. Из подъезда быстро выходит человеческая фигурка, поднимает воротник пальто, исчезает за углом танцующей походкой. Постепенно светлые квадраты и прямоугольники на мостовой выцветают. Я перевожу взгляд на крыши. Они, как могильные плиты, покрытые снегом.

Боязливо, цепляясь за выступы фасадов, за балконы и карнизы, пробирается день — день, когда мы, мертвые, пробуждаемся. Дичь, чушь — однако первая бессонная ночь в этой новой моей жизни! Зачем я ворошил прошлое, зачем я вспомнил Наташу? Неужели я опять хочу стать живым? Господи, сколько мороки! Ну, допустим, я приду к Наташе, а у нее новый друг? Плюс — я испугаю ее смертельно. И даже если все уладится, надо будет расхлебывать дело со своей первой семьей. Хлопоты, нервотрепка, истерики. К тому же дружный коллектив банщиков меня обвинит в моральном разложении. Ведь и в бане местком не дремлет.

Повторяю — зачем мне это все нужно? Я достиг того состояния, о котором мечтал, — абсолютное спокойствие и полное равнодушие ко всему. И вдруг... Нет, наверно, я попросту подтаял. Надо бы мне заново заморозиться.

* * *

Странный случай произошел в декабре 57-го года с Осипом Кочетовым, рабочим городского коммунального хозяйства. Когда на улице был вечер и трещал мороз, он возвращался домой. Прохожие словно вымерли, ни души. Фонари почему-то не горели, и лишь луна светила сквозь бегущие облака. Дорогу Осипу перешла черная кошка, что было — видит Бог — недобрый знаком. К тому же кошка зловеще мяукнула. Громадная сосулька упала перед Осипом и разлетелась вдребезги.

Высокий мужчина, выросший как будто из-под земли, бросил на Осипа внимательный взгляд. Этот взгляд мог бы внушить тревогу кому угодно, но не Осипу. Дело в том,

что он только что пропустил пару стаканчиков и был в том приподнятом состоянии, когда вспоминаешь — мол, “бывали дни веселые” и еще про “одну возлюбленную пару”, которая всю ночь гуляла до утра... Тем временем мороз крепчал и тротуары постепенно превращались в каток. Осип, привыкший возвращаться домой в пьяном виде, все еще мужественно держался на ногах, хотя ему и приходилось, как лыжнику, сгибать колени и, как конькобежцу-фигуристу, махать артистически руками, чтоб не грохнуться окончательно.

Вот Осип завернул в узкий переулок между темным зданием школы и забором, и тут он услышал за собой шаги. Если б Осип обладал хоть малой частью интеллигентности, он бы без труда угадал, что так обычно шагают Командоры, когда они наносят светский визит своей донне Анне. Но, во-первых, Осип ушел из школы после седьмого класса, а с тех пор — это было уже лет тридцать тому назад — он не читал ни одной строчки, кроме объявлений в “Вечерней Москве”. А во-вторых, Осип сам был немножечко Дон-Жуаном, ибо как раз намеревался завернуть к своей давней подружке дворничихе Катьке. Приятные мысли несколько усыпили его бдительность, он сделал неверный шаг, поскользнулся и упал кому-то на руки. Осип сразу протрезвел. Ведь руки, которые крепко его держали, ни в коем случае нельзя было назвать Катькиными. Осип поднял глаза и увидел над собой незнакомое, не особенно приветливое лицо в меховой шапке. Незнакомец нахмурил брови.

— Ну, здравствуй, я тебя нашел. Ты меня не помнишь? Еще бы, как тебе помнить? Ведь через твои руки прошли тысячи. Посмотри, это твоя работа? — Незнакомец еще ниже склонился, и Осип увидел на его щеке царапину.

“А, это мертвец”, — понял Осип и почему-то сразу почувствовал себя немного лучше. С трупами он привык иметь дело. Да, несомненно, это был покойник, и лицо как после третьего инфаркта. “Явно я клал его в гроб, — подумал Осип. — А теперь, наверно, он воскрес и решил взять обратно свои сто рублей. Да плюс еще чемоданчик с инструментом прихватить! Грабитель!”

Осип осторожно отстранил чемоданчик, как будто это и не его.

— Подыми, — скомандовал мертвец.

Осип послушно взял чемоданчик.

— Идем! — Покойник взял Осипа за воротник и поволок его к зданию школы, потом ткнул в раму одного из окон первого этажа. Окно распахнулось. — Давай влезай, — скомандовал мертвец.

“Вот оно что, — подумал Осип, — он меня не только ограбит, он меня еще и разденет“. Осип почувствовал себя глубоко оскорбленным. Действительно, работаешь, стараешься, вкладываешь в них, можно сказать, всю душу, а они, гады...

— У тебя с собой инструмент? — спросил мертвец.

“Вот начинается“, — горько вздохнул Осип.

— Ну, давай замораживай, — властно произнес покойник. — Только с годовой гарантией, понятно?

— Это мы сделаем! А сто рублей?..

— Какие сто рублей? — изумился покойник. — Ты уже один раз подхалтурил.

— Ну нет, нет, что вы, — не стал спорить Осип. — Я только хотел сказать: “Вам не холодно? Вы не простудитесь?“

Покойник с усмешкой посмотрел на Осипа, и Осип даже сконфузился. Но войдя в привычную работу, Осип совершенно успокоился. Через полчаса все было готово.

— Так, значит, в наилучшем виде, с гарантией, — сказал Осип. — Извините, как вас звали?

— Иван Петрович.

— Иван Петрович, может быть, того?..

— А почему бы и нет?

Они споро дошли до оживленной улицы и еще успели проскользнуть в гастроном до закрытия. Осип крикнул на весь зал: “Кто третий?“ Мрачный железнодорожник молча выложил семь рублей, и через пару минут они в стремительном темпе раздавили на троих бутылку водки.

ГЛАВА 7

В последние годы моей жизни меня бесконечно мучили денежные проблемы, точнее, вот эта постоянная необходимость зарабатывать деньги. До пенсии надо было еще потеть и потеть. А потом, разве пенсия — это выход, когда нам не хватало моей зарплаты? Пенсия — это в два-три раза меньше. Каждый день мы записывали наши расходы, считали, пересчитывали, экономили, откладывали деньги на отпуск, на новый костюм, на новые ботинки. Вот моя дочь хочет новую юбку, вот моя жена хочет новое платье, вот надо купить шапку, которую я так и не купил для себя. И я думал, когда же это все кончится, когда же я смогу жить спокойно, без того, чтобы все время подсчитывать и записывать: два рубля — хлеб, пятнадцать рублей — мясо, двенадцать рублей — носки... Постепенно я понял, что это никогда не кончится. И даже если бы я зарабатывал в два раза больше, все равно моя семья тратила бы точно так же — в два раза больше. Где выход? А с другой стороны, я помню, что когда я ушел из авиации и начал вести жизнь бедного студента, когда я женился и мы жили на случайные заработки, у меня было довольно легкомысленное отношение к моему материальному положению. Нет денег? Ну и ладно, к черту! Это мне не мешало, как говорится, наслаждаться жизнью. А почему? Потому что тогда я жил надеждой: конечно, сейчас нелегко, но вот после окончания института, через несколько лет...

Да, в молодости я много работал, причем за нищие заработки. Во время войны, попав в окружение, я голодал — ну и что? Я был готов терпеть еще большие лишения, ибо был убежден: когда-нибудь мне все это зачтется, наступит и для меня спокойная обеспеченная жизнь. Подчеркиваю: именно жизнь, а не беззубая немощная старость. Шли годы. Я получил солидную должность, приличную, по общим понятиям, зарплату, но о том, чтобы жить в свое удовольствие, не могло быть и речи. Я не только стал ощущать постоянную нехватку денег, я понял, что их будет всегда не

хватать. Тем временем работать мне было все труднее — слабела память, участились головные боли, я просто не выдерживал темпа и на прежнюю работу расходовал больше сил. Какой уж тут заслуженный отдых!

А требования росли. Я видел, что молодежь, вчерашние мои ученики, меня обгоняют. Прилагая невероятные усилия, я старался не отставать. Пожалуй, лишь иллюзия, что когда-нибудь станет лучше, сохраняла мне жизнь. “Утраченные иллюзии!” Я мечтал, что получу более просторную и удобную квартиру, я жил этой мечтой, а кончилось тем, что в мою старую квартиру однажды внесли мой гроб. Я не подозревал, что хорошенькое лицо любимой девушки застынет в тоскливой гримасе и станет как бы маской, неизменяемой в течение двадцати лет нашего супружества. Я не подозревал, что молодая девушка постепенно превратится в женщину, которую я изучил до мелочей и которая все знала обо мне — каждое мое слово, каждое мое действие. Не подозревал, что моя должность в управлении, которую я считал только первой ступенькой на пути наверх, со временем станет моим “вторым я”, что последние девять лет моей жизни я буду уже не Николаем Александровичем Сергеевым, не человеком с определенными свойствами и чертами характера, а только “начальником отдела Сергеевым”. И эта должность — начальник отдела — определяла и исчерпывала всего Сергеева. Сергеев любил смотреть кинокомедии, читать книги по истории, выключал телевизор во время спортивных передач, тяжело сопел при быстрой ходьбе, любил выпить за едой стопку водки, постоянно вспоминал веселых ребят Сашку Пахомова и Ваську Лазутина, обсуждал повышения и переводы сотрудников в своем управлении, ругал современную молодежь, мечтал о рыбалке, каждый вечер перед сном проверял, выключен ли газ на кухне...

Господи, когда же я все-таки умер?

В тот день солнце сверкало так ярко, что болели глаза. Асфальт, как зеркало, отражал солнечные лучи с удвоенной силой. В темном поношенном пальто я брел на работу. Половину ночи я провел у Наташи, а вторую половину шлялся по городу. На рассвете я остановился на Каменном мосту, сплюнул в воду и стал смотреть, как занимается день. В семь часов утра я вздремнул на скамейке Гоголевского бульвара. Сейчас солнце уже припекало, но меня знобило. Мне надо было решать, как жить дальше. Обычно в подобных случаях люди оттягивают решение, размышляют неделями, месяцами, советуются с друзьями и, как правило, поступают вопреки полученным советам. Им просто нужен повод поговорить о своих проблемах. Кажется, человек находится на перепутье, а на самом деле все давно решено. И эта отсрочка, разговоры с друзьями, выслушивание чужих мнений — все это просто толчея воды в ступе. Просто человек должен внутренне подготовить себя к четкому “да” или “нет”.

Солнце слепило до боли в глазах. Мне казалось, что я еще не принял решения, но я предчувствовал, я подозревал, что с Наташей у меня все кончено. Может быть, сказывалась привычка выбирать разумные варианты, вовремя останавливаться? Действительно, зачем в моем возрасте резко менять жизнь? И дело не в том, что я не получу обещанной мне новой квартиры, что меня будут разбирать на работе, упрекать в моральном разложении, что меня даже могут уволить — нет, не это удерживало меня... А может быть, именно это? Нет, не думаю. Просто мне было страшно отказаться от того Сергеева, которым я уже стал. Я полностью израсходовал свои жизненные силы. Я хотел беречь свое здоровье и как-то дожить эту жизнь.

В темном потертom пальто я шел к себе на службу, шел, как тысячу раз в своей жизни. Потом я полдня провел в своем кабинете — читал бумаги, сортировал бумаги, подписывал бумаги. И время от времени меня начинало знобить, как утром на скамейке Гоголевского бульвара.

После обеда зашел мой юный приятель Редькин и спросил: “Ты готов?” Тут я вспомнил, что на сегодняшнем заседании коллегии управления он, Редькин, должен представить новый проект, а мне было поручено изучить эти предложения и доложить свое мнение.

Я изучил проект — он полностью взрывал нашу сегодняшнюю практику. И если признать правоту Редькина, то требовалось перестроить всю нашу работу в течение ближайших двух лет. Но проект был отличный, я Редькину об этом сразу так и сказал и обещал ему, что в любом случае буду на его стороне.

Заседание началось. Начальник управления восседал на своем обычном месте и морщился, потому что гладкое покрытие стола отражало солнечные лучи прямо ему в лицо. Секретарша Верочка точила карандаши. Она сидела, положив ногу на ногу, и эти ноги в белых чулках тоже отражали солнечные лучи. Мы обменялись с Верочкой заговорщицкими взглядами. Я знал, что она мне симпатизирует, я догадывался и о многом другом — о том, что может завязаться у нас с Верочкой, не нарушая спокойствия моей семейной жизни. Верочка еще раз улыбнулась мне. Я вспомнил сегодняшнее утро, пробуждение которого я наблюдал с Каменного моста, и потом отбросил все эти мысли и сосредоточился на докладе Редькина.

Редькин говорил взволнованно и, на мой взгляд, слишком быстро. Заместитель начальника управления Хренов его иногда перебивал, причем подавал свои реплики громко, властно, подчеркивая каждое слово, как будто произносил эти слова по слогам. Между Хреновым и Редькиным уже давно шла борьба в управлении. Я любил Редькина, он был молодым, еще не очень опытным, но с энергией атомного реактора. И откуда берутся такие ребята? Мне было ясно, что со временем он обгонит не только Хренова, но и меня. Мы же были как застоявшаяся вода. Кроме того, Редькин напоминал мне одновременно и Сашку Пахомова, и Ваську Лазутина, и Борьку Макарова. Как будто они все трое одновременно родились в лице этого темпераментного, остроумного, молодого инженера. Но, повторяю, к сожалению, Редькин не умел достаточно точно сделать

доклад, он был слишком занят своими мыслями и как будто произносил монолог. Ему казалось, что многие вещи не нуждаются в подробном объяснении, и это мешало ему. И я чувствовал, что моя задача как содокладчика как раз и состояла в том, чтобы последовательно восстановить то, что Редькин пропустил как само собой разумеющееся. Я знал, что старый Хренов умело воспользуется всеми ошибками докладчика и что многие на коллегии поддержат Хренова.

С Хреновым мы давно работали. Это был очень опытный и очень властный начальник. И характер у него был железный. Бросать вызов Хренову — дело очень рискованное. Конечно, мы могли победить, но могли и сломать себе шею.

Половину ночи я провел у Наташи, половину ночи шлялся по Москве. Я наблюдал восход солнца с Каменного моста, потом вздремнул на скамейке на Гоголевском бульваре, потом подписывал бумаги, потом позвонил домой, чтобы сказать какую-то нелепую ложь. И я все время думал, как же моя жизнь пойдет дальше? И в то же время предчувствовал, что все уже давно решено. И меня знобило, как утром на скамейке Гоголевского бульвара, а секретарша Верочка с ногами, перекрещенными, как две сабли, ослепляла меня своей улыбкой. И вообще было много солнца. Солнечные зайчики танцевали на стенах, на моем лице. Редькин кончил доклад. Все откашлялись, поерзали на своих стульях, застыли.

Наступала моя очередь.

* * *

Отработав смену в бане, я помылся, переоделся и вышел на улицу. Я шел с четкой целью, я знал, что мне надо, я хотел просто положить конец этому беспокойному существованию. Хватит ломать себе голову над загадками своей прошлой жизни. Пора становиться обыкновенным покойником — живым или мертвым, это совершенно неважно.

Я взял такси и поехал в крематорий. Но вход на клад-

бище был уже закрыт. Сторож ни за что не хотел меня пускать. Я его пытался просить, убеждать, но все было напрасно.

— Куда вы спешите? Успеете! Что вы торопитесь? Приходите завтра, не бойтесь, на кладбище никогда не поздно...

У всех сторожей склонность к философии! Пройдя вдоль кладбищенской стены, я нашел удобное место и, оглянувшись, когда не было прохожих, перелез через стену. На надгробных плитах лежал тонкий слой снега. Черные надгробные камни стояли, как вымершие дома. Ветки деревьев застыли в ледяном панцире, и лишь изредка далекий звонок трамвая нарушал тишину.

Я быстро нашел знакомую аллею. Где-то здесь лежит та надгробная плита, под которой покоится прах моей матери. Я прошел мимо могильных плит, мимо пирамид, увенчанных звездой, мимо каменных крестов. Вот она, эта могила. Я зажег спичку. Под старой надписью появилась новая, выбитая крупными буквами: "Сергеев Николай Александрович. Август 1908 — декабрь 1956".

С минуту я стоял молча, а потом пошел по снежным аллеям в сторону черного здания крематория. И пока я шел мимо памятников чужим жизням, я как бы проходил мимо памятных дней своей жизни.

Да, Сашка Пахомов поехал вместо меня в Березки, и там его убили. А я остался жить, но все равно что-то, видимо, тогда со мной случилось, и я медленно начал умирать. Васька Лазутин сел в мой самолет и разбился. Нет судьбы, есть только арифметика, просчет вариантов. Два раза смерть проходила мимо меня. Один раз она блокировала шасси моего самолета, второй раз она подкралась в кабину управления. Я почему-то испугался в тот день совершать очередной полет, и вместо меня мой самолет повел Васька Лазутин. Да, он погиб, а я остался жив, но опять же, какая-то часть моей жизни ушла. Да, я прошел тот легендарный "голубой поход", в котором я регулярно участвовал в разведках, но наступил момент, когда я почувствовал — хватит, я больше не могу. И вместо меня в разведку ушел Борька Макаров. Ушел и не вернулся. А я жил, я

умел просчитывать варианты. Я не смог начать новую жизнь с Наташей — еще бы, к тому времени я превратился в осторожного, равнодушного человека.

Но почему? Где я совершил ошибку, где я просчитался?

Около котельной крематория я нашел кусок угля и вернулся к своей могиле. В конце концов, сейчас все это было неважно. Я определил день своей действительной смерти. Я вытер иней с надгробной плиты и исправил дату: с 1956 года на 1950-й. Да, это произошло в майский день пятидесятого года, в тот момент, когда наступила моя очередь делать содоклад на коллегии управления. И пока я перебирал страницы своей экспертизы, мне стало ясно, что у меня нет сил бороться против Хренова. Черт с ними со всеми! Хрен редьки не слаще! Мне плевать на все! Я хотел просто спокойствия.

Итак, я выступил против Редькина, и я сделал это умело и элегантно, я отдал должное смелым мыслям докладчика, но подчеркнул его торопливость и некомпетентность, и члены коллегии потом все хвалили меня за обстоятельный разбор. Обсуждение проекта принесло мне личный триумф.

Но как бы там ни было — я умер в тот день.

Да, именно в тот день.

После этого я еще шесть лет ходил на службу, был переведен в третий отдел с повышением, купил себе шубу, организовал тот знаменитый день рождения с грибами и водкой, снимал дачу в Кирсановке, и были неприятности с моей женой, флирт с Верочкой, посещение ресторанов с друзьями, были маленькие радости, маленькие огорчения и многое другое. Все то, что обычно называется жизнью.

1957-1970

ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

ЗНАКОМСТВО С ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ

О, мои недосмотренные сны! Мыслимое ли дело будить живого человека в четыре часа утра?

Десять пассажиров в каюте. Не считая детей. Вечером пришел матрос и закрыл окно иллюминатора. Дети сразу же сели на горшки. Пьяный, выспавшийся за день, веселый и довольный, начал играть на гармошке. Семейная ссора на верхних полках. Бабка уныло и нудно рассказывает, как на материке у нее украли чемодан. Учительница и бородатый геолог спорят о нравах молодого поколения. Осуждают. Парень, у которого я вечером выиграл в шахматы, подходит к моей койке и толкает меня. Я не сплю, но делаю вид, что сплю. Не помогает, и я открываю глаза.

— Чего тебе?

— Водки достал.

— Ну и что?

— Как что? — парень смотрит на меня как на нездорового. — Водки достал!

Еле отбрыкался. Верчусь на койке. Простыня жгутом. Замечаю, что регулярно, через каждые пять минут, снова оказываюсь на левом боку. Механизм.

Гармонист, исполнив на “бис“ “Когда б имел золотые горы“, выходит наверх, на палубу. Пронесло. Бабка успокаивается. Дети покидают горшки, словно оставляют посты. Учительница и бородатый геолог, кажется, обо всем договорились.

В два часа ночи все спят. Каюта второго класса — люкс, Европа.

Приходит толстый мужик, мой сосед. Громко разгова-

ривает сам с собой, еще громче охает, икает, зевает. Потом поворачивается — и храпит как ни в чем не бывало. Хорошо толстым. А представитель низшего слоя ИТР, человек, сменивший десятки профессий и вплотную столкнувшийся с географией — некто Солдатов — еще не заснул и проклиная свою полуинтеллигентность, слабохарактерность и нежное воспитание в детстве. Супермена из меня никогда не выйдет. Рахметов спал на гвоздях. Кинг Лонг умудрялся засыпать в раздевалке перед решающими стартами на первенство мира. Я уж не говорю о буром медведе, который вообще спит всю зиму. А я не могу.

Никакая сила воли не помогала мне засыпать в сарае там, на целине, когда мимо деловито шмыгали крысы. Все ребята сопели на полную катушку, и крысы были мирные — оказавшись на твоей груди, тут же спрыгивали. Но я не мог закрыть глаза. Проклятая мягкотелость.

В Благовещенске в общежитие я попал, наверно, на областное совещание клопов. В комнате, куда меня поселили, они проводили пленарные заседания. Так ребяташкам хоть бы что. Давили сны, пока я ночами занимал круговую оборону.

И вот сейчас. Нет чтобы, как полагается образцовому пассажиру, сопеть себе в тряпочку. Гармошка, видите ли, мне помешала. Свежего воздуха нет. Буржуй проклятый!

Правда, так я ничего. Днем я свой парень. Кореш. Но вот по ночам... Я очень люблю спать. Может, потому, что мне это редко удастся. После работы разве это сон? Так, отдых организма. Не успеешь глаза закрыть — уже на смену. А вот в дороге я не могу. Ни в поезде, ни в самолете, ни в каюте парохода. Но зато когда засыпаю... Мои сны — это самое интересное, что я знаю. Мне безумно хочется их запомнить. Я еще не дошел до такой жизни, чтобы по утрам рассказывать их вслух. Но для себя.

Мне всегда снится то, что произошло накануне, но все события принимают несколько неожиданный оборот.

“Курильск“ шел вдоль острова Итуруп. За кормой оставался один вулкан, похожий на исполинский террикон шахт Донбасса, а впереди возникала новая пирамида, темная и гордая своей неприступностью и отдаленностью от

промышленных центров. Дельфины выпрыгивали почти до самой палубы, они взлетали совершенно вертикально, как собаки за куском сахара. И подошла девушка и сказала мне: “Куда ни посмотришь — кругом любовь крутят, а тут хоть тресни“. И мы с ней поговорили про погоду и про море, и, когда я спросил, как ее зовут, она ответила: “Не намекайте намеками“. Я сказал, что так положено — спрашивать имя девушки. “Тонкий намек на толстые обстоятельства“, — ответила она. Тогда я разозлился и пошел на корму. Там на ящиках из-под консервов сидели Дин Раск, Макмиллан и де Голль. Они собирались играть в домино, а четвертый их партнер сбежал в столовую, так как подходила его очередь в кассу. “Играешь?“ — спросил меня Дин Раск. “Балуюсь“, — сказал я и сел рядом с де Голлем на край ящика. Де Голль пробурчал что-то вроде “шляются тут всякие“. Гордый старик де Голль! А Макмиллан был в таком костюмчике и галстук такой respectable, что мне захотелось срочно что-нибудь отколоть согласно дипломатическому этикету. Но Дин Раск подмигнул мне и сказал: “Сейчас мы их сделаем“. Первую партию мы продули, а во второй я не выдержал и заорал: “Дин, разве так можно, я выставляю тройки, а ты их забиваешь?!“ А де Голль сказал, что ничего нам не обломится и вообще пора вставать, уже поздно. И тут я проснулся.

Тусклая лампочка, как бабочка, прилипла к потолку и изредка вздрагивала. На койках шевелились какие-то темные тела, похожие на моих соседей.

Мне показалось, что произошло что-то необычное, и я никак не мог выяснить, что именно, пока не сообразил: остановлены машины теплохода. И уж тогда я понял — точно, мы в Южно-Курильске, и стал быстро одеваться, как, бывало, в армии по боевой тревоге.

Я выбежал на палубу и подумал, что торопился зря. Кругом была ночь, вода и туман. И где-то на неопределенном расстоянии несколько огней.

— Подойдет катер, — сказал мне кто-то, — катер подойдут, понял?

Катер подошел через час. К этому времени на палубе

собрались все пассажиры, сходящие в Южно-Курильске — пограничники, женщины с детьми, бабка, у которой на материке свистнули чемодан. Я стоял несколько в стороне и пытался представить — за каким лешим занесло этих людей на край света? Особенных загадок не было.

Туман чуть рассеивался, а на берегу прибавились новые огни. Вдруг я оглянулся. Что-то заставило меня оглянуться.

У выхода из твиндека стояла Оля. Она смотрела мимо меня, на огни города, но я-то знаю эти фокусы, хотя, может, она действительно смотрела на огни города.

Я подошел к ней.

— Добрый вечер, — сказал я, — чего вы так рано?

— Почему вечер? — сказала она.

— По-московски девять вечера, — сказал я.

— Не спится, — сказала она. — Внизу душно. И потом я люблю смотреть на незнакомые города.

— Отличная видимость, — сказал я. — Потрясающая панорама. Все как на ладони.

— Вы приехали? — сказала она.

— Да, — сказал я. Она знала, куда я еду. Нечего было спрашивать. Но это единственное, что она знала про меня. А я знал о ней многое. Вчера она успела мне рассказать о себе. В Охе она работала счетоводом в конторе. Завербовалась сезонницей на Шикотан. Бегство от самой себя. Охота к перемене мест. И еще кое-что она мне рассказала. А я только расспрашивал ее. А о себе ни слова. Это сейчас давало мне какое-то преимущество. Она это чувствовала и поэтому спросила:

— А кто вы?

— Тунеядец. Законченный тип. Сослан в места не столь отдаленные.

Она посмотрела на меня с сомнением.

— И что вы будете теперь делать?

— Пить. С утра и до вечера. И потом, говорят, здесь с бабами в порядке.

— У вас четкая программа, — сказала она.

— Не соскучусь, будьте уверены.

Пассажиры уже начали спускаться на катер.

— Счастливо доехать, — сказал я. — Только от себя не убежите. Проверено на опыте.

Она не ответила. Наверно, обиделась. Ведь вчера у нас был серьезный разговор про жизнь, а тут я таким ироническим тоном.

Я надел рюкзак и пошел к трапу.

На берегу, у кучи угля, под ярким фонарем, пограничники проверяли наши паспорта. Мои предположения подтвердились. Женщины были женами военных. Бабка ехала к сыну.

Я спросил, как пройти к гостинице, перебрался через грязную лужу и зашагал по “северному паркету” — дощатому тротуару Южно-Курильска, города, который обозначен на карте как районный центр.

КАПИТАН, С КОТОРЫМ МЫ НЕ СКОРО ВСТРЕТИМСЯ

— Один пират жмет к нам, — сказал старпом.

Холчевский посмотрел в сторону, куда указывал старпом. Так всегда. Зажжешь красный фонарь — все грачи слетаются. Собственно, что произошло? Обыкновенная история. Дыши глубже, говорят, помогает. Любуйся иллюминацией.

Там, куда указывал старпом, длинной прозрачной цепочкой повисли над морем синие и белые огни сейнеров. От них приближался четкий, разбивающийся о волны луч прожектора. “Пират” шел на аварийном.

Торопится. Жизнь такая. Все мы пашем море, пока не мелькнет серебристый рябой косяк. И дальше ты командуешь хорошо поставленным капитанским голосом: “Врубить первую люстру. Стоп машина!” И вода вскипает мечущейся, белой, как фольга, рыбой. Зажигается вторая и третья люстра. Первая гаснет. И рыба послушно идет за светом. Давай вспоминай технологию. Очень кстати. Зато отвлекает. Опускается с правого борта ловушка, и туда дается

свет. Потом врубается красный прожектор. Начинается вакханалия. Рыба всплывает, как серебряный искрящийся слиток. И вот тогда поднимается ловушка. Полплана готово.

У правого борта, под красным прожектором, косяк еще продолжал соревнования по прыжкам в высоту. Возможно, рыба еще на что-то надеялась.

— Вырубить свет, — сказал Холчевский, — стармеха ко мне.

Слева, сразу приблизившись, ярче засияли сине-белые бусы флотилии. Справа, за бортом, раздалось шипение, словно открывали гигантскую бутылку нарзана. И все смолкло. Сайра, рыбка золотая, разбежалась. “Кина не будет”. Холчевский повернулся к старпому:

— Ну, начинай: “Я же говорил! Ветер! Надо развернуться! Так я и знал, что ловушку занесет под винт!”

Но старпом вдруг засуетился, забегал по мостику.

— Турунова, Турунова к капитану!

Потом он нырнул вниз, в темноту, и возник только через минуту, тяжело и, как показалось Холчевскому, демонстративно отфыркиваясь.

— Ну и жизнь пошла — стармеха на палубе потеряли.

Турунов возник неожиданно, как нечистая сила. Все трое достали папиросы и по очереди закурили от зажигалки Турунова. Стармех молчал, а Холчевский мысленно задавал ему вопросы и сам же на них отвечал.

Сеть? Замотано намертво. Разрубить винтами? Фигу два! Что делать? Утром кто-нибудь отбуксует на Шикотан, водолазы разрежут. Капитан? Старый тюлень, такой косяк упустил.

— Пускай люди идут спать, — сказал Холчевский.

— Там корреспондент, хочет записать, — сказал Турунов.

— Что?

— Он говорит, не сегодня, так завтра поймаете, а ему, дескать, работать. Ждут миллионы радиослушателей.

Внизу на палубе зажгли свет. Корреспондент разложил свою аппаратуру.

— Тихо, — раздался голос корреспондента.

Он не суеверный. Но всегда, когда посадишь посторонних, что-нибудь случится. А тут еще корреспондент радио и другой пассажир шляется. Ему что, скорей бы на Шикотан. Ему главное — не опоздать. Плевал он на нас.

Корреспондент достал микрофон и начал:

— Неспокоен нынче Тихий океан. Крупные волны подбрасывают наш сейнер, но коллектив моряков, возглавляемый опытным капитаном Холчевским, мужественно борется со стихией. Вот и сейчас они подняли около центнера сайры. Ко мне подходит усталый передовой матрос Бердников. Он вытирает пот со лба. Как дела, Бердников?

Бердников стоял невдалеке вместе с ребятами и хихикал. Но когда услышал свою фамилию, быстро погасил папиросу, откашлялся и весьма охотно пошел к микрофону.

Холчевский тихо выругался, зашел в рубку и захлопнул дверь.

Побыть одному. Стыдно в глаза ребятишкам смотреть. И так позже всех вышли на путину. Какой там, к черту, план. А ведь это все им по карману. Ну план-то, допустим, будет. Не первый сезон на сайре. Но настроение у команды...

Дверь хлопнула, и в рубку вошел пассажир. Он сделал вид, что не заметил Холчевского, и встал около штурвала.

Они долго молчали, и Холчевский еле сдерживал себя, чтобы скрыть нарастающее раздражение.

— Вас не укачивает? — сказал Холчевский. — Крупные волны беспокойного Тихого океана?

— Я плавал в Бристолe, — сказал пассажир.

— Кем?

— Третьим механиком.

— А сейчас?

— Приехал в Южный, а меня сразу же послали на Шикотан. На заводе нужны механики. Вот катаюсь.

— На Шикотане лучше. Природа. А здесь и такое бывает.

— План будет.

— Спасибо. Успокоили. А ребятишки нервничают. Понимаете?

— Кэп, случаются вещи и похуже. Изредка, правда, но случаются.

— Но мне до конца месяца три с половиной тонны хоть умри, а дай.

— Мне бы ваши заботы.

“Псих, — подумал Холчевский. — Наш простой советский псих. Хотя ему-то что? Над ним не каплет”.

— Спасибо за поддержку. Так сказать, моральную, — ответил Холчевский. — Идите спать. Ложитесь на мою койку.

— А вы?

— А за меня не волнуйтесь.

— Кэп, если к первому у вас не будет плана, зайдите на завод, спросите Солдатову. С меня пол-литра.

— Вы веселый парень. Правда, там сухой закон. Но принято.

— Спокойной ночи, — сказал пассажир.

“Спокойно, — подумал Холчевский, — дыши глубже. Иначе еще несколько таких ночей — и инфаркт обеспечен”.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ТРУДОУСТРАИВАЕТСЯ

И снова поначалу, как было на самом деле. Я иду по улицам Южно-Курильска. Одноэтажные деревянные дома. Вместо заборов — натянутые на колья рыбацкие сети. Восемь утра. У магазина несколько пьяных. Среди них одна женщина. Шепчутся. Договариваются, как купить водки. Раньше десяти не продают. Женщина говорит: “Ничего, я все устрою”.

Захожу в магазин. Продавщица наблюдает сквозь стекло витрины за алкоголиками. У нее хитрый и неприступный вид. Я спрашиваю сигареты. Их, естественно, нет.

“И не будет, — говорит продавщица, — вам не надо было говорить намеками с этой девицей. Специально играли для Оли? Теперь вам Олю не встретить. Оля ушла в море. Ей до конца месяца три с половиной тонны нужно”.

И вдруг я оказываюсь на сейнере. Мы с капитаном забрасываем удочки. А в воде плавает Оля. В купальнике.

“Не поймаете, не поймаете! — кричит она. — Настроение у вашей команды плохое. А я плыву к берегу. Там свет“.

Я хочу броситься за ней в воду, но капитан меня останавливает: “Зачем? Уже приехали“.

— Приехали!

Капитан роется в столе. Достает какие-то бумаги. Я вскакиваю, протираю глаза. Мы обмениваемся незначительными фразами. Между прочим, капитан менее всего похож на матерого морского волка. Маленького роста. Кудрявые черные волосы. Лоб с залысинами, лоб мыслителя. Животрепещущие проблемы. Три с половиной тонны! Ясная и конкретная цель. Издеваешься? Подожди, и ты через два дня потянешь ляжку и у тебя все мировые проблемы сведутся к запчастям и бесперебойной работе конвейера. И все остальное тебе будет до лампочки. Сознайся, а ты любишь такое время? Лишние мысли об общечеловеческой судьбе мира, и нет в жизни счастья, и роль личности Солдато-ва в истории — несколько утомляют.

Я благодарю капитана. Уступить незнакомому пассажиру свою койку не каждый способен. Он меня, конечно, мысленно посылает ко всем чертям.

Откровенно говоря, я его очень понимаю. И настроение у него, прямо скажем... И если по-настоящему, я бы мог помочь: ну там броситься в воду, разрезать сеть на винте, я бы не задумывался — как это комично и ни выглядело бы. Но смотреть сочувственно, дескать, со всеми бывает — тьфу!

Но вот я уже в шлюпке — обрывистые скалы демонстрируют в поперечном разрезе геологическую структуру бывшего японского острова; сейнеры прилипли к длинному причалу, как пойманная рыба, нанизанная на бечевку рыболова; полузатонувшие, похожие на крашенные деревянные сараи японские шхуны, плененные пограничниками за нарушение территориальных вод, — но вот я уже на берегу: обломки старых ящиков и изделий из металлолома; собеседование с вахтером у врат завода;

специфический запах рассола в цехе; любопытствующие взгляды девушек в белых халатах, которые пока все на одно лицо; озабоченные начальники, которых не знаешь, но различаешь по номенклатуре (технолог, замтехнолога, мастер, главный инженер, завскладом, старший механик холодильного цеха), поиски директора, унылая физиономия секретарши (можно подумать, что у нее были счеты с моими родителями); помы и замы, каждый из которых говорит с соседним кабинетом по телефону; открытие мною регулярных рейсов “завод — управление“ (впору хоть продавать билеты); мучительно всматриваешься в каждого встречного: “Каплер?"; по следам вездесущего Каплера, который всюду за минуту, как приходишь, был здесь, — не директор, а рекордсмен по марафонскому бегу; а есть ли Каплер на самом деле, может, его просто выдумали — наконец, вдалеке очертания директора — двадцать последних шагов; придумывается фраза, правильно синтаксически построенная, о том, что какого черта не могли договориться с Южно-Сахалинском, что мне сразу ехать на Шикотан, а не шляться по Южно-Курильску; суета каких-то деятелей вокруг Каплера, все выслушивают последние ЦУ; я стою со своей приготовленной фразой, как с зачерствевшим бутербродом; сейчас Каплер продолжит дистанцию, но смелым выпадом я перехватываю его взгляд, выдаю текст. Каплер сумрачно меня выслушивает, потом здоровается, спрашивает, когда я прибыл. Он берет меня под руку. Начинается разговор на производственные темы.

* * *

Я лежу и добросовестно изображаю из себя спящего. Сегодня меня устроили в гостинице. Мужское отделение — это две смежные комнаты, одиннадцать коек. В моей почти все спят. В соседней играют в шахматы. Благодарю Бога, что не в домино.

...Итак, я где-то за границей. В какой-то важной командировке. В Москве меня ждет Оля. Она дочь или писа-

теля, или дипломата. Квартира из четырех комнат с ванной. Папа интеллигентного вида играет в теннис и не вмешивается в личную жизнь дочери. Мама Оли все понимает. Мама и Оля лучшие друзья.

Мама знает, что дочка в кого-то влюблена. По-настоящему. Тот, в кого Оля влюблена, сейчас за границей. Он прислал ей открытку с видом капиталистического города. Но Оля ведет себя правильно. То есть не сидит зареванная все вечера дома, уставившись в мою фотографию, а культурно проводит вечера. Ходит на лекции (она, естественно, студентка), смотрит телевизор, гуляет по улицам со своими сокурсниками. Сегодня Оля собирается в театр. Не просто в какой-нибудь захудалый, а в академический. Премьера, гвоздь сезона. Пока Оля в спальне примеряет туалеты, в гостиной уже сидит студент Петя в модном костюмчике из ателье индпошива, фарцованном галстуке и в английских мокасинах. Петя чинно и непринужденно беседует с папой о международных проблемах, мама вращается в четырех комнатах. Гарнитуры, серванты, хрустальные рюмки, паркетный пол натерт польским лаком, во всю стену книжные полки с зарубежными новинками, собраниями сочинений и классиками марксизма-ленинизма.

И вдруг звонок в дверь.

— Кто это? — говорит мама. — Пойду посмотрю.

На пороге молодой человек, одетый довольно просто: кожаная куртка, гумовские брюки, стоптанные ботинки — в общем, это я, но мама видит меня в первый раз.

— Оля дома? — спрашиваю я.

— Проходите, — говорит мама, несколько удивленная, но по врожденной интеллигентности не показавшая своего недоумения.

Я прохожу, папа просит меня присаживаться и дальше чешет все про международное.

Выходит Оля. Уже готовая для посещения культурных учреждений.

Она чуть-чуть краснеет и говорит:

— Саша, ты не мог одеться поприличнее! Играешь в битника. Научился по заграницам?

У мамы, папы и студента Пети шары на лоб.

— Познакомьтесь, — продолжает Оля, — это Саша, он только что вернулся из капстран.

Я объясняю, что я не битник, это просто одежда, в которой я приехал на Шикотан. Мама начинает что-то понимать, папа идет за импортной бутылкой коньяка, а Оля извиняется перед Петей, что не может сегодня пойти с ним на премьеру в академический театр.

Петя мнет свой фарцованный галстук и выходит в переднюю за Олей. В передней Оля объясняет, что приехал тот человек, по которому она тосковала все вечера, так что извини, Петя, мы останемся друзьями.

Петя спокойно прощается, из квартиры выходит, насвистывая, а по лестнице спускается, плача и рыдая (про себя, конечно).

— Ну, — говорит Оля, садясь напротив меня в кресло рижской мебельной фабрики, — что дальше?

Что дальше?

Нет, лучше Оля ушла из дома, а я прихожу и жду ее в передней как бедный родственник. Или просто, посмотрев на мой вид, мама говорит, что Оли нет дома, а потом Оля, увидав меня в окно, бросается сломя голову по улице...

В соседней комнате голоса. Вернулся диспетчер с дежурства. Плохо с планом, не ответил на капитанском часе пятьсот тринадцатый и сто сорок первый. И куда-то ушла рыба.

Наконец там тушат свет. Опять план. Рыбу потеряли в океане. Кругом тебя все люди живут полнокровной, насыщенной трудовыми буднями жизнью, а ты придумываешь какие-то бредовые мечты. Никогда ты не был за границей. Никогда тебя не любили дочки дипломатов и писателей. То есть когда-то кто-то тебя любил. Но все было не так (исключая квартиры), и эта девочка была не Оля. Почему Оля, да в Москве? Так романтичнее? Воспетая классиками любовь титулярного советника? Кожаная куртка, под которой бьется пламенное сердце? Эх ты, недоношенное дитя самоанализа. Когда кончится детство?

А почему именно Оля? Ты же ее не знаешь. “Бегство

от самой себя“ — проблески интеллекта. Необычное лицо? Конечно, когда вам нравится девушка, она чем-то необычным отличается от обычных Нин, Маш, Валь, Иннок.

Что за детские игры? Поговорил бы с ней на пароходе по-человечески. Твоя необычная Оля где-нибудь сейчас на лоне природы с лихим матросом Ваней, который прямо ставит вопрос ребром.

Встретишь хорошенькую девочку и сразу придумываешь что-нибудь необыкновенное.

Я еще долго ругал себя и наконец заснул, и снилось мне что-то странное, и утром я вспомнил только, что всю ночь ходил с Каплером, и он держал меня под руку и, увидев водосточную трубу, наклонялся и шептал в нее:

— Пятьсот тринадцать! Сто сорок один!

И голос диспетчера отвечал из трубы:

— Четырнадцать! Четырнадцать!

ВАНЯ ПЕТРОВ

*(Заметка Петрова в стенной газете
“Шикотанский комсомолец“.*

Заметка была передана по областному радио)

“Мы приехали на Шикотан по путевке комсомола месяц тому назад. У нас собралась хорошая бригада слесарей. Мы живем весело и дружно, хорошо работаем, культурно отдыхаем. И мы успели полюбить этот далекий остров.

Я не завидую тем стилигам, у которых мама какой-нибудь врач, папа директор магазина, собственный дом, шикарная обстановка и одежда и которые по два раза в год на курорт ездят.

Разве это жизнь для настоящего советского юноши?

Ведь подумать только — раньше на этом месте была избушка для нескольких рыбаков. А теперь? Два завода, большой благоустроенный поселок, светлые просторные об-

щежития, магазин, большая столовая, где всегда можно вкусно, быстро и недорого пообедать. Праздником для всей молодежи стало открытие клуба. Правда, плохо, что некоторые девушки ходят только на танцы, не читают книг и вообще мало работают над собой. Ведь мы должны жить полнокровной духовной жизнью.

В нашей бригаде, например, ежедневно в обеденный перерыв устраивается читка газет, обсуждается международное положение. Мы записались в кружок художественной самодеятельности, а Толя Сидоров — в струнный оркестр, созданный при клубе.

Несколько дней назад в нашем цехе была пущена вторая линия конвейера. Надо отметить, что тут слесарям большую помощь оказал новый начальник цеха товарищ Солдатов. Он в отличие от некоторых начальников, которые только говорят: “Давай, давай“, — сам принимал участие в сборке важнейших узлов. На монтаже конвейера хорошо работали комсомольцы Эдик Переверзев, Василий Бирюков, Миша Левитин и другие. После пуска второй линии резко возросла и производительность труда. За последние дни коллектив нашего цеха выполняет план на сто двадцать процентов.

Я хотел бы обратиться ко всей молодежи нашей страны.

Друзья! Приезжайте к нам на Шикотан! Здесь суровое море и необжитая природа, но пускай вас не смущают трудности. Здесь вы встретите настоящих парней и девушек, не тех, кто протирает подошвами столичные мостовые, а тех скромных тружеников, которые своим вдохновенным трудом строят коммунизм.

Не думайте, что я просто бросаю высокие слова. Вы тут хорошо и подзаработаете. Но ведь главное не в этом. Просто действительно остров очень красив, и о рабочих здесь хорошо заботятся. И потом, где еще настоящему романтику найти такое место, где буквально на голых камнях строится новый город, где вечно слышен шум прибоя Тихого океана и где есть мыс, который назван Конец Света?“



— Вот, — сказали ему ребята, — что значит вырасти-ли в своем здоровом коллективе: талант, самородок!

— Нечего зубы скалить, — сказал Петров. — Попробуйте сами написать.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ НА РУКОВОДЯЩЕМ ПОСТУ

Мне двадцать девять лет.

В моем возрасте люди вели полки в бой. Тухачевский в двадцать два года командовал армией.

Я никто и останусь никем.

Человек, случайно назначенный начальником цеха забытого Богом консервного завода.

Действительно, произошло это неожиданно. На второй день работы меня вызвал Каплер и начал интересоваться биографией.

Я рассказываю: кончил техникум, в армии был танкистом, последний год плавал на судах Сахалинского управления рыбного флота. Третьим механиком ходил в Бристоль. Вернулся из отпуска — все команды скомплектованы и на путине. А по профилю своего диплома мне бы надо было быть на заводе. Вот и отправили сначала в Южно-Курильск и потом сразу к вам.

— А до Сахалина? — спросил Каплер. — У вас пестрая трудовая книжка. В чем дело?

Я подумал, что ему ответить.

— Не сходилась характером, — сказал я.

— С кем?

— С начальством.

Каплер хитро на меня посмотрел.

— А может, просто романтика приключений?

— Нет, — сказал я, — охота к перемене мест. Однообразные пейзажи меня утомляют.

И тогда он, значит, и выложил приказ. Я сказал, что ни к чему. А он сказал, что и.о. начальника мастер Лаврова все время скандалит с работницами, и что нет людей, и что, в общем, это не от хорошей жизни, но он в меня верит, и чтобы в случае чего я приходил прямо к нему — посоветует, поможет. Опять же, сказал он, у нас парторганизация. Поддержим. В таком разрезе.

* * *

Самое забавное заключалось в том, что в моем цехе была Оля.

Она работала в смене мастера Лавровой.

По конвейеру идет уже разделанная сайра. Рыбу надо укладывать в банки. Если выловили крупную, то в банке умещается десять—двенадцать кусков. Если идет мелочь, то тогда пятнадцать—семнадцать. Это, конечно, не выгодно, так как мелкая рыба занимает больше времени.

От работниц требуется ловкость рук, привычка. Однообразие и скорость. Словом, конвейер. Вряд ли это та самая романтика, к которой Оля стремилась. Но зато уж действительно никаких посторонних мыслей.

Я подходил к Оле обычно очень веселый и задавал один и тот же вопрос:

— Что нового на фронте борьбы за добавки?

Эта фраза неизменно вызывала смех у Олиных соседок.

Я завоевал славу юмориста. Но Оле было не до веселья. С нормой выработки она не справлялась. Не хватало автоматизма движений.

— Ничего, — говорил я ей, — бери пример с красных косынок. Развивай дома кисти рук.

Так, значит, я ее успокаивал, помогал и руководил. И потом шел дальше. В моем цехе все больше появлялось красных косынок. Их надевали работницы, которые первыми выполняли план.

Татарка Мануилова вообще добивалась ста восьмидесяти процентов. Не работница, а зверь. Я иногда стоял за ее спиной, присматривался. Нет, ничего особенного, никакой

хитрости в ее работе не было. Просто чуть-чуть быстрее, чуть-чуть экономнее. Автоматизм, доведенный до грани фантастики. К таким результатам могла привести только долгая привычка. А Мануилова не первый год на консервных заводах.

Цех работал в три смены. В каждой смене по пятьдесят девушек. Сменами руководили мастера, и я не вмешивался в их взаимоотношения с работницами и скоро понял, что так и нужно. Все трое мастеров, пожилые женщины, лучше понимали девушек, лучше ладили с ними и, чувствуя свою самостоятельность, старались не подводить ни цех, ни себя, ни меня.

Я никогда не прогуливался по цеху с важным видом, не изображал из себя начальника, делал только то, что необходимо, и появлялся на заводе в любое время суток. Но тогда, когда это было надо.

И для работниц я был как бы последней инстанцией, и ко мне шли в крайних случаях, когда не могли договориться с мастерами.

Я не встревал в разные мелкие склоки между работницами, которые, увы, при таком количестве женщин были неизбежны. И поэтому угроза мастера: “Вот доложу о вас Солдатову” — почти всегда действовала.

Я вспоминал армию. Мы по-разному относились к своим взводным и ротным, и если нас наказывали или к нам придирались, то это, как нам казалось, исходило от старшины Сидорова или лейтенанта Кучерявого, а командир батальона, фигура для нас таинственная и несколько загадочная (опять же из-за редкого непосредственного общения), пользовался у солдат большим авторитетом и даже любовью.

Вплотную приходилось заниматься бригадой слесарей, так как важно было обеспечить бесперебойную работу всех установок и конвейера, а поломки были частыми.

Но с ребятами я всю жизнь находил общий язык, и тут не было никакой сложности, а что касается механика Пелова (дяди Феди, как его все звали), то к нему я скоро привык.

Дядя Федя впадал в дикую панику даже от мелкого пу-

стяка, когда соскакивала лента конвейера. Подозреваю, что это даже ему нравилось, то есть не сами неполадки, а возможность создать шум.

Он медленно протискивался сквозь толпу растерянных девушек и начинал:

— Я давно говорил, я предупреждал Солдатову, вот посмотрите, люди, какое нам оборудование поставляют. Конечно, лучшие машины за границу посылают, политика, а нам — брак, думают, мы, простые советские, и так скушаем.

Он был готов помитинговать и позвать мастера, меня, главного инженера, Каплера и, боюсь, не постеснялся бы пригласить и начальника управления, и даже председателя совнархоза, если бы они находились поблизости.

— Это безобразие, — говорил он, — надо писать в центральную печать.

Тогда я тихо брал его за плечо и обещал, что как только исправим, то обязательно напишем коллективное послание в “Правду”, лично главному редактору. И он сразу успокаивался и начинал работать, а кое-что он понимал, пожалуй, лучше, чем слесаря и чем я (опять же сказывался многолетний опыт).

Иногда в цехе происходили анекдотические случаи, в общем, для меня неожиданные.

Работница Кротких долго просилась в другую смену. Свое желание она мотивировала весьма туманно и запутанно. Мастер ее не отпускала, и тогда Кротких устроила что-то вроде итальянской забастовки. Пришлось ее вызвать. Я долго пытался выяснить, чем вызвано ее желание. Объяснение, что, дескать, ей трудно в ночную смену, не годилось. У нас был скользкий график.

После получасовых хождений вокруг да около Кротких вдруг расплакалась. Оказалось, что у нее личные счета с девушкой, что обычно стоит напротив нее у конвейера. Девушка на танцах отбила у Кротких моряка. “Смотрю на нее и думаю, как бы ей морду расцарапать. Какая уж тут производительность труда?”

Мне нечем было крыть. Пришлось перевести.

Или.

Мы долго говорили на сменных пятиминутках: “Девушки, мойте руки“. Нас слушали внимательно, но я не замечал, чтоб у умывальника выстраивались очереди.

Однажды прихожу в цех и вижу:

“МОЛНИЯ

Санитарный контрольный пост цеха сообщает, что при проверке под микроскопом на руках обнаружено:

у Голосуевой — 19.548 микробов,

у Соболевой — 18.250 микробов,

у Прияткиной — 12.783 микроба,

у Дликман — 10.977 микробов.

Девушки! Боритесь за гигиену труда!

Мойте руки!“

Я несколько обалдел. В первое мгновение подумал, что, может, действительно. Потом спросил у мастеров. Наша, говорят, идея. Кто же поверит, говорю я, с точностью до одного микроба? Мистика.

Лаврова на меня посмотрела с сожалением, как на малого ребенка. Не волнуйтесь, говорит, подействует.

И верно.

Вот некоторые подробности моей работы. Остальные в отчетах, показателях и ведомостях.

* * *

Я хотел купить туалетного мыла и зашел в магазин. Обычно здесь были только женщины, которые выбирали у прилавка кофточки, подвязки и прочие более интимные части туалета. Но сегодня здесь сомкнутыми рядами стояли мужчины. Меня еще поразило, что все они были словно на одно лицо — небритые, возбужденные. В магазине висел плотный запах одеколона, как в дешевой парикмахерской, где считается шиком опрокинуть на клиента ушат “Тройного“.

Я понял, что, наверно, очередной завоз парфюмерии, — и собрание всех алкоголиков острова по этому поводу. Я вышел. Меня окликнули.

Со ступенек магазина ко мне спускалась Оля. Что-то надо было срочно говорить, и я поделился своими мечтами о куске хорошего мыла.

— У меня есть, я могу вам одолжить, — сказала она. — Проводите меня, или принести вам завтра?

Мы пошли.

Разговор вели сугубо на производственные темы.

Навстречу нам попадались девушки, и со мной часто здоровались, я не оборачивался, но казалось, что нам смотрят вслед. У меня было ощущение, что за нами следят из окон. Странно? Не очень.

На Шикотане меня не покидало чувство, что за мной все время наблюдают пятьдесят пар глаз, внимательно, отмечая каждую мелочь.

И не потому, что мужчин в поселке меньше! И не потому, что Солдатов одинокий и холостой. А потому, что Солдатов еще начальник цеха.

Я где-то быстро понял, что каждый мой незначительный разговор с девушкой имеет особый подтекст. Об этом мне еще раньше намекал Каплер.

И я составил для себя правила поведения — может, и глупые, но которым следовал неукоснительно.

Если я с кем-нибудь из девушек заведу какую-нибудь интригу, рухнет мой авторитет.

А я начальник цеха. Для меня это стало главным.

Иногда, возвращаясь рано с работы в свою комнату (а мне дали маленькую комнату в доме для ИТР), я думал, что самое забавное — это вести жизнь аскета в поселке, попасть на который мечтают все моряки, истомленные однообразием корабельного быта.

До меня доходили разговоры о разных любопытных происшествиях. Молва, естественно, все преувеличивала, и, наверно, со стороны казалось, что на Шикотане только все и делают, что... а это было не так, но тем не менее случалось.

Я не чувствовал себя героем, наоборот, мне казалось, что я в смешном положении, и, если говорить откровенно, иногда, в ночь под редкие свои выходные дни, я жалел, что я дал себя уговорить Каплеру и не работаю просто механи-

ком. Это мелочи жизни, о которых не стоит даже распространяться, но которые все же существовали.

И недавно, так, между прочим, Каплер мне сказал, что ему нравится, как я работаю, и нравится мое поведение. Последнее можно было понять по-разному, но я уловил истинный смысл.

Итак, мы дошли до девятого общежития, и я сказал, что заходить я не хочу, и мне был выдан кусок мыла, и еще на крыльце я продолжал что-то травить, в основном все про показатели.

— Александр Ильич, — вдруг прервала меня Оля, — вы думаете, что для меня это самое интересное?

Вероятно, в этот момент мне надо было взглянуть ей в глаза.

Я сказал, что для каждого из нас главное — это нужды производства, и ушел, понимая, что трудно было придумать более идиотскую фразу.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПУСКАЕТСЯ В ФИЛОСОФИЮ

Иногда мне вспоминается Бристоль.

Шесть месяцев — это не самый большой срок, который плавают траулеры, не заходя в порт.

И все-таки.

Одни и те же лица, тоска по берегу, по женщинам.

Идти в Бристоль — не самое легкое. Это я говорю серьезно, без дураков. Женщины, не изменяйте своим мужьям, пока они в море. Они этого не заслужили.

Но сейчас я припоминаю какие-то смешные подробности.

Первые два дня, пока у матросов оставались запасы спирта, мы шли несколько странным курсом.

Потом сухой закон. А на обратном пути кончился табак. Уже курили древесные опилки. Мы бы разобрали корабль по доскам, если бы не встретили буксир, с которого нам накидали пачки дешевых папирос.

А обмен кинофильмами между траулерами! Когда мы просмотрели по десять раз все ленты, что были в нашей экспедиции, ребята начали монтировать боевики собственного изготовления.

Из разных фильмов вырезались драки, и потом все это склеивалось в одну ленту. По такому же принципу из заграничных комедий — сцены канканов и кабаре.

Однажды, когда мы неделю не могли выйти на косяк, к нам приблизилась японская шхуна, и оттуда в рупор заорали на ломаном русском языке:

— Рыбы нет? Собирай комсомольское собрание!

Было и другое. Были штормы, авралы. Была работа. Будни. О них не вспоминают.

Просто иногда мне хочется увидеть ребят, с которыми я ходил в Бристоль. Потравить пару анекдотов, поругаться с “дедом” — стармехом, послушать музыку у “маркони” — радиста, пройтись с кем-нибудь из команды, просто так, по улицам поселка. Я всегда был с ребятами, еще начиная с техникума и армии. И ей-Богу, командовать бабами — занятие не для меня.

* * *

Судьба играет человеком. Это давно доказано. Хотя бы тем, что я стал бывать в девятом общежитии.

Затащил меня туда чудный парень, инструктор обкома комсомола, который сказал мне, что я, дескать, должен интересоваться бытом работниц, и я, естественно, ответил, что должен, и повел он меня почему-то именно в девятое. Неисповедимы пути Господни.

Девушки уже знали инструктора и его встретили с радостью, как старого знакомого, а меня — с ужасом: “Солдат пришел!” Да, именно так меня прозвали в цехе.

Поначалу я был уверен, что инструктор замогильным голосом будет читать что-нибудь тоскливое на тему о моральном облике простого советского. Но я убедился, что он для девушек свой парень и готов вместе с ними и спеть песню, и посмеяться (пока я сидел довольно мрачно в углу,

соблюдая административную дистанцию), и выпить стакан вина (мы попали в момент, когда девушки отмечали день рождения сразу двух Нин, и откуда у них оказались три бутылки — так и останется неразгаданной тайной острова Шикотан). И как-то так, между делом, инструктор успел с каждой побеседовать и о работе, и о планах на будущее, и о туристском походе в выходной к Малокурульску, и о прочих, на первый взгляд незначительных, вещах, из которых и складываются производственные и личные взаимоотношения.

В общем, благодаря инструктору, Толя его звали, я получил визу в девятое общежитие, и ко мне там привыкли, и я играл роль какую-то среднюю между мебелью (я вступал в разговоры крайне редко) и генералом на свадьбе (у нас бывает Солдат!).

Зачем я туда ходил? Этого не знали, или, вероятно, все знали, но не было прямых улик, и я своими правилами игры запутывал все больше Олю и запутывался сам.

Девушки поют песни (у Лины замечательный голос, боюсь, что в ее прошлом неудавшийся дебют актрисы); “Вовка бежит за ней, — рассказывает Нина, — она от него, словом, устроили такие соревнования“ (это отчет об очередном приключении); “Вчера, девки, измучилась, — жалуется Валя, — рыба была мелкая, а “Обь“ привезла крупную, но начальство оставило ее для другой смены“ (сведение счетов с начальством, благо оно здесь); я не смотрю на Олю, потому что хочу смотреть только на нее; Ваня Петров уединяется с Олей в другой комнате, интим, выяснение родства душ; Ваня Петров, милый парень в цехе, в девятом общежитии сух и официален со мной — мол, на работе одно, а здесь лучшие девушки наши; и Оля с большой охотой идет на интим в соседнюю комнату выяснять родство душ (дешевый спектакль для меня, а может, и вправду?). А зачем я здесь сижу, глупо, кто я? Тухачевский в двадцать два года командовал армией... “Вчера такую потрясную картину крутили в клубе, — говорит Клава, — девки, там такая любовь“; “Почему я приехала на Шикотан? (Это Зина.) Надо же поездить, мир посмотреть, потом семья, дети — не успеешь“; “Где вы живете, Алек-

сандр Ильич? (Это опять Лина. И тут же, словно обидевшись.) Успокойтесь, мы к вам не придем“. Я, совершенно смущенный, пытаюсь что-то возразить. Лина заводит новую песню, уже не из репертуара радиопередач и грамзаписи: “Без любви я любить не могу и душою кривить не умею, счастье только на том берегу, а доплыть туда сил не имею“; и поет она хорошо, и девушкам очень нравится, и даже мне нравится, потому что поет она хорошо, вот только мотив... я догадываюсь, что под него складывали слова еще в каменном веке о коварстве женщин племени дум-дум; “Скажите, Александр Ильич, и вам нравится кто-нибудь из наших девушек (это вторая Нина), ведь вы у нас частый гость?“ — “Что вы? (Это уже я.) Я старый, больной человек, а сюда хожу только для того, чтобы не отрываться от масс, директива такая, поняли?“ И где-то рядом Оля, и мы никогда не замечаем друг друга, и только однажды — это было один раз, и я не помню по какому поводу, — я услышал ее голос: “Александр Ильич!“ — и это был другой голос, чем обычно, и она смотрела мне в глаза, и я почувствовал, что надо ставить точку, хватит неопределенности, иначе... но я отвернулся и долго говорил девушкам что-то незначительное, “вот какой я герой, — думал я, — не поддаюсь на провокации, не на такого напали“, — но это было один раз.

Так я проводил свои редкие свободные вечера.

А потом шел домой.

* * *

На Шикотан приехал начальник управления. Окруженный свитой, он обходил завод.

Когда он появился в цехе, я, стараясь не попадаться ему на глаза, стоял где-то в стороне.

Каплер, заметив меня, сказал что-то начальнику, и тот поздоровался со мной.

И я как-то дернулся, сделал несколько шагов. “Сволочь, — подумал я про себя, — приятно, когда с тобой первым здороваются начальство. Самолюбие“.

А начальник уже стоял около меня, и вся свита за его спиной ласково мне улыбалась.

— Вот, — сказал Каплер, — это и есть Солдатов. Самый суровый человек на заводе. Он может заставить девушек остаться и на сверхурочное время, и когда мало рыбы, распределить ее так, чтоб хватило на все смены. И, заметьте, на него работницы не обидятся. Авторитет. Завидую.

— Молодежь, она опытнее нас, — сказал начальник.

И вся свита заулыбалась мне еще ласковее, а я стоял совершенно потерянный и мычал что-то нечленораздельное.

И потом, слава Богу, все это кончилось, но и вечером я еще не мог опомниться.

В чем дело, товарищ Солдатов? Определилось и твое место в жизни? Доволен?

Наверно, этого ты больше всего и боялся.

Опять же теория собственного изготовления.

Человек создан как многогранная личность, которой все надо, все интересно. Но разумное человеческое общество придумало специализацию. Пример: родился некто Сидоров, который мог быть Эйнштейном, а стал поваром.

Метания и поиски кончились. Повар Сидоров доволен собой. Он застыл в какой-то форме. Специализировался. Лучше него никто в мире не сможет приготовить свиную отбивную. И он на все смотрит с точки зрения кулинарного искусства. Иванов хорошо жарит шашлык — это человек. У Петрова мясо получается жестким — это так себе, редиска.

Доказательство становится более понятным, если сравнить аналогично медицину, науку, литературу, административную карьеру.

Из тысячи женщин повар Сидоров находит одну. Это та женщина, которая опять же назначена ему Богом или историческим материализмом (я беру удачный вариант). С этой женщиной у повара Сидорова начинаются какие-то отношения: ребенок, устройство быта, радости любви, упреки, подозрения — словом, семейная жизнь. Ко всем остальным женщинам он почти равнодушен. Это, естественно, приветствуется принятой моралью о семье и браке. Но

я видел очень много хороших девчонок, милых, умных, которые после нескольких лет семейной жизни как-то сразу старели, теряли интерес к окружающему — словом, становились типичными бабами со всеми подтекстами этого древнего русского слова.

И, наверно, поэтому меня бросало во все концы Союза. У меня много специальностей и должностей. У меня были связи с женщинами, иногда мне казалось, что это любовь.

Но как только я чувствовал, что я застываю в какой-то оболочке, что я уже доволен этой жизнью, что меня это устраивает, срывался и мчался куда-то к черту на рога. Девиз: пока есть силы, надо многое увидеть, многое испытать.

Красивая жизнь, правда? Главное, романтично. Очень я себе нравился.

Но всему приходит конец.

Вчера, когда я пришел в цех и вытащил из шкафчика свой халат, то нашел смятую записку. Без подписи.

“Солдатов, а ведь я уеду“.

СВАДЬБА

(Письмо технолога Жени Приваловой своей подруге)

“...Да, так самое главное. Людка вышла замуж. Можешь ее поздравить. И знаешь, за кого? За Карпенко. Ну, помнишь, диспетчера из управления? О свадьбе стоит рассказать подробнее.

Собрались все наши ребята. Весь ИТР. В таком составе мы встречались или на волейбольной площадке, или на производственных совещаниях. Поэтому еще не успели рассестись, как Вася Боровик (знаешь его, известный хохмач) предложил провести общее собрание.

Повестка дня:

- 1) Выборы президиума.
- 2) Доклад.
- 3) Разное.

Причем мы не договаривались заранее, но все поняли, что сейчас будет что-то новое и необычное. И каждый хохмил, как умел.

Доклад взялся делать Вася Боровик. Он искусно пародировал речь главного инженера, выкрикивал патетические фразы и все время сбивался то на итоги квартала, то на международное положение.

Каплер от приступа смеха чуть было не сполз под стол.

Потом оратора согнали, и тогда Вася предложил организовать свадьбу.

Все уже вошли во вкус игры и приступили к выборам жениха.

Было названо несколько кандидатур. Но Петровский сказал, что его впервые выдвигают на эту работу и он боится, что не справится. Солдатов сказал, что он не может по состоянию здоровья, и грозился предъявить медицинскую справку. Карпенко тоже пытался возражать, но все заорали: "Хватит самоотводов!"

Кандидатуру невесты утвердили сразу.

Я ей дала рекомендацию:

"Люда Вайнштейн еще в школе проявила себя примерной пионеркой, активно участвовала в сборе металлолома, была заместителем председателя кружка "Красного креста" и т.д."

Но тут уже начали раскупоривать бутылки (по специальной заявке завезли на свадьбу) и кричать "горько!"

В общем, было очень весело.

Ты была на Шикотане всего две недели. И конечно, за время командировки не смогла понять, как мы здесь живем. А знаешь, неплохо.

Мне здесь нравится, и я остаюсь. До тебя уже дошли слухи, что мы переходим с сезонной на круглогодичную работу. Вот так. Сейчас часть рабочих уезжает, а потом приедут новые, и постепенно у нас будет постоянный состав. Конечно, работать будет легче. Ну ладно, это, возможно, тебя не очень интересует. Знаю, чего ты ждешь.

Итак, твой Солдатов. Не обижайся. Я это в шутку. Не знаю, что ты в нем нашла. Кстати, приезжай сюда, и ты

его застанешь. Каплер клянется, что не отпустит Солдата.

А мне Солдатов не нравится. Он, действительно, очень спокойный, уравновешенный, говорит всегда тихо, но так, что любой побежит выполнять его указание. Этот товарищ далеко пойдет. Говорят, что его хотят назначить... Ну ладно, не будем преждевременно распространять слухи.

У меня впечатление, что он все время изучает, анализирует поступки других людей, а сам никогда не сделает лишнего, опрометчивого шага. Когда я ловлю его холодный взгляд, мне хочется представить, о чем он думает в этот момент. Знаешь, кругом ребята такие веселые, добрые, душевные. А этот сух, насмешлив. Он хорошо знает производство, он умеет командовать. Все? А где же теплота, человечность? Вот и на свадьбе. Ребята, надо отметить, набрались основательно, пели песни, чего-то придумывали потешное, а Солдат (так его у нас прозвали) пил, но не пьянел.

Как-то мы с девчонками выясняли, есть ли у Солдата какой-нибудь роман. Ведь только в его цехе сто пятьдесят молоденьких девушек. И ты знаешь, что он нравится, сама попалась.

Мы установили, что ничего даже похожего на увлечение у Солдата нет. Так, иногда он заходил в общежитие, но это явно по обязанности.

Так что я не в восторге от твоей "пассии". И говорю прямо — не думай о нем, там, на материке, ты найдешь лучше.

Ну, хватит, я уж совсем записалась (все для тебя стараюсь, милая). Передавай приветы..."

СЛУЧАЙНЫЕ НАСТРОЕНИЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ

В тот вечер на крыльце девятого общежития сидела кошка, похожая на пузатую бутылку. Я обошел дом, любовался на темные окна.

Потом я оказался в клубе, где меня окликнул человек, лицо которого было мне знакомо.

— Привет, — сказал он.

— Привет, — сказал я.

— С меня пол-литра, — сказал он.

— А, — вспомнил я, — капитан Холчевский. К вашим услугам.

— Может, сыграем пока на бильярде? — сказал он.

Обычно бильярд был занят. Но сейчас, когда разъехалось три четверти рабочих, стол пустовал.

— Пойдет, — сказал я, — только я плохо играю.

Мы начали. Стол имел общее с бильярдом лишь зеленое сукно. Шары ходили по диковинным параболам, а приближаясь к лузе, сами сваливались.

— А вы что, — сказал капитан, — бросили здесь якорь?

— Похоже, — сказал я.

— И как?

— Живем нуждами производства.

— Понятно, — сказал капитан, и дальше разговор касался только игры.

Капитан старался. Он хотел выиграть. А мне было все равно. Выиграл я.

И потом мы сидели в каюте капитана, пили и говорили про жизнь.

И я чего-то раскололся. Я долго ему объяснял, почему я здесь остался, и как меня уговаривали остаться, и что я не жалею, что остался.

— Ты сам откуда? — спросил капитан. (После третьей рюмки мы перешли на “ты“.)

— Москвич.

— И не жалеешь?

— Нет, — сказал я, — честно. Ходить по асфальту — занятие не для меня.

— Понимаю, — сказал он, — я тоже на морозе хватаю железо голыми руками. А иначе себя перестанешь уважать. Но ты, я смотрю, один.

— Была девушка.

— И?

— Уехала сегодня на “Курильске”.

— Не сошлись характерами?

— Не пытались.

— Туманно.

— Ей еще рано быть со мной. Она быстро выдохнется.

Посмотрим, а, впрочем, человек с человеком сходится.

— Логично, — сказал капитан. — Ну, взяли на корпус.

И мы опять пили.

Я вернулся в свою комнату, лег, долго не мог заснуть.

И в голову лезли глупые мысли.

Я воображал, что ночью веду машину и рядом со мною сидит Оля. И мы едем по загородному шоссе. Я выжимаю до конца газ и только переключаю свет с ближнего на дальний, потому что впереди повисли гирлянды огней — машины частников торопились в Москву.

Я когда-то был шофером и ясно представил себе, как меня ослепили и как я уже не переключаю дальний свет и не снижаю скорости. Изредка мы обходили робкие красные огни, которые шарахались вправо при приближении озверевшего самосвала. А Оля прижалась ко мне, щека к щеке. И я шел, не сбавляя скорости, и обязательно бы врезался в первую же машину, первую же загородку — словом, во все, что попало бы на моем пути. Но к счастью, меня последний раз ослепили встречные фары, и я заснул.

Я проснулся полпятого с дикой головной болью. Ветер тряс окно, раскачивал деревья и забрасывал в комнату мокрые свернутые листья.

Иногда его порывы были очень сильны, и тогда по комнате молнией вспыхивал отблеск фонаря, который в тихую погоду прятался за деревьями.

Я зажег свет и принял таблетку.

Боль стала ослабевать, и я решил снова лечь и лежал, мечтая заснуть и чтоб перестала болеть голова, ну вдруг случится же такое счастье, а в голове отчетливо звучал разговор с Олей, слово в слово, разговор, который должен был быть и которого не было, понимаете, потому что я не пришел провожать ее, потому что у меня были дела в цехе, а может, я их просто выдумал. И когда я совсем отча-

ялся, я увидел себя спящим, а в комнате сидела Оля, и я сказал, что хорошо, я, кажется, заснул. И правда, я почувствовал, как куда-то проваливаюсь и что меня крутит и уносит, и мне стало страшно, и я захотел проснуться, но меня кружило все сильнее, и я стал звать громко: "Оля! Оля!" Я был твердо уверен, что сквозь сон кричу это имя, и если кто-нибудь есть на самом деле рядом, то он услышит. Но потом наступила минута просветления, и я понял, что мне это все снится, и Оли нет, и я один. И потом стало легче, и мне снились более спокойные и непонятные сны.

* * *

Утром я пошел на завод, хотя у меня был отгул, и вообще мы уже работали одну смену, но на море был шторм, и я знал, что рыбы долго не будет, и пытался что-то придумать, чтобы у людей все-таки была работа, чтоб цех не стоял, чтоб рабочие не теряли недельный заработок, а это было так сейчас важно.

И я еще раз спросил себя: ты доволен?

И ответил: да, так надо. Кончился какой-то этап в твоей жизни, начался новый. Так надо. И если суждено, мы еще увидимся с Олей, мы еще встретимся, пускай другими людьми, и это будет к лучшему.

Все к лучшему. Дыши глубже, как говорит Холчевский. И только почему-то было тоскливо и сумрачно. И я не понимал почему, а потом понял.

Это все ерунда. Это все погода. Просто на море шторм. Просто ветер срывает последние жалкие листья с черных деревьев, и грязь на улице и лужи. И дождь, дождь, который повис над островом уже с неделю. Тучи прочно осели на вершинах сопок и ползут на поселок серым туманом. Ну откуда взяться хорошему настроению, когда над тобой грязная мокрая вата вместо неба, и льет, и льет, и ты так давно не видел солнца, что уже не знаешь, есть ли оно на самом деле.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНТА РАДИО

Самолет оторвался от бетонной дорожки, и пассажиры начали деловито сосать конфеты. Они сидели чинные и сосредоточенные, пристегнувшись ремнями, как и положено по инструкции.

Он демонстративно откинул ремни. Не первый раз летает. Ничего еще не случилось. Стюардесса прошла мимо и сделала вид, что не заметила. Но ему сейчас плевать. Через пятнадцать часов Москва. Он уже думал, что никогда не улетит из Петропавловска. Не дадут погоды, и все. Так и зазимует в аэропорту. Ну, может, не через пятнадцать часов. Он немного знал точность Аэрофлота. Ну, через двадцать. Ну, в крайнем случае, просидят сутки в Новосибирске. И тем не менее. Самолет, скорость, комфорт.

Он никогда так надолго не уезжал из Москвы. Сколько прошло времени? Месяца три-четыре? Подсчитаем. А впрочем, потом. Он объездил весь Дальний Восток. Он был в шахтах и на золотых приисках. В тайге и у подножия вулкана. Он ходил к Командорским островам и ловил сайру у Южных Курил. Ну, ловил, допустим, не он, но ведь он тоже работал.

Между прочим, работа журналиста не из легких. Как сказал один русский классик: "Охота к перемене мест — весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест".

Приезжать в городок, в поселок, где тебя никто не знает. Гостиницы, общежития. Никогда не известно, где придется ночевать: в гостинице или на скамейке вокзала. Заводишь знакомства с новыми людьми. Это не всегда приятно. Неизвестно, как тебя встретит человек. Корреспондент? Очень приятно. И начнет шпарить скучно и нудно про план, про показатели. И сорвется материал, если ты не найдешь ключ к этому человеку, не расколешь его. К каждому нужен особый подход. А ведь мы должны быть всегда любезны, вежливы, настойчивы и внимательны. И пусть у тебя плохое настроение, пусть тебе все в данный момент до

лампочки, но это твое личное дело. Этого никто не должен замечать. Ты всегда начеку, всегда на работе.

Доволен ли он поездкой? Да, очень. Было трудно. Тогда, на сайре, требовался срочно репортаж, а сеть намоталась на винты. Другой бы растерялся. А он сделал репортаж. А как на него в тот момент смотрели моряки? Не надо, он все и так понимает без слов. И тем не менее. Ведь в тот момент, когда передачу слушали миллионы, в тот момент команда, действительно, перевыполнила план. Он же все проверил. И разве не приятно было морякам услышать рассказ про себя? И рассказ получился правдивым. Неважно, как делался. Важен результат. Он помнил, что капитан заперся на мостике и отказался говорить. Все понятно. Но сейчас бы, после того как репортаж вышел в эфир, они бы встретились с капитаном как лучшие друзья. Такова жизнь, у всех свои сложности.

Он представил, как на первой же летучке его будет хвалить шеф. Шеф — потешный мужик, старая гвардия, когда-то работал за границей. И сейчас, когда он бывает расстроен “своими мальчиками“, он запирается в кабинете и читает вслух по-французски. И вот теперь, шеф, убедись, что молодой репортер Комаров тоже кое-что умеет. За последнее время половину передач отдела занимали материалы Комарова. Статистика. Никуда не уйдешь.

Надо ездить. Много увидишь, многое узнаешь. Самое скверное — это пить пиво с нашими скептиками и ворчать: “Разве, мол, дадут сделать хороший репортаж?“ Ну их к аллаху! Ну и пускай завидуют.

На световом табло потухли красные буквы. Молодая женщина, что сидела с ним рядом, расстегнула ремни и посмотрела на него. И он понял ее взгляд. Дорога дальняя.

— Вы знаете, — сказал он, — песню про “ТУ сто четыре“?

— Нет, — сказала она и сделала вид, что удивилась его вопросу.

Он склонился к ней и запел:

“Ту сто четыре“ самый лучший самолет,

“Ту сто четыре“ самый надежный самолет...

Он пел медленно, грустно, на мотив известного похо-

ронного марша, и молодая женщина стала смеяться так, что даже стюардесса приостановила свой размеренный бег по самолету.

“Порядок, — подумал он. — А если ей еще рассказать, что я корреспондент радио?”

— Где мы летим? — спросила молодая женщина, кончив смеяться.

— Над морем Охотников.

Именно над морем Охотников, а не над Охотским морем. Так говорили моряки.

— А может, над Курилами?

— Можно и над Курилами, над Северными и Южными, над Сахалином, над всем что хотите. Отсюда все видно.

— Посмотрите, как красиво, — сказала молодая женщина.

Он придвинулся к ней и взглянул в окно иллюминатора.

Ослепительное солнце повисло на призрачном голубом небе. Далеко внизу сияли поля белоснежных облаков. Казалось, кто-то укрыл землю плотным покрывалом стерильно чистой ваты. Впрочем, сравнение с ватой, подумал он, может, и неточно. Ледники? Снега? В общем, какое-то волшебное царство голубого, белого и солнечного.

— Да, — сказал он, — очень красиво.

1963

ТИГР ПЕРЕХОДИТ ДОРОГУ

Теперь он стал начальником отдела, приказ подписан, все, точка, и что бы они там еще ни чирикали, приказ подписан, а если подписан, значит, это все давно согласовано и утверждено. Завтра он впервые не торопясь пройдет в кабинет, в тот кабинет, и скажет Танечке, чтобы она никого не пускала, а потом нажмет кнопку звонка и будет по очереди вызывать Тимошкина, Топоркова и всех прочих отделских интеллектуалов. “Ну, — скажет он, пристально глядя на каждого, — какие предложения, что вы там задумали?” И сотрудники будут нервно подергивать плечами и отводить глаза. И не потому, что они в чем-то уже успели провиниться. И не потому, что он стал начальником. Просто у него тяжелый взгляд, его трудно выдержать, это он сам знает. Даже в метро, если он на кого-нибудь посмотрит, человек отворачивается. Это еще со школы, с детской игры в гляделки. Он и тогда был чемпионом. Даже Эдик Иванов — и тот смог продержаться всего две минуты.

Он усмехнулся. Так, воспоминания, шалости. А взгляд остался. Жена утверждает, что у него глаза как у дьявола. “Я поэтому и боюсь тебя обманывать”, — говорит она. Льстит, конечно. Льстит, потому что любит, а может, действительно? К черту, все, точка, приказ подписан, конечно, не ради его прескрасных глаз, он вообще хороший работник, плюс прежние заслуги, плюс железные нервы. Но все-таки начальник не должен быть размазней. Начальника должны бояться.

Он стоял перед клеткой, в дальнем углу которой спал один тигр, а другой тигр мягко, как кошка, но упрямо, как маятник, ходил от одной стенки к другой.

Вот то же, подумал он, хозяин, тигр, когда выходит из логова, все живое перед ним трясется, впрочем, смешно, конечно, но интересно проверить.

Он сосредоточился и стал следить за тигром. Их глаза встретились, но тигр пока еще ничего не почувствовал, не понял, скользнул пустым взглядом, прошел.

Так повторялось несколько раз. От напряжения он уже не видел зверя — мелькал полосатый черно-желтый шарф. Но вот появились глаза. Тигр остановился. Теперь они смотрели друг на друга.

“Я сильнее тебя, — гипнотизировал его человек, — ты глупая большая безвольная кошка, я могу делать с тобой все что угодно, я всемогущ“.

Тигр зажмурился, зевнул и возобновил маятниковое движение.

Тогда он опустил веки и усмехнулся. Ну, доволен? Можно будет мимоходом сообщить жене, так небрежно, на юморе, что, дескать, даже тигр не выдерживает его взгляд.

Он посмотрел на часы. Ну, ладно, хватит заниматься ерундой. Погулял, развеялся, подышал кислородом, порядок. Время идти обедать. А завтра ты другой, и что бы они там ни чирикали, точка, приказ подписан. Ладно, хватит, завтра все серьезно, завтра работа.

Кстати, он действительно не лишен чувства юмора и понимает, что думал тигр, когда он уставился на зверя. “Дескать, тренируйся, крошка, показывай власть, изгиляйся, я же в клетке, за железными прутьями. Вот попадись ты мне в джунглях, на рассвете. Я бы тогда заглянул в твои черные очи“. Вот так, наверно, думал тигр. Если он вообще способен думать.

Спустились сумерки, и в зоопарке стало тихо, и только откуда-то со стороны доносились резкие отрывистые шумы. С наступлением темноты все звери ложились спать, только тигр все ходил, ступая мягко, как кошка, но упорно, как маятник, от стены к стене.

Днем все было в порядке, днем все было привычно и

согласно режиму. Сначала служители убирали клетку, потом приносили еду. Потом приводили людей, приводили специально для него (ну, конечно, не только для него одного, манией величия, слава Богу, он не страдал). Люди своими глупыми, лишенными всякой шерсти лицами развлекали обитателей зоопарка, развлекали честно, стараясь громким разговором, смехом, воплями привлечь к себе внимание. Если им это не удавалось, они отходили грустными и разочарованными. Зато когда он показывал, что, дескать, заметил людей, восторгу их, особенно маленьких, не было предела. Иногда они пытались установить более близкий контакт, просовывали сквозь прутья палки и ветки. Но этих быстро отгоняли служители. За людьми строго следили и не разрешали резвиться. Бедные, что они получали за свое дежурство около клеток? Перепадал ли им кусок мяса или хотя бы мозговая косточка? Иногда среди людей попадались комики вроде сегодняшнего идиота, который уставился на него и замер. Тигру тогда стало так смешно, что он даже зажмурился. Нет, днем было интересно, и время летело незаметно.

Но эти долгие тоскливые вечера! Почему-то приходило меланхолическое настроение, и мелькали смутные воспоминания чего-то непережитого, неясного, непонятного. Мечта о другой жизни? Но какой? Однажды в соседнюю клетку поселили какого-то ободранного новичка, так этот придурок все время бормотал о каких-то джунглях, где живому тигру надо целые дни бегать, искать пищу и где никто тигра не охраняет, никто его не развлекает, не заботится о нем, не показывает новых людей. Когда он слушал этот детский лепет, так у него даже шерсть становилась дыбом. Случаются же такие ужасы на свете!

Тигр понимал, что ему дико повезло — с самого рождения на всем готовом, жизнь без всяких забот, — и не хотел ничего другого. Вот разве что вечером... И то немного, ну хотя бы пройти по аллеям, посмотреть на соседей. Вряд ли бы кто-нибудь его стал обижать. Он же никому зла не делал. А может, еще раз посетить город?

Городом люди называли все то, что окружало зоопарк. Клетки, в которых жили люди, назывались домами, а аллеи между домами — улицами. Тигра один раз возили по городу. Правда, тогда впечатление о городе сложилось самое отвратительное. Шум! Суeta! И запах! Точнее, просто воняло чем-то неестественным и противным. И потом эти стада ревуших, фырчащих животных, которые носились друг за другом по аллеям. Кстати, на одном из них везли и самого тигра. Ничего, зверь вел себя мирно и не тронул тигра, хотя тигр взгромоздился ему на спину. Поэтому тигр надеялся, что если он будет осторожен, то его эти звери не тронут. А в город тигру хотелось. Может, все-таки ему повезет, и он отыщет уголок поукромнее, где не будет так скверно пахнуть и удастся спокойно попрыгать. Слишком уж скучны и однообразны вечера в зоопарке.

Он взглянул в угол. Вот ОНА, его законная. Дрыхла целый день и опять дремлет! Что и говорить, его семейной жизни не позавидуешь. Он достался первой же попавшейся тигрице, которая была гораздо старше его, ленива, нелюбопытна и очень редко к себе подпускала. То и дело она ставила ему в пример какого-то Багира, с которым жила до него. И может, у нее был не только Багир. Тигрицы, они коварны, никогда не узнаешь, о чем они думают. И детей она не хотела. Дескать, и так тесно. А завести тигрят было бы неплохо. Он бы играл с малышами.

Он еще раз взглянул в угол. Конечно, одним глазом она наблюдает за ним. Знает, что он скоро будет топтаться около нее и робко повизгивать.

Впрочем, ее можно понять. Когда нет других интересов, единственное развлечение — показывать свою власть над ближним.

Он отвернулся и вдруг неожиданно ударил лапой по дверце. Ударил просто так, от досады на самого себя, оттого, что ему никогда не хватало силы воли хоть однажды показать характер и демонстративно пойти в свой холостяцкий угол, ни разу не взглянув на тигрицу. Но тут что-то треснуло, и дверца распахнулась.

Обычно дверца никогда не открывалась. Служители

тщательно ее запирали. Иначе в клетку мог проникнуть кто-нибудь посторонний, унести мясо, разворошить соломенную подстилку или, что еще хуже, пристать к тигрице со всякими глупостями.

Но может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло? Теперь у него появилась возможность прогуляться по аллеям.

Он остановился в нерешительности. Сзади тигрица подала голос:

— Доигрался? Допрыгался? Теперь жди беды. А я тут ни при чем.

Это было на нее очень похоже. В беде оставлять его одного. Что ж, чем хуже, тем лучше. Он прыгнул через барьер и неслышно приземлился на песок.

Теперь тигрица вскочила на лапы. Теперь она забегала.

— Куда? На поиски приключений? Смотри, обдерут тебе шкуру. Потом не приходи ко мне жаловаться.

Она подошла к дверце, высунула голову и прорычала более нежно:

— Ладно, уж так и быть. Вернись, я все прощу.

Прикидывается добренькой, подумал тигр. Видите ли, она простит, она разрешит. Будь хоть раз мужчиной. Ну?

Медленно, оглядываясь, он уходил в глубь аллеи.

Тигрица стояла у дверцы и осуждающе смотрела вслед.

Сначала он надеялся найти себе компаньона. Вместе бы прошвырнулись взад-вперед, чего-нибудь сообразили. Но все звери при его приближении забивались в угол и даже повизгивали от страха. Привычка, подумал тигр, все дисциплинированны, боятся из клетки нос высунуть, боятся ответственности, боятся лишиться обеда.

И только один орел не сдвинулся с места, а только помахал своими короткими обрезанными крыльями. Вот, подумал тигр, встретил одного смельчака, да и тот инвалид.

А буйвол, известный ябеда и провокатор, при приближении тигра поднял такой истошный рев, что при-

шлось срочно свернуть с аллеи и бежать куда глаза глядят. А что оставалось делать? Придут служители, поймут, доложат директору зоопарка, и утром жди неприятностей.

Возвращаться на аллею было опасно. Встревоженные шумом, по ней могли ходить служители.

Тигр увидел дыру в заборе и пролез туда. Отсижусь здесь, подумал он, пускай там все успокоится.

Он осмотрелся. С трех сторон его окружали стены дома. Сзади был забор.

Маленькая собачонка с лаем выскочила из какой-то щели и, вдруг мгновенно смолкнув, с невероятной скоростью исчезла в воротах, через которые была видна улица. Там было светло, мелькали фигуры людей и с ревом пробегали огромные животные с горящими глазами. Тигр подошел поближе к воротам. Мысль его работала быстро и четко: "Все меня знают, в обиду не дадут, а мне интересно, что делают люди, когда не ходят в зоопарк развлекать меня. Где их кормят? Чем их кормят? Как они проводят вечера? Ну, решайся, пан или пропал".

Он вышел на улицу, прижался к стене. Первый зверь пробежал мимо и не тронул. Потом сразу несколько, взревев, пронеслись друг за другом. На тигра ноль внимания. Но, Боже, какой отвратительный запах! У тигра закружилась голова и подогнулись колени.

Прошел человек. Человек шел тихо, смотря прямо перед собой, а в руке нес какой-то сверток, от которого пахло привычным родным мясом. Пойду за ним, решил тигр, все-таки сверток, если держаться к нему близко, несколько отбивает вонь улицы.

* * *

Конечно, у Ивана Николаевича, как и у каждого человека, есть свои слабости, кто спорит, он не любит, когда в классе открыта форточка или там громко смеются, ну, смейтесь на здоровье, но в коридоре, во время перемены, но не на занятиях, ясно, не тогда, когда Иван Николаевич

делает неправильное ударение, произнося процент, доцент и портфель. Иван Николаевич уже пожилой человек, и надо уважать его возраст и его привычки. Ясно? Иван Николаевич любит, чтобы в классе стояла тишина, чтоб муху было слышно, ясно, чтоб не задавали лишних провокационных вопросов, история есть история, что в учебнике написано — закон, и нечего показывать свою образованность, я доходчиво объясняю? И по коридору положено ходить парами, а не носиться вперегонки, стыдно, молодые люди, перешли в десятый класс, солидности никакой. И Иван Николаевич правильно сделал, что вызвал в школу родителей Владимирова и Мальцевой — рано им еще по кино ходить на вечерние сеансы и целоваться в темноте. Иван Николаевич все видел, специально сзади сидел. Он отвечает за своих учеников. Знаем, сначала кино, поцелуй, а потом девушка идет на аборт, или там ребенок внебрачный рождается, из РОНО звонок, учителю неприятность. Так что Иван Николаевич вовремя пресек, вовремя сигнализировал. И вместо благодарности... Раньше молодежь уважала стариков. А теперь? Каждый говорит, что хочет, думает, что хочет, а отношение к нему, Ивану Николаевичу? Это же не люди, это же форменные звери! Ну, то, что он всегда находит кнопку на стуле, это привычно. Но недавно он получил письмо из Америки от президента Джонсона. Президент сообщил, что удовлетворил ходатайство двоюродного брата Ивана Николаевича и приглашает самого Ивана Николаевича в Америку. С Иваном Николаевичем чуть инфаркт не случился. Он всегда гордился, что у него нет родственников за границей, и вдруг объявился братец. Он понес письмо куда следует и сказал, что никакого брата у него нет, а если есть, то Иван Николаевич его никогда не признает. Но там, куда он понес письмо, только посмеялись. Оказывается, конверт был поддельный, и штампы самодельные, и за президента расписался кто-то из учеников Ивана Николаевича. Но где это видано, так разыгрывать старого больного человека! Дома к телефону он боится подойти. Все время звонки. Соседи подозрительно на него косятся. Женские голоса назначают свидания под часами. Это все происки Мальцев-

вой, и весь класс с ней заодно. Ловят его, подсиживают. Выгнать их всех надо из школы! Он так и сказал директору. А тот, начитался газет, говорит, что на учеников не надо кричать, надо с ними работать, убеждать. Убедите их, бандитов. В любую минуту могут тебе подстроить такую каверзу...

Иван Николаевич оглянулся, и внутри у него все оборвалось. Как чувствовал. Ужас! Это же надо додуматься. Живого тигра достали! Вот он, образина, топает сзади. А сами, наверно, крадутся по другой стороне, выжидают, когда Иван Николаевич бросится бежать или позовет на помощь. То-то завтра смеху будет в школе. Но на этот раз, голубчики, у вас ничего не выйдет. Иван Николаевич знает, что у Владимова друзья в цирке работают. На этот раз фокус не пройдет, хватит. Но им-то, циркачам, как не стыдно, взрослые люди!

Иван Николаевич остановился и повернулся к тигру. Тигр тоже остановился. Остановилась и толпа, что следовала за ними. Там, наверно, ученички его любимые, прячутся за спинами...

— Иди, голубчик, спокойно, — сказал Иван Николаевич громким мужественным голосом.

— Мама, — крикнул ребенок из толпы, — я же говорил, что он ручной.

Иван Николаевич снова возглавил шествие. “Что, съели?” — ликовал он. Вот только как бы от него отвязаться? В магазин заскочить, что ли? Тигр-то дрессированный, но черт знает, что ему в голову взбредет.

Все получилось лучше, чем он предполагал. Люди плотно обступили его и не подпускали к нему рычащих зверей, что бегали посередине улицы. Тигр обратил внимание, что у большинства зверей четыре глаза. Два больших — спереди, два маленьких — сзади. Некоторые звери останавливались, и люди сами покорно лезли к ним в пасть, которая находилась у зверей сбоку. Но тигр заметил, что эти же звери выплевывали людей, живых и невредимых, и те как ни в чем не бывало топали по улице. Надо было только

держаться края улицы, ибо на тех смельчаков, что пытались перебежать ее, звери рычали и визжали, и тогда люди быстро улепетывали к домам.

Все шло хорошо, но вдруг человек, за которым он следовал, начал переходить улицу. Тигр замер. Он хотел крикнуть: “Опомнись, безумец, что ты делаешь!” Однако отставать от человека со свертком не хотелось. Положение создавалось безвыходное. Но звери, как по команде, все остановились, человека со свертком никто не трогал, и тигр ступил на мостовую.

Сборище народу? Крики? Наверно, драка. Ну, конечно, как всегда, из службы никого не видно. Вечно уличные происшествия должен расхлебывать ОРУД. Его дело следить за транспортом. Но попробуй усиди тут. Мордобой, наверно, страшный. С чего бы? День полочки?

Инспектор Говоров переключил светофор на “мигалку” и вылез из стакана. Но не успел он сделать нескольких шагов по направлению к месту происшествия, как из толпы вышел тигр и остановился у перехода.

За пять лет работы у инспектора Говорова не было ни одного взыскания. Он был на хорошем счету у начальства и уверенно шел на повышение. Капитан Максимов как-то сказал на собрании, что Говоров — исполнительный и толковый сотрудник, который мигом разберется в любой сложной ситуации, а капитан Максимов слов на ветер не бросал.

Понятно, подумал инспектор Говоров, скоро увидим что-нибудь вроде “Полосатого рейса”. А кто будет в главной женской роли? Только бы не Гурченко. Зачем ее вообще снимают? И некрасивая совсем, и голоса нет, одни лишь “хи-хи” да “ха-ха”, да есть сигналы, что в личной жизни морально неустойчива... Лучше бы на роль укротительницы взяли Жанну Прохоренко. Скромная девушка и хорошо смотрится. И неважно, что с цирком раньше не работала. Вот тигр какой смирный. Куда его ведут? Наверно,

на объект. Жаль, что не здесь съемки. А вдруг все-таки будут снимать, и он, инспектор Говоров, попадет в кадр? Нет, тогда бы предупредили заранее. Ладно, милиция всегда на своем посту.

Инспектор Говоров вышел на середину перекрестка, поднял руку, и сразу все такси и частники, словно споткнувшись, замерли.

— Смотрите, — пискнула девушка и схватила шофера за рукав куртки, — тигр переходит улицу!

Шофер, старый московский таксист, сначала бросил взгляд на пассажирку, потом на перекресток, потом неторопливо высвободил руку, опустил боковое стекло и сплюнул на мостовую.

— Первым делом, барышня, шофера нельзя за руку хватать. Хорошо, что стоим. А если б, к примеру, на скорости шли? Врезал бы мне грузовик, и ремонтируй машину за счет профсоюза. А таксиста колеса кормят. Да, барышня, нам не позавидуешь. Поворот на красный отменили, холостой пробег уменьшили, да еще тигров на улицу выпускают. Все нас ловить пытаются. Реакцию проверяют. Чуть зазеваешься, и сразу дырка в талоне.

— Петя! Тигр переходит улицу!

— Где? Этот? Тыфу. Нашел чем удивить! Вот слушай, как только Сидор Петрович объявил о сокращении, у нас в отделе такой зоопарк начался...

— Тигр! Тигр на переходе!

— Так. Ясное дело. Иностранец. Наших-то небось в клетке держат, а этому за валюту гулять разрешают.

— Мама, я хочу такого, полосатого. Купи!

— Вовочка, нет у меня сейчас денег.

— Купи! Мама, купи! Ты же обещала! Я два дня съедаю всю манную кашу.

— Вовочка, ну посмотри. Он помятый, облезлый. Мы лучше завтра пойдем в “Детский мир” и купим новенького, блестящего и с голубым бантиком.

За человеком со свертком он вошел в теплую, очень светлую клетку, где было так много народу, что тигр испугался, как бы ему не отдавили лапы. Но зато удивительные, приятные и разнообразные запахи, можно сказать, прямо ударили ему в нос. Он даже облизнулся от удовольствия.

Женщина, которая шла прямо на него, смотря куда-то в сторону, вскрикнула и уронила сумку на пол. Раздался звон, и белая жидкость потекла к лапам тигра.

Жидкость оказалась вкусной и напоминала что-то далекое, детское.

— Безобразие! — вопила женщина. — Стиляги проклятые! Мало им, что кошек и собак за собой таскают! Тигров в магазины приводят! Я за молоком очередь отстояла. У, образина, жрет и не давится.

Женщина наступала. Он почуял недоброе и подался назад. Но где дверца из клетки? Он побежал, люди расступались, давая ему проход. Перед ним был барьер. Он хотел его перепрыгнуть, стал на задние лапы. За барьером лежали куски сочного мяса. И еще он увидел лицо человека в белом халате. Прямо на глазах тигра лицо сделалось мокрым. По нему текли капли воды. Нижняя губа у человека дергалась.

— Давай, киса, — вдруг сказал человек хриплым шепотом, — лезь!

И отступил в сторону. Тигр перемахнул через барьер, стукнувшись о стену. Но боль тут же забылась, потому что первый же кусок мяса оказался просто прекрасным. Он и не подозревал, что такое бывает.

— С ума сошел, Вася? — зашептал, заикаясь, другой человек в белом халате.

— Тащи побольше, дура, — ответил первый, — потом на него спишем, понял? И будет порядок.

Второй человек понял, и перед тигром шлепнулось сразу несколько кусков.

— Кушай, киса, не стесняйся, — шептал первый.

А второй, понятливый, громко и уверенно покрикивал на столпившихся за барьером людей.

— Ну, чего стоите? Не видите, что ли? Отдел закрыт на учет.

— Что происходит?

— Смотри, Валька, кино снимают.

— Привет, какое кино? А где прожектора?

— Скрытой камерой работают. Сейчас это модно.

— Научились у итальянцев. А в белых халатах с какой киностудии?

— Да не артист он, сынок. Продавец он. Я давно его знаю.

— Значит, массовка. По три рубля за день. Неореализм.

— За три рубля такого страху натерпеться? Смотри, как тигра урчит.

— Да это не тигр. Просто хмырь какой-то переоделся.

— Ну да, переоделся! Подойди поближе, посмотри. Ишь как зубами щелкает.

— А ему, бабушка, по десять рублей в день платят. За десять рублей я бы еще лучше щелкал.

— Возможно, они делают методом блуждающей маски...

— Какая маска? Гляди, как прыгнул! И побёг, побёг на улицу. Тут любую маску надень, а так не прыгнешь.

— Так парень циркач, второй Брумель.

— А куда он побёг?

— Ясно куда, переодеваться. Да будь это настоящий тигр, он бы дал шороху.

— Да, была бы потеха.

— Вот так, походишь по магазинам, насмотришься...

— Это еще что! Вчера в овощном продавщица молодая, нахальная, взяла чек и говорит: какой чек? Я, говорит, вашего чека в глаза не видала.

Почему он убежал? И не потому, что его смутила необычная обстановка, сильное освещение, гудящая людская толпа за барьером. И не потому, что неожиданный поздний ужин как-то выпадал из привычного режима дня, и организм больше не принимал пищи. И не потому, что он вдруг вспомнил о тигрице и об открытой двери и испугался, дескать, кто-либо войдет, обидит. А убежал он потому, что инстинктивно почувал: слишком много дармового мяса — это не к добру.

Сверху что-то загремело, гигантская вспышка осветила площадь. Серая стена надвигалась на него, казалось, шел обвал, еще мгновение — и потоки воды прижали тигра к мостовой. Он присел и зажмурился.

Когда ливень чуть стих и тигр открыл глаза, он увидел, что налетевший шквал смыл всех людей, и только он каким-то чудом уцелел, да еще четырехглазые звери осторожно скользили посередине улицы.

Промокший до костей, озябший, тигр медленно побрел вдоль домов, пытаясь найти укрытие.

А пьяный все лез и лез, настырный какой, и тогда Павлович запер дверь и отвернулся. Что с ним говорить? Все равно не поймет. Правда, в кафе, которое наполнилось почти мгновенно, как только начался ливень, нашлось бы еще одно место, но Павлович наметанным взглядом определил, что пьяный — шантрапа, плана с него не будет. А пустишь, еще скандал затеет, а отвечать кому? Опять же...

В дверь застучали. Пьяный прилип к стеклу.

— Хошь, милицию вызову? Хошь протокол схлопотать? — спросил Павлович, чуть приоткрыв дверь.

— Папаша, будь человеком, — попросил пьяный.

— Вот и ты будь сознательным. Ступай спать, протрезвись. Сказал не пушу, и конец. Привет родным.

— Конечно, чем меньше человек, тем больше власть хочет показать, — заметил язвительно пьяный.

— Большой какой выискался начальник! Да я таких начальников за шиворот таскал! — рассвирепел Павлович, хотя в обычной жизни был весьма смирным и унижался даже перед буфетчицей.

Пьяный попытался просунуть ногу, но Павлович опередил его и захлопнул дверь. Пьяный достал рубль и показал его Павловичу.

— И не проси, и не буду, — сказал Павлович, понимая, что его слов пьяный все равно не услышит. — Купить меня вздумал, начальник, мать твою.

Павлович вошел в вестибюль и собрался было пройти в туалет, как в дверь застучали так сильно, что Павлович испугался за стекло.

Он подбежал, но пьяного уже не было. Спрятался, наверно. Ну появишься только, подумал Павлович, я тут же дам свисток, и схлопочешь ты суток пять, ишь какой, рублем размахивает, да я эти рубли...

Вдруг сбоку в стекло заглянула страшная полосатая морда. Павлович сначала оторопел, а потом погрозил кулаком.

— Я тебе прикинусь. Ишь как рожу разрисовал, я тебе такого тигра покажу. Обмануть вздумал?

Полосатая морда исчезла.

— Вот так, — сказал Павлович, — ученый нашелся. Хотел взять меня “на понял”. Если Павлович сказал не пушу, все, конец. И привет родным.

Лейтенант не успел поднести трубку к уху, как услышал отчаянный вопль:

— Тигр, тигр стоит около будки! Тигр, живой тигр!

— Что? — спросил лейтенант.

— Тигр! — визжал голос из трубки. — Я дверь держу, а он стоит, зубами щелкает.

— Послушайте, гражданин, — устало сказал лейте-

нант, — если уж пьете, так закусывать надо. И потом, поймите, в милиции тоже люди работают.

Он положил трубку. Старшина вопросительно смотрел на него.

— Ничего особенного, — сказал лейтенант, — просто один решил повеселиться.

* * *

— Дежурный по городу Леонов.

— Леонов? Говорит капитан Чесноков. Я следую на патрульной машине за тигром. Тигр идет по Садовому кольцу в направлении площади Маяковского.

— Тигр? Что он там делает?

— Что делает? Погулять, наверно, вышел. Спросить у него?

— Ладно, Чесноков, ты эти хохмочки оставь. Высылаю людей.

Не оборачиваясь, он почувствовал, что за ним следят. Он остановился. И тот зверь тоже остановился. Он побегал. А зверь не отставал. Он понесся прыжками, а зверь продолжал преследование, держась от него слева и чуть сзади.

Тигр увидел освещенную широкую дыру, и инстинкт, древний спасительный инстинкт подсказал ему правильное решение.

Он оказался в узком коридоре, где было сухо и светло. Только бы в другом конце нашелся выход, подумал тигр, иначе мне крышка. Но в другом конце коридора показался человек. Значит, выход был. Тигр бросился к выходу. В последнее мгновение мелькнула мысль: “Вдруг человек его остановит?” Но человек тихо сел на пол, а тигр проскочил мимо него, а потом вверх по ступенькам и выпрыгнул снова на эту же улицу, но с другой стороны. И дальше тигр, словно умудренный опытом предков, уходящих от погони, повернул обратно.

Он несся прыжками по улице, и ливень по-прежнему хлестал мостовую, и люди все куда-то попрятались, а может, их всех тогда смыло потоками воды, и он обгонял четырехглазых зверей, бегущих слева от него, но это были звери мирные, и он это чуял, а потом почувствовал, что его нагоняет тот, агрессивный зверь, и тогда тигр свернул направо, и дальше он уже знал, куда бежать, он знал, что скоро появятся те ворота, из которых он впервые вышел в город.

Надо было пересечь улицу, и он не раздумывая перепрыгнул ее в два прыжка, прямо перед носом у маленького зверя, который от неожиданности взвизгнул, резко свернул вправо и даже попытался влезть на столб.

Его преследователь нагонял его, воя яростно и зло. Но тигр свернул в знакомые ворота и проскочил в щель, и дальше он бежал, безошибочно находя кратчайший путь к родной клетке, но бежал уже не так быстро, понимая, что в эту щель преследователю не пролезть, не те размеры.

Дверца все еще была открыта, тигрица ходила из угла в угол, и когда тигр совершил свой последний прыжок и оказался в клетке, она подошла к нему и больно ударила лапой.

Потом она закатила форменную истерику. Она высказала все, что думала про него: молокосос, развратник, шляется Бог знает где, а она тут одна, нервничает, волнуется, а ему, конечно, наплевать.

А он молча забился в угол и все еще дрожал, каждую минуту ожидая услышать вой и фырканье агрессивного зверя. Но потом он понял, что зверь его потерял. И он успокоился.

А тигрица еще долго и нудно ворчала. Потом, правда, она была добра к нему.

* * *

Зав. отделом информации отодвинул листок.

— Не пойдет. Вот помнишь, Петя, у нас однажды прошла заметка? Всего тридцать строк. Пионер из шестого

класса собрал у себя дома летательную машину, точно такую же, как Леонардо да Винчи пять веков тому назад. Вот это был ударный материал! Автору триста рублей старыми деньгами выписали. На Доске почета висел. Шеф на летучке отмечал. А ты лезешь с ерундой. Подумаешь, тигр гулял по улицам. Нашел чем удивить. Ищешь дешевые сенсации? А выговора с занесением ты еще не зарабатывал?

По Москве ходило огромное количество как всегда противоречивых слухов. Через неделю в “Московском комсомольце” напечатали статью “Кто сильнее, лев или тигр?“, но речь там шла только об Азии и Африке.

На Западе все крупные газеты на следующий день вышли с огромными заголовками на первых полосах: “Тигр идет по Москве“, “Тигр-людоед“, “Москва в панике“, “Тигр пожирает девушку“ и т.д.

Солидная “Таймс“ сухо информировала, что количество жертв насчитывается до 59 человек, съеденных и искалеченных. От каких-либо комментариев “Таймс“ отказывалась.

“Нью-Йорк пост“ напечатала фотографию тигра, сидящего у входа в Политехнический музей.

Несколько ультраправых газет поместили подробный отчет своих московских корреспондентов. Автор одной из статей намекал, что, дескать, происшествие не случайно, и, дескать, это своеобразный протест животных против новой экономической реформы.

В Москве в районных отделениях милиции зачитывался приказ начальника управления о повышении бдительности.

Капитану Чеснокову вынесли благодарность с занесением в личное дело.

Инспектора Говорова уволили из органов.

Директор зоопарка, красный и потный, ерзал в кожаном кресле, а человек с очень тихим голосом продолжал:

— И если так дальше пойдет, и звери, когда им захочется, будут выходить на улицу...

(И вообще, плохо у вас поставлена воспитательная работа — чуть было по привычке не добавил человек с очень тихим голосом, но вовремя спохватился.)

Когда тигров снова перевели в старую клетку, там была уже новая дверь, новый замок, а с внешней стороны повешено объявление:

“Ввиду крайней опасности категорически запрещается заходить за барьер“.

1965

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ

1. ВЗРЫВ НА СТАДИОНЕ

Очень трудно было достать билеты на матч “Ботафого” — “Васка да Гама”, поэтому наверху люди сидели на ступеньках лестниц и, как потом утверждала статистика, число зрителей превышало двести тысяч. А в проходах еще толпились продавцы мороженого и прохладительных напитков. Продавцы совсем забыли про дело, они переступали с ноги на ногу и громко подбадривали футболистов (словно их крики можно было услышать в мощном реве стадиона), и это, конечно, шло в убыток торговле. Но их можно было понять. Уж слишком хорошо играл Армандо, центрфорвард “Ботафого”. Он был просто великолепен, он проходил защитников, как нож масло, а когда он забил второй гол, а судья не засчитал, определив офсайд, возмущению трибун не было предела.

Солдаты, занимавшие первые ряды, встали и взялись за руки, ожидая напора разъяренных болельщиков.

Ошибка судьи не обескуражила “Ботафого”. И хотя счет был ничейный (1:1), вся игра шла у ворот “Васка да Гама”. Армандо легко прошел трех защитников, но его партнер не понял маневра, не успел на передачу. Но вот мяч опять попал к Армандо. Два защитника растерянно топтались перед танцующим форвардом. Сейчас должна была последовать передача или серия финтов. Стадион орал: “Давай, Армандо, еще гол!”

Поэтому никто не обратил внимания на зеленый самолет спортивного типа, который вдруг откуда-то с высоты спикировал к чаше стадиона и, резко вывернув вверх, словно растаял в лучах солнца.

Впрочем, наблюдать, куда скрылся самолет, уже было некому. Предмет, сброшенный летчиками, едва лишь коснулся поля. Через несколько секунд вылетели все стекла в окнах домов и отелей, окружавших стадион.

Говорят, там тоже были раненные осколками стекла, но о них сразу же забыли, потому что весть об ужасной катастрофе навела панику в городе.

Зеваки и полиция, стоявшие снаружи стадиона, у ограды, сначала не поняли, что произошло. Как рассказывали очевидцы, больше всего их поразила наступившая тишина. Поодиночке и группами они потянулись к входу на трибуны, причем впереди шли полицейские — на всякий случай, чтобы не допустить прохода безбилетников.

Зрелище, открывшееся им, нельзя передать словами. Очевидно, бомба была какая-то особенная. Трибуны стадиона уцелели, только обуглились деревянные перила. Но люди — все зрители до единого человека, все были мертвы.

Через полчаса в городе творилось что-то невообразимое.

Машины с солдатами, полицией, пожарные грузовики и кареты “скорой помощи” прорывались к стадиону. А навстречу им поток машин, в каждой из которых сидели от пяти до двенадцати горожан, плачущих, орущих и причитающих, спешили из города. Все боялись новой бомбы.

Армия была поднята по боевой тревоге. Военные самолеты прочесывали небо. Грозно заворочались орудия крейсеров.

Неделю страна жила на военном положении. На всех дорогах патрули останавливали все машины и у всех проверяли документы. Были посланы ноты протеста во все страны, с которыми Амазония поддерживала дипломатические отношения. Но дипломаты, аккредитованные в столице, толпились у дворца президента с соболезнованиями своих правительств. Великие державы и международный Красный Крест тут же предложили свою помощь.

Пресса всего мира строила догадки о причинах катастрофы и высказывала весьма противоречивые гипотезы о том, где искать виновных.

Полиция Амазонии на всякий случай арестовала лидеров ультраправых и коммунистов. Из соседних стран приехали знаменитые детективы. Но, увы, следы таинственного зеленого самолета так и не были обнаружены.

12 ноября — день взрыва на стадионе — было объявлено днем национального траура.

Тем временем жизнь в городе входила в привычное русло.

На страницах газет некрологи знатных горожан, крупных финансистов, известных киноактеров и государственных деятелей, погибших 12 ноября, постепенно уступали место политическим и спортивным новостям.

Замелькали фотографии очаровательной сеньоры Лючии, ставшей после гибели отца и дяди самой богатой невестой Амазонии.

В департаментах оживленно обсуждали новые кандидатуры на посты директоров — ведь на матче 12 ноября присутствовало много высших чиновников.

После памятного черного воскресенья на каждом предприятии столицы остановилось по нескольку станков, а в магазинах недосчитывалось продавцов, а в офисах фирм пустовали некоторые столы служащих. Но так как в стране была огромная армия безработных, то уже на третий день за станки и прилавки стали новые люди, а в офисах фирм пронирливые чиновники заняли должности, о которых они раньше мечтали только в сладком сне, а освободившиеся вакансии заполнили учтивые молодые люди с университетскими дипломами.

Вечерами в ресторанах певцы пели модное танго “Я убит в черное воскресенье“, и все дамы полусвета плакали за столиками. Впрочем, они научились плакать без слез: ведь слезы старят, а надо было думать о новых любовниках.

Кардинал Ривольеро на торжественной панихиде сказал, что взрыв 12 ноября — это, бесспорно, наказание Божье за грехи и атеизм, и призвал молиться за спасение душ погибших и ныне живущих. В частной беседе с одним министром кардинал Ривольеро весьма осторожно выразился в том смысле, что, дескать, еще одно такое воскрес-

ные — и страна была бы спасена от безбожников и коммунистов.

Дон Михаэль, генерал в отставке, обидевшийся утром 12 ноября на весь свет за то, что никто не смог достать ему билет на стадион (“Конечно, как вышел в тираж, то все друзья отвернулись”), вторую неделю сидел у телефона, обзванивая знакомых: “Дона Педро, пожалуйста... Погиб? Ах, какое несчастье!” Генерал клал трубку и минут двадцать беззвучно хихикал. Потом шел к буфету, выпивал рюмку, снова подходил к телефону и, набрав новый номер, очень проникновенно и грустно спрашивал: “Полковника Рафаэлло, пожалуйста... Погиб? Какое несчастье!” Генерал клал трубку, и снова на полчаса его охватывал приступ неистового веселья.

В семьях рабочих и мелких служащих горе было беспробудно. Но дети играли на задворках в ковбоев и требовали вечером жареных бобов. Матери надевали старые платья и шли на поденную работу — надо было как-то жить дальше. Новыми нищими страну не удивишь, а газеты почему-то предпочитают не писать о нищете.

Траур носили на каждой улице, почти в каждом доме. Но в Амазонии слишком ярко светит солнце, а пляж Кабыкабана лучший в мире, а на вечерние улицы выходят самые красивые девушки, и, попав в толпу стройных сеньорит с зелеными и оранжевыми волосами, прохожий думает, что он участвует в каком-то нескончаемом блистательном карнавале.

Стадион покрасили, сменили кое-где обуглившиеся перила, и в конце декабря состоялся матч между “Ботафого” и “Васко да Гама”. Было очень трудно достать билеты, потому что обе команды по-прежнему претендовали на первое место — гибель двадцати двух игроков не сказалась на положении клубов. В Амазонии всегда было полно первоклассных футболистов.

Как и в то “черное воскресенье”, зрители сидели на верхних ступеньках лестниц и продавцы мороженого и прохладительных напитков, сгрудившись в проходах и забыв о торговле, подбадривали криками свою команду: ведь счет, как и тогда, был 1:1.

“Ботафого” наседали. Молодой центрфорвард Кутиныо делал черт знает что. Он начисто запутал своими хитроумными финтами защиту “Васко да Гама”. Кутиныо старался. При живом Армандо ему бы еще лет пять играть за дубль, а теперь его поставили в основной состав, и он сразу развернулся. Специалисты, наблюдая за его игрой, утверждали, что ему обеспечено место в сборной.

Когда мяч откатывался к центру поля и гул трибун несколько смолкал, молодые люди в модных костюмах успевали сообщить своим дамам подробности взрыва 12 ноября. Впечатлительные юные женщины ахали и вздыхали, а их кавалеры испытывали какое-то тайное удовольствие, рассказывая вновь и вновь о страшной бомбе. Ведь они сидели на том же стадионе, на тех же скамейках. Ведь в то черное воскресенье они спокойно могли бы оказаться на месте погибших и поэтому сейчас чувствовали себя чуть ли не национальными героями.

2. ПРОСТО ВОЛШЕБНИК

— Любой испугается, — возразил я, — если из шкафа вдруг неожиданно высунется рука или, когда сидишь и отгадываешь кроссворд в тиши кабинета, на тебя с абажура прыгнет черная кошка.

Но Сильвестре не согласился. Он вообще очень упрямый парень, этот Сильвестре. Я с ним познакомился случайно, час тому назад, и весь этот час он со мной спорил.

— Вы позовете полицию, подумав, что забрался вор, — сказал Сильвестре. — Что касается кошки, то вы во всем обвините соседа.

— А как же иначе? — возмутился я.

— Вот, а я что говорил? — сказал Сильвестре.

Мы сидели на втором этаже бара “Альбинос”. Наступила моя очередь заказывать, и я попросил два кофе. Пока официант пропадал у стойки, я смотрел через барьер вниз

на дорогу, где изредка на бешеной скорости проносились машины. Слава Богу, было не очень жарко, и нам повезло, что мы достали столик у барьера на открытой веранде, и день вроде складывался удачно, только вот собеседник мне попался упрямый. Встречаются же такие типы, которые что только не придумают, лишь бы испортить человеку настроение.

— Смотрите, сейчас что-то будет, — сказал Сильвестре.

Нечего было ему соваться, потому что я тоже заметил, как две машины, одна красная “импала“, другая черная, “кадиллак“, вылезли на середину шоссе и так, не сворачивая, неслись навстречу друг другу. Я не успел зажмуриться (почему-то подумал, что осколки стекла и металла могут поранить мне глаза), как черный “кадиллак“ взлетел на воздух, перепрыгнул через “импалу“, спустился на шоссе и, визжа и приседая, юзом заскользил наискосок к обочине. В “импале“, наверно, тоже нажали на тормоз, ибо она остановилась метрах в двадцати на другой стороне шоссе. Водители выскочили одновременно, один толстый, в белом костюме, другой еще толще, в спортивной рубашке, и бросились, размахивая кулаками, на середину шоссе. Тут же остановились еще машины. Подъехал полицейский мотоцикл. Полицейский забрал у обоих водителей права, а те кричали непристойные ругательства, обвиняя друг друга в нарушении правил уличного движения.

Я смотрел на них, пока не надоело, потом повернулся к своему собеседнику.

— Что вы улыбаетесь? — спросил я.

— Вам не показалось, что произошло нечто необыкновенное? — поинтересовался этот кретин.

— Необычайное? — возмутился я. — Обыкновенная история. Давно пора навести порядок на дорогах. Эти лихачи гоняют как сумасшедшие.

— Но вы заметили? — спросил Сильвестре.

— По-вашему, я слепой! — оборвал я его. — Ну что тут особенно замечать? Ну что? В стране ежедневно происходит триста семьдесят одна катастрофа. Открываешь га-

зету — сплошные аварии... В кои веки выбрался отдохнуть, посидеть спокойно... Ладно, Сильвестре, извините, я, возможно, наговорил резкостей. Вот, кстати, наш официант.

Официант подходил, прихрамывая, неся на большом подносе две маленькие чашки. Сильвестре посмотрел на него, и в то же мгновение официант, словно птица, взмыл вверх и повис под самым потолком. Потом, как бы паря на невидимых крыльях (а может, большой поднос заменял ему плоскости?), он стал медленно снижаться, делая большие круги.

— Во дают, — сказал кто-то за соседним столиком.

— Реклама, — ответил другой.

Больше на официанта никто не смотрел. А я следил за ним, потому что на левом ботинке официанта развязался шнурок и я боялся, что ботинок вот-вот свалится кому-нибудь на голову.

Минут через пять официант коснулся пола, присел, выпрямился и подошел к нам. Глаза у него были, как у загнанного животного, но, видимо, тут действовала профессиональная выучка. Он молча поставил наш кофе (из чашек не пролилось ни капли — иначе бы я закатил скандал) и быстро заковылял на кухню.

— Ну? — спросил меня Сильвестре.

— Ничего, — сказал я. — Правильно соседи заметили. Рекламный трюк. Но я бы на месте хозяина нашел человека помоложе. Этот не очень переносит высоту.

— Рекламный трюк? — спросил Сильвестре, видимо, с ехидцей. — Человек неожиданно летает, как птица, и не опрокидывает кофе?

Я даже привстал.

— Простите, — осведомился я. — Вы меня действительно за идиота принимаете? Что я, в цирке ни разу не был? Обыкновенный номер: на спине пояс, за него зацеплен трос. Вот человек и оказывается под потолком.

Тут он, по-моему, даже рассердился.

— Разве вы видели трос? — спросил Сильвестре.

— Так в этом весь фокус, — ловко отпарировал я. — Если бы трос был заметен, каждый бы дурак сумел. И во-

обще, вы мне надоели. Извините, я тороплюсь. Через час на ипподроме начинаются рысистые испытания.

Я встал, оставил деньги на столе. Сильвестре сидел в глубокой задумчивости. Но у выхода он меня догнал.

— Бега — это, наверно, очень интересно. Никогда там не был. Вы меня не возьмете с собой?

— Пожалуйста, — сказал я. — При условии, что вы не будете приставать ко мне со своими дурацкими расспросами.

Сильвестре замолчал и не раскрывал рта всю дорогу до ипподрома, и на ипподроме до пятого заезда он вел себя прилично. Но дальше терпения у него не хватило.

— Интересно, — спросил он громко, но вроде бы сам себя, — здесь никогда не происходит ничего сверхъестественного?

— Сколько угодно, — милостиво заметил я, будучи в отличном настроении, ибо только что угадал дубль. — В прошлую среду пришли две такие темные лошадки, что ипподром только ахнул.

Сильвестре как-то странно взглянул на меня, и в это время по радио объявили: “В пятом заезде вместо американского жеребца Апикс-Апорт будет выступать под тем же номером русский Запорожец”.

И действительно, на призовую дорожку вслед за девятью рысаками выехала маленькая машина, похожая на “фиат-600”.

В соседней ложе заволновались:

— Кто на Запорожце?

— Наездник Флавио.

— Флавио? В него я верю. Может, поставить?

— Против Женевьёвы у него нет шансов. Смотрите, как проходит Женевьёва. Битый фаворит.

— А вдруг Женевьёва заскачет? Я все-таки поставлю на Запорожца.

— Вы старый игрок, а рассуждаете, как мальчишка. У русских машин слабые моторы. На бетонной дорожке у Запорожца были бы какие-нибудь шансы, а на гравии — ноль. Скорее придет Трибун. Смотрите, как лихо идет этот жеребец! Причем наездник еще его сдерживает.

Я послушал их разговоры и тоже побежал к кассе ставить на Запорожца. Не то чтоб я в него верил, но уж такой характер — играть против фаворитов.

Дали старт. Бег повела Женевьева, за ней держался Трибун. Так прошли полкруга. Но вот справа стал вырываться Запорожец. Вот он обошел лидеров на корпус, на два корпуса, один, идет один, его никто не достает! Последняя прямая! Ну!

— Кажется, приехал! — завопил темпераментный господин из соседней ложи, который тоже поставил на Запорожца. — Давай, милый! Только бы не заскакал!

И словно он накликал! Запорожец в десяти метрах от финиша вдруг сбился в галоп и так и прошел — галопом в столб! Плакали мои денежки!

Первой объявили Женевьеву. А этот кретин Сильвестре с глупой ухмылкой спрашивает меня:

— Вы не заметили ничего сверхъестественного?

— Как не заметил! — заорал я. — Любой сопливый мальчишка заметил. Ну как он мог заскакать? Как, спрашиваю?! Ему кто-нибудь мешал? Кто-нибудь сбивал? Ведь рядом никого не было! Флавио сделал нарочно. Конюшня играла на Женевьеву, поняли? Им невыгодно было, чтобы пришел Запорожец. Грубая работа. Все заметили. Ипподром их освистал. Слышите?

Возвращались мы с бегов какие-то смурные. Я был раздосадован, что проиграл все деньги, а Сильвестре, кажется, тоже был чем-то опечален.

На перекрестке бульваров Конкистадора и Рио-Гранде мы остановились.

— Значит, вы не верите в чудеса? — тихо спросил меня Сильвестре.

— Какие еще чудеса? — переспросил я, поглощенный своими мыслями.

— Ну, например, дома начнут сейчас прыгать.

— Понял, — сказал я, — вы вчера перехватили. С перепоя, да? Бывает! Ну как дома могут прыгать, подумайте!

— А вот так, — сказал Сильвестре.

И вдруг, действительно, дома закачались, запрыгали.

Поднялась паника. Машины остановились. Женщины завизжали. А один седой господин сразу лег на мостовую.

— Подумаешь, землетрясение! — ответил я. — Нашли чем удивить. Дело обыкновенное. Но наши сейсмические станции работают из рук вон плохо. Надо было заранее предупредить население. Вы-то чему радуетесь?

— Как чему? — ответил Сильвестре, потупив взор. — Я его организовал. Я, извините, волшебник.

— Знаете, — возмутился я, — это уж противно. Бывают люди, общение с которыми мне неприятно. А вы вызываете у меня просто отвращение. Все печенки переворачиваются, когда я гляжу на вас. Большого лгуна и вруна в своей жизни не встречал. Если бы хоть капельку могли делать чудеса, мы бы не проиграли на скачках!

— Но вы меня не просили! — успел пролепетать Сильвестре.

— О чем я вас могу просить, врун несчастный, амеба, ничтожество! — заорал я. — У меня один выходной день в неделю. Все последующие дни я, как последняя собака женского пола, буду вкалывать в диспетчерской вокзала и возвращаться домой без задних ног — так единственный выходной вы мне испортили! Не приставайте ко мне с вашими дешевыми побасенками. Вы мне отвратительны! Слышите? Если вы и впрямь хоть что-то умеете, то провалитесь сквозь землю!

И он провалился. Я еще посмотрел по сторонам — нигде его не было.

Землетрясение кончилось. Женщины успокоились. Машины заскользили как ни в чем не бывало. Седой господин встал и, ни на кого не глядя, деловито стряхивал пыль с брюк.

Но, кстати, своим исчезновением Сильвестре меня не удивил. Лучшие друзья, когда я им давал в долг, тоже словно сквозь землю проваливались, так я их больше и не видел, а этот фрукт сбоку припека...

Теперь, когда я попадаю на ипподром, я изредка вспоминаю Сильвестре. Надо было бы нам обменяться адресами. Он, конечно, малый со странностями, говорит много

глупостей, но такие нахалы и вруны иногда очень здорово угадывают лошадей. Тут бы он мне пригодился.

Часто, возвращаясь по шумным улицам, я всматриваюсь в лица толпы, надеясь увидеть Сильвестре. Но это занятие бесполезное. У меня скверная зрительная память. Из-за нее столько неприятностей по службе. А если как-нибудь ко мне подойдет Сильвестре и скажет: “Добрый вечер“, — я все равно его не узнаю.

3. ТАНК

Танк вылез из-за холма, понурый и тяжелый. На секунду он остановился, повел пушкой чуть вправо, чуть влево — словно слон хоботом, словно принюхивался — и пополз на нас, устало переваливаясь по твердым, запеченным солнцем буграм.

Хуан лихорадочно рыл окоп. Струйки пота стекали с его голых плеч.

— Мы спрячемся, — сказал Хуан. — Как жалко, что наши товарищи не оставили нам противотанкового ружья.

Над танком кружили самолеты. Они сбрасывали маленькие бомбы. Бомбы с глухим звоном отскакивали от брони и взрывались — издали можно было подумать, что падают мешки в воду, подымая фонтанчики брызг.

— Танк американский, — сказал я. — Какая-то необычная броня. Правительство закупило их на севере. Мы бессильны.

Самолеты ушли. Танк приближался. Я не верил окопу. Он не спасет нас.

— Хуан, — сказал я, — кто из нас останется живой, найдет тело другого и похоронит. Я побегу к городу. Может, танк последует за мной. Может, он заблудится в пальмовой роще. Может, он вообще свернет в сторону.

Хуан молча кивнул и прыгнул в окоп. Он лег ничком. Я видел, как напряглись его мускулы, словно он хотел вда-

виться в дно окопа. Сверху на его мокрую спину посыпались тонкие струи земли.

Я побежал. Началась пальмовая роща, и я петлял между деревьями, и солнце очень пекло в затылок, и я не видел, нашел ли танк окоп Хуана, но чувствовал, что танк неторопливо следует за мной. Был момент, когда мне показалось, что он совсем близко и скоро ткнет дулом пушки мне в спину. Я подумал, что лучше остановиться, что это глупо — быть раздавленным, как кролик, — а там, в танке, молча жуют резинку и даже не притормозят, не взглянут на то, что останется от меня. Я подумал, что, может, надо остановиться, повернуться, широко расставить ноги, распрямить плечи и показать танку язык или кукиш. Это было бы необычно. Тогда, может, танк меня объедет, танкисты откроют люк, чтобы взглянуть получше на меня, — тогда бы я что-нибудь придумал.

Но я не поддался этим мыслям и скоро перестал чувствовать за собой горячее дыхание преследователя.

Город был пуст. Я нашел своих детей, притихших в пустой комнате, и свел их в подвал и запер дверь два раза на ключ. Потом я поднялся на третий этаж. Окна на всей улице были закрыты ставнями, на дверях висели большие замки, а на середине мостовой валялась пустая консервная банка.

Я прислушался. Ни скрипа, ни шороха. Только издали нарастало, приближаясь, урчание танка.

Наверно, наши товарищи специально эвакуировали жителей города, подумал я. Наверно, где-то за рекой они создали непроходимый оборонительный вал. Пока танк туда дойдет, они, наверно, что-нибудь приготовят. Главное — остановить танк.

Я верил в своих товарищей. Среди них были умные ребята, и они должны были предвидеть, что правительство закупит танки на севере. Наверно, товарищи что-то приготовили, необычное и неожиданное.

Урчание танка приблизилось, и я понял, что он оказался в конце улицы. Я отошел от окна. Я знал, что главное — не высовываться. Если я выгляну, танк заметит меня. Если я даже погляжу на него сквозь маленькую щель,

он почувствует мое присутствие. И тогда меня не спасут ни этажи, ни лестницы. Стоит только взглянуть на него, как в танке срабатывает электронное устройство. Пулемет тут же стреляет по глазам. Я читал про это в какой-то книге. В городе танк включает электронного наводчика пулемета. А если мне остаться в глубине комнаты — еще лучше, если закрыть глаза, — то он пройдет мимо, туда, где товарищи уже подготовили непроходимый вал обороны. А я тогда побегу обратно, посмотрю, жив Хуан или нет.

Так я уговаривал себя, а сам в это время уже стоял внизу, у закрытой двери, и знал, что, как только танк поравняется с моим домом, я распахну дверь и выскочу на улицу.

Делать это бессмысленно. Граната, что зажата в моей руке, отскочит от танка, как маленький камешек. Ведь броню танка не пробивают даже авиабомбы. Более вероятно, что я не успею бросить гранату, ибо тут же упаду, переломанный пулеметной очередью. Но я ничего не могу с собой поделать.

Я знаю, что мне надо распахнуть дверь.

Все мы погибаем по собственной глупости. Сейчас это произойдет со мной, если только мне все не приснилось.

4. ДВОЙНИК

Приятель выглядел несколько смущенным.

— Понимаешь, — сказал он, ведя меня в гостиную, — с каждым, конечно, случается, но от тебя, право, не ожидал. Ну, то, что ты напился как свинья, этого с тобой не бывало, но когда-нибудь должно было произойти. И почему ты бросил бутылку в бедного Гаспара, никто не понял. Потом разбил наш фамильный сервиз — некоторые, конечно, так и развлекаются, — но ты же знаешь, что у меня не очень хорошо с деньгами. Однако полезть в присутствии гостей к моей дочери и откровенно склонять ее к сожительству — это уж, амиго, слишком.

Можете себе представить, как я был поражен.

— Ты бредишь, приятель! — воскликнул я. — Когда же, по-твоему, я это натворил?

— Как когда? — удивился он. — Вчера весь вечер ты был у меня.

Я возмутился.

— Если ты хочешь меня разыграть, то придумай что-нибудь получше. Вчера целый день я сидел дома. Моя жена и теща могут это подтвердить.

Мой приятель густо покраснел.

— Как, это был не ты? Мне тоже так показалось. Поведение этого нахала так разительно отличалось от твоего, что я было подумал... Но, увы, он как две капли воды похож на тебя, одет так же и, очевидно, подслушал некоторые твои любимые словечки.

Господи, у меня появился двойник!

Дальнейшая моя жизнь превратилась в сущий ад. Этот тип начал посещать моих знакомых, вечерние кафе, где я изредка бываю, он даже провел один вечер с сеньоритой Сильвией — и всюду пакостил. В кафе он не платил по счету и брал деньги взаймы у официантов, в гостях дебоширил, сеньориту Сильвию оскорбил в лучших ее чувствах. Он сумел пробраться к моему начальнику и выплеснул на него пузырек чернил.

Потом, когда после долгих моих унижений и выяснения подробностей приятели, сослуживцы и официанты убеждались, что это был не я, они обычно извинялись: что хорошо, дескать, что им, дескать, было бы обидно, что им, дескать, было бы неприятно, если бы я так неожиданно изменился к худшему.

Но мой двойник продолжал хулиганить и строить каверзы, и все мои знакомые, встречаясь с ним, по-прежнему принимали его за меня.

Я стал выслеживать двойника. Я устраивал засады. Однажды я чуть было не догнал его, когда днем на нашей улице он учинил безобразную драку с почтенным генералом доном Михаэлем. В тот раз я появился буквально через секунду после того, как мой двойник нанес последний удар дону Михаэлю. Все соседи видели, как я бежал за

двойником, но этот проходимец успел сесть в такси, а другого такси поблизости не оказалось.

Бессонными ночами, строя различные планы, как изловить нахала, я все чаще задумывался над поведением моих друзей, приятелей и знакомых.

Все знают, что я абсолютный трезвенник, примерный семьянин и добросовестный служащий. Я никогда ни у кого не беру в долг, даже в самом жарком споре не повышаю голоса. Тогда почему друзья-приятели все аморальные поступки моего двойника так охотно приписывают мне?

А двойник не прекращал своей деятельности, наоборот, он разнообразил свои каверзы, совершал еще большие мерзости — и все опять принимали его за меня, а мои бесконечные попытки накрыть подлеца на месте преступления терпели неудачу.

Иногда мне хочется бросить преследование. Ведь я могу тоже получать выгоду от существования двойника. Я могу брать и не возвращать долги, сбегать из кафе, не расплатившись, пьянствовать, соблазнять знакомых женщин, грубить начальству — а потом все сваливать на двойника. Я могу совершить крупную растрату денег — ведь потом все поверят, что это сделал мой двойник. А деньги мне очень нужны. В семье трое детей, а жалованья мне не прибавляют.

Увы, я никак не могу решиться. Я остаюсь тем, каким был. Воспитание мешаст, что ли?

А двойник мой знай себе гуляет...

И только временами, когда становится уж слишком мучительно и противно от всеобщего свинства, я даю себе слово, что, так уж и быть, попытаюсь изменить свое поведение со следующего понедельника.

5. ПОСЕТИТЕЛИ КАФЕ

В это кафе ежедневно в течение двадцати лет Герсон ходил обедать. И сегодня Герсон привычным движением толкнул легкую дверь и застыл.

Все столики были заняты.

За всеми столиками, выставив локти, или откинувшись на спинку стула, или уткнувшись в газеты, или доедая бифштекс, или помешивая ложечкой сахар в чашке кофе, сидели... Герсоны.

Да, он узнал себя. Вот у самого входа Герсон без галстука, с унылым выражением на лице тупо уставился в рюмку коньяка. Герсон вспомнил: таким он был год назад, когда узнал, что на службе его обошли с повышением. Он тогда с горя заказал рюмку коньяка, хотя никогда не пил днем.

А вот там, в углу, сидит совсем молодой симпатичный Герсон. Он проворно пожирает бифштекс. Все правильно — таким Герсон был лет двадцать назад, когда только поступил на службу. У него тогда были густые черные волосы и взгляд безмятежный, полный ложных иллюзий.

В центре, лицом к двери, Герсон лет на пять старше ошипывает крошки от куска хлеба. Его взгляд сосредоточенно устремлен в одну точку. Этого Герсона только что назначили старшим диспетчером. Должность многообещающая. И в голове у Герсона одна честолюбивая мечта сменяется другой. Дескать, через год своим умением и находчивостью он привлекает внимание генерального директора компании. Герсона назначают начальником станции. Проходит еще некоторое время, и Герсон предотвращает катастрофу, грозящую вывести дорогу из строя. Герсона вводят в директорат компании, а скоро он становится первым заместителем. Он получает большой оклад плюс солидный акционерный пай. У Герсона своя машина, загородный особняк, его приглашают вступить в аристократический клуб. Когда человека охватывают такие мечты, разве ему до кофе? Поэтому он нервно ошипывает горбушку, а взгляд устремлен в одну точку.

Рядом с этим честолюбивым Герсоном — другой Герсон. Лет на десять старше своего соседа. Он сидит, безвольно откинувшись на спинку стула. Этого Герсона заели семейные неприятности. В его семье уже двое детей, цены на рынке растут, жена устраивает скандалы. Жена опусти-

лась — целыми днями не вылезает из халата, ходит непричесанной. Трудно узнать в этой рано увядшей женщине загорную Лючию с упругими загорелыми бедрами — именно такой была его жена, когда Герсон впервые увидел ее весной на пляже.

В другом углу, у стойки, сидит Герсон в новом костюме. Этот Герсон еще сравнительно молод, и глаза блестят — он вчера сделал предложение Лючии стать его женой, и сегодня, перед решающим свиданием, он весь в нетерпении.

Обрюзгший Герсон в мятой сорочке сидит спиной к входу, тупо хлебая бобовую похлебку. Он только что из больницы, настроение паршивое, к тому же еще врачи прописали строгую диету. Этот Герсон, может, впервые понял, что его жизнь идет к закату, розовые мечты испарились — дай Бог дотянуть до пенсии.

За столиком у стенки три Герсона смотрят друг на друга. Первый уставился в чашку с кофе — неприятности с замом, некогда даже подумать о чем-либо постороннем.

Второй Герсон радостно оживлен. Он только что случайно достал билет на футбол “Амазония — Аргентина”.

Третий Герсон угрюм. И зачем черт его понес на этот матч? Амазония проиграла, да еще он проспорил начальнику большую денежную сумму, уверяя, что Гугу обязательно забьет гол. Придется отдавать все премиальные. А жена на эти деньги рассчитывает купить мебель, — словом, не жизнь, одно расстройство.

Герсон не успел рассмотреть и вспомнить остальных Герсонов, сидящих за столиками, потому что дверь, которую он толкнул, входя в кафе, к этому времени уже дошла до упора, стукнулась о него и, медленно набирая скорость, пошла обратно. Она бы наверняка здорово ударила Герсона по лицу, но он в последнее мгновение сориентировался и выставил ногу.

6. ЗЕЛЕННЫЕ КАПЛИ

У нас в Амазонии отвратно обстоит дело с медицинским обслуживанием. Когда я вижу человека в белом халате, то перехожу на другую сторону улицы. Мое счастье, что они редко мне встречаются, а то бы я давно попал под машину. Мой девиз: будь здоров и забудь про докторов.

Но жена моя, как и все женщины, замученные домашней работой и безденежьем, верит в прогресс и медицину. Поэтому, когда у меня заболели глаза, она погнала меня к доктору.

Доктор — типичный ворюга, бандит и растлитель малолетних — прописал мне какие-то капли. Капли зеленые, но после них я видел белый свет в полосочку. Увы, тогда я подумал: наверно, что-то не то. Но все мы наивные люди — знаем, что доктора обманывают, однако надеемся, что именно нам повезет.

Всю неделю по три раза в день я капал себе в глаза эту зеленую отраву. А во вторник у меня вдруг мелькнула мысль: “Пойду к врачу, отдам деньги, и хватит себя мучить”. Подумал я так и взглянул на жену. А она мне говорит:

— Может, тебе пойти к врачу, отдать деньги и хватит себя мучить?

Я сразу состроил такую рожу — дескать, лично мне все равно, как скажешь, — но вообще, если честно признаться, даже удивился. Шутка ли — первый раз за семнадцать лет супружеской жизни жена меня поняла. Впрочем, я тут же успокоился: по теории вероятности это когда-нибудь должно было случиться.

Прихожу к доктору, отдаю ему деньги за визит, говорю, что, дескать, спасибо, помогло, — а сам смотрю на него и думаю: “Бандит ты форменный, я за эти деньги полнедели должен вкалывать, а ты их за пятнадцать минут заработал”.

Доктор усаживает меня в кресло и вдруг начинает жаловаться: мол, пациентов мало, большие налоги, мебель в рассрочку купил, и вообще наступили тяжелые времена.

Заглянул мне в зрачки, посоветовал не читать по вечерам и стал выписывать опять какие-то капли. А тут медсестра, помощница его, крутится. Чего-то он ей сказал, чего-то она ему ответила. Эге, подумал я, ты неплохо устроился, приятель. Нечего жаловаться, что мало пациентов. Ты не скучаешь. И жена придаться не может. Вот только девочка совсем молоденькая. Ей и шестнадцати нет. А ждет не дождется, когда я уйду. Тогда вы, не теряя времени, прямо на этом диванчике...

Думаю я так и, естественно, смотрю то на доктора, то на медсестру. И прямо на моих глазах девушка становится красной и вылетает из кабинета, громко хлопнув дверью. А доктор нахмурился, разорвал рецепт и как бы невзначай, сам себе, но достаточно громко произнес:

— Между прочим, сеньорите Марии двадцать один год. Я обалдел, но поспешил откланяться.

Вышел на улицу, размышляю. Вот повезло мне: мало того, что доктор ворюга, бандит и растлитель, так он и телепат! Прав был я — подальше надо держаться от медицины. Поближе вот к таким сеньоритам.

Это мои мысли переключились на высокую девушку, что шла впереди в красной, очень короткой юбке. Ноги у нее были как у манекенщицы, а то, что выше... Эх, старость не радость. Да при чем тут старость? Был бы я богатым, я бы предложил сеньорите пообедать со мной в ресторане, а потом бы снял номер в гостинице да подарил бы девушке двести крузейро. Она бы и забыла, что я человек уже не первой молодости. Так я иду за ней и так думаю. И ничего предосудительного в моих мыслях нету. Это же все мечты.

А девушка оборачивается, смотрит мне в глаза таким долгим взглядом, усмехается и говорит:

— Топал бы ты, папаша, домой, к жене. А по гостиницам я не шляюсь. И на меня у тебя денег не хватит, это точно.

Я даже вспотел. Да что они все, сговорились? Или это профессиональная интуиция?

Следующие два дня прошли нормально. На работе я по уши в бумагах, а вечером сидел дома. Правда, я заметил,

что жена как-то лучше меня стала понимать. Вроде бы это хорошо, но не тогда, когда говоришь, что хочешь выйти на улицу, купить вечерних газет, а сам намереваешься завернуть в бар напротив, пропустить рюмочку.

Но то, что со мной произошло в среду, меня крайне расстроило.

Я давно собирался просить у начальника прибавки. И вот выдался подходящий момент, и я зашел к нему в кабинет.

Начальник наш оригинал. В кабинете у него стоит кофейничек, и он сам варит себе кофе.

Я еще с порога почтительно так говорю:

— Прошу прощения, дон Палестино, за беспокойство. Может, помешал? Но если вам будет угодно, не побеседуете ли вы со мной минут пять по сугубо личному вопросу?

А сам смотрю на него и думаю: “Старая свинья, хоть бы раз в жизни предложил чашку кофе”.

Начальник поднял на меня глаза, потом нахмурился и говорит:

— Конечно. Садитесь, Герсон. Извините. Прошу!

И наливает мне чашку кофе.

Сидим мы с ним молча, мешаем ложечками сахар. Я специально положил в свою чашку один кусок, а не два, как обычно. Пусть начальник не думает, что я нахал. Но с чего бы мне начать? Может, с того, что я уже двадцать два года работаю на фирму, а у меня нет даже приличного выходного костюма? Или лучше о детях сначала поговорить? Дескать, растут, есть хотят, одевать их надо, старшая дочка совсем уж невеста? Или на здоровье пожаловаться? Впрочем, нет, а то еще возьмет и уволит. И вдруг взглянул на начальника, на его худое замкнутое, я бы сказал — законсервированное, лицо, и такая меня тоска взяла... Ну разве войдет этот сухарь в мое положение! Разве поймет он нас, бедных людей!

А начальник посмотрел на меня и улыбнулся.

— Не смущайтесь, Герсон, я ведь тоже в молодости нужду испытывал.

Я оторопел, но потом решил: эх, была не была...

— Дон Палестино, — говорю я, — мне уже сорок семь

лет. Двадцать два года я работаю на фирму. И каждую пятницу (а в голове мелькнула старая песня: “И каждую пятницу, лишь солнышко спрячется, тигры едят под бананом”, — но эти слова я, конечно, не сказал, а сказал другие) жена бежит к соседям занимать деньги.

Начальник, который не спускал с меня глаз, засмеялся, закашлялся, достал платок, вытер губы.

— Да, — говорит, — забавная песня. Я тоже ее помню. Как там дальше? “Банан опаршивел и высох...”

— “И тигры давно облысели, но каждую пятницу, лишь солнышко спрячется, кого-то едят под бананом”, — продолжал я в совершенном смятении, в полной растерянности.

— Вот мы тоже, дорогой Герсон, — сказал начальник уже прежним, обычным тоном, — высохли и облысели. Я понимаю ваши затруднения...

“Кажется, вовремя попал я к нему”, — подумал я и с надеждой взглянул на начальника.

— Вы не теряйте надежды, — сказал начальник. — Как только изменится конъюнктура и увеличатся фонды, я непременно о вас вспомню.

— Благодарю вас, дон Палестино, очень вам признателен, — лепетал я, а про себя думал: “Опять старая песня, сколько раз мы это уже слышали. Ну вот лично ты получаешь большие деньги. Начальник! Директор! А зачем они тебе? Детей нет. С женщинами тебя никто не видел. Импотент, что ли? И худой, как жердь. Не в коня корм. Или, может, у тебя глисты?”

А начальник перехватил мой взгляд, запнулся, и лицо его посерело.

— Герсон, у нас всегда были с вами хорошие отношения, — сказал начальник, — что будет в моих силах, сделаю. У каждого свои неприятности. У меня, например, язва. Вот и хudeю... Идите работайте.

Я был настолько расстроен, что до меня не скоро дошел смысл его последней фразы.

— Большое спасибо, дон Палестино, — почтительно сказал я, — я всегда к вам относился с огромным уважением!

“Старая крыса, давно помирать пора“, — мелькнуло у меня в голове.

Начальник покосился на меня в последний раз, зажмурился и отвернулся.

Вечером я со своим старым другом Хуаном сидел в баре. Мы здорово надрались. Хуан был весел (он всегда в хорошем настроении, когда есть что выпить) и рассказывал мне старые анекдоты. А я сам вроде бы улыбался, поддакивал, а настроение у меня было отвратительное. “Жизнь сложилась неудачно, — думал я, — прибавки к жалованью мне не видать, и вся радость — смотреть на пьяную рожу Хуана да слушать бородатые истории. И почему он должен пить всегда за мой счет? Что я, миллионер? Ишь как бутерброд пожирает! На дармовщинку!“

Клянусь, что последние мысли про Хуана промелькнули просто так. Мало ли что случайно приходит в голову.

Хуан тем временем придвинул рюмки, взглянул на меня прозрачными любящими глазами, и вдруг его словно ударили. Он заморгал, губы его зашевелились, и он... заплакал.

— Что я виноват, что у меня нет денег? — бормотал он. — Ты знаешь, как только в кармане появляется лишний крузейро, я сразу приглашаю тебя в бар. Но у меня шестеро детей, а зарплата в два раза меньше твоей. Я все понимаю. Я помню, что пью за твой счет...

— Хуан, милый, опомнись! — закричал я в отчаянии. — Ты с ума сошел? Давай еще закажем бутылку. Я всегда рад тебе. Ты мой единственный друг! Ну как ты мог подумать?

— Я и не думал, — плакал Хуан. — Но я взглянул в твои глаза, а в них прямо читалось, что я пью за твой счет. Словно черным по белому было написано!

И тут я только сообразил, что сделал со мной этот проклятый врач! Значит, вот как подействовали его зеленые капли!

Еле-еле я успокоил Хуана. И в конце вечера мы так поднабрались, что я не помню, как дополз до дома.

Утром перед работой я зашел в магазин и купил себе дымчатые очки.

Теперь я снимаю их только на ночь, когда гашу свет, перед тем как лечь в постель.

Жена моя опять перестала меня понимать, но это, пожалуй, меня только радует. Люди не оборачиваются, когда я пристально смотрю на них. Дон Палестино вежливо со мной раскланивается. С Хуаном мы по-прежнему друзья.

Иногда, когда за окном идет дождь и кажется, что в комнату вползают сумерки, мне трудно проверять отчеты сквозь дымчатые стекла моих очков. Серые колонки цифр совсем сливаются с серой, плохой бумагой. Но на мое счастье, в Амазонии так много прекрасных солнечных дней.

1966

ДОМОВЫЙ ЖЭКа № 13

(Детектив по-советски)

1

Все началось, как и всегда начинается, в один прекрасный день, когда майор Хирга пригласил меня на “ковер” и строгим, хорошо отработанным начальственным голосом, не допуская ни малейшего возражения с моей стороны, приказал заняться делом гражданки Бурдовой.

Тут же в кабинете я пролистал тоненькую папку, а тем временем майор Хирга изо всех сил изображал из себя гордый и неприступный айсберг. Он колыхался за столом, обдавая меня потоками служебно-делового холода, что, по моим наблюдениям, свидетельствовало о немалом смущении начальства.

— Вопросы есть? — рявкнул майор Хирга, пытаясь сохранить в кабинете суровый арктический микроклимат.

Вопросы были. Первый и естественный — за что? Меня так и подмывало спросить: “Александр Ильич, ну чем я перед вами провинился? Ведь я никому не мешаю, наверх не рвусь, никого не подсиживаю, и вроде у нас с вами были отношения дружественно-субподрядческие”. Итак, первый вопрос мог быть чисто личного свойства. Зато второй напрашивался сугубо мундирно-амбициозный: с каких это пор старшие оперуполномоченные Московского уголовного розыска — МУРа — должны заниматься розыском старых тряпок? Конечно, согласно статистике, в Москве преступность ежегодно планомерно снижается, однако не до такой степени, чтоб нас вдруг заинтересовали дела, влезать в которые сочтет ниже своего достоинства даже самый тупой и ревностный участковый.

Лично на мне до сих пор “висит” похищенный пистолет, изнасилование в подъезде, и Бог ведает, когда я со

всем этим расхлебаюсь. В конце концов есть такое понятие: “честь мундира“. Но тут же у меня в голове по ассоциации всплыло “честь картошки в мундире“, “часть картошки в мундире“ — и чтоб не ляпнуть чего-нибудь, я постарался забыть о своей амбиции, проглотил ее, как кусок картошки без мундира, в мундире, тьфу ты черт!..

Что же касается вопросов по существу, то тут — спрашивай не спрашивай, а результат можно было предсказать заранее. Дело было тухлое, безнадежное, абсолютно нераскрываемое. Вообще-то за Московским уголовным розыском числилось много славных деяний. Бывало, когда сотрудник в одиночку разматывал ниточку и выходил на большую, хорошо законспирированную шайку-лейку. Бывало, когда вся милиция города Москвы вкупе с Комитетом и частями военного округа сообща ловила, и в конце концов успешно, убийцу-маньяка. Но чтоб какой-нибудь, пусть самый выдающийся муровец, один или с помощью всего министерства, нашел пропавшие старые галоши — такого в нашей истории еще не отмечалось. То есть галоши пропадают, и в большом количестве, только никто никогда дела на них не открывает.

И вот мне подарочек! Как говорится, кинули подлянку... У гражданки Бурдовой свистнули старое пальто и хозяйственную сумку. Гражданка Бурдова имеет место проживать в коммунальной квартире, и если это не запойное выступление алкоголика-соседа или проба пера его сына-шестиклассника, то злополучное пальто гражданки Бурдовой будет переползать за мной из одной отчетности в другую и никакой Шерлок Холмс не отделается от этой компрометирующей страницы своей карьеры.

Видимо, это прекрасно понимало мое дорогое начальство, да, наверно, у начальства не было другого выхода, видимо, начальство приперли — и поэтому оно, опасаясь, что я начну отчаянно качать права и взывать к совести, сознательно нагнетало атмосферу ледникового периода — “да“, “нет“, “слушаюсь“.

— Нет вопросов! — и я встал, чтоб отчалить в коридор.

— Подожди, Вадим Емельянович, — начальство оттаивало на глазах, и в воздухе пахло водорослями Гольфст-

рима. — Что и говорить, материалец занозистый, не разбежишься. — (“Сейчас он достанет платок и начнет долго сморкаться, классическая ремарка, заполнение паузы“, — подумал я. И точно.) — Но, — продолжал майор, — эти пенсионеры, мать их... — (Подробности про ихнюю мать, которые доверительно сообщил мне майор, я благоразумно опускаю). — Да житья от них нет! Вот, жалоба от Бурдовой, копия в исполком, копия в “Правду“, копия в “Известия“, копия в Верховный Совет. Хочешь почитать, что она пишет про милицию? Участковый у нее “разбойник“, а в райотделе — “самогонщики“. Читай, наслаждайся!

— Не хочу, — сказал я, — эту классику не раз проходил. А случайно, уважаемая бабушка не “чайник“?

Майор как-то странно глянул на меня, и я почувствовал, что слегка краснею. Ну конечно, он проверял.

— Нет, Вадик, — вздохнул майор. — На учете в психдиспансере она не состоит... Здоровая бабуся. — Северный циклончик на секунду повис над столом — и поделом: не сомневайся в начальстве. Снова пахнуло Гольфстримом. — Ладно, Вадик. Если б не резолюция с а м о г о, я бы как-нибудь отбрыкался. А то — “срочно разобраться и доложить“. На тебя вся надежда. Посмотри, покопайся. Попробуй умаслить старушенцию. А в крайнем случае мы в отделе по рублю скинемся и на Преображенке ей вскладчину другое пальто приобретем. Модное. И на сумочку сообразим.

Словом, майор здорово рассуждал и портить радужную процентовку отчетности было явно не в его интересах. Но зачем он заранее меня отпевал?

И я несколько обиделся.

* * *

Не стоит вспоминать, как меня поздравляли в отделе. И немудрено: это было время, когда на телевидении свирепствовали супруги Лавровы, и каждая их новая серия “Следствие ведут знатоки“ вгоняла страну в паралич. Не то чтоб жизнь на улицах прекращалась — но заводы останавливались в вечернюю смену. “Знатоки“ на телеэкране

изошрялись в остроумии, и поэтому у нас считалось модным иронизировать друг над другом. Вообще-то отношения наших профессионалов к этому “дефективу” было критическим, а уж песенка “Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...” вызывала зубовный скрежет у всех муровцев без исключения.

Но что любопытно: сама манера поведения телевизионных следователей понравилась, более того, прижилась. И я честно подставил свою голову под ушат отдельского юмора, понимая, что вряд ли у ребят выпадет еще повод так повеселиться. Для справки сообщаю: следователи МУРа, в отличие от своих экранных собратьев, заняты в основном скучной работой — читают бумаги, сочиняют бумаги, подшивают бумаги.

И вот, когда все вернулись к своим привычным занятиям, я подсел к Пете Гречкину (как вы уже догадались, Гречкин был единственным человеком, не принимавшим участия в конкурсе “веселых и находчивых”) и тихо рассказал ему, что я думаю про это дело и что думает майор Хирга. Дядя Петя (он был самым старшим из нас по возрасту) не блистал интеллектом, а злые языки поговаривали, что вбить в Гречкина новую мысль можно только из противотанкового ружья, однако от своих молодых коллег, окончивших юрфак и способных более или менее связно бормотать про теорию Ломброзо и парапсихологию, дядя Петя отличался тем ценным достоинством, что он знал нашу службу с самого начала: был постовым, участковым, младшим опером в отделении и привык барахтаться в тихих заводах коммунальных квартир еще с эпохи примусов и керосинок.

— Влип ты, Емельяныч, — сказал дядя Петя. — Замки в коммуналках открываются пальцем или спичкой. Тебе покажут гвоздь — вот здесь висело пальто и сумка. Ты подергаешь гвоздь и больше никаких улик или вещественных доказательств не найдешь. Хреновая ситуевина!

— Зачем же наш “вождь” мне такую гирю на шею повесил?

— А ты посиди на месте Ильича (имелся в виду наш начальник Александр Ильич). Знаешь, на чем у нас горят? На жалобах трудящихся. Я с Хиргой давно работаю. Он

ножа не боится, но как попадает ему сопроводилка, да косая резолюция красным карандашом... Была резолюция?

— Показывал.

— Так вот, от этой резолюции его в дрожь кидает. Но ты не дрейфь. Хирга — мужик толковый. Сказал тебе, чтоб умаслил бабушку — вот, в этом и ключ. Бабка шустрая, ей известно, что по закону положено расследование. А раз по закону положено, то она своего не упустит, до Совета Министров дойдет. Емельяныч, ты человек интеллигентный, в театры ходишь. Так сделай видимость — дескать, вся милиция на ноги поставлена: не спит, не ест, похитителя ее сумки ловит. Главное для твоей Бурдовой, чтоб она могла перед соседками похвастаться: вот, мол, органы ее уважают, всерьез за дело взялись. Твоей Бурдовой что важно? Внимание. Милиция ей внимание окажет, глядишь, она и успокоится, заявление назад возьмет. Тогда ты иди к “вождю“, ногой дверь распахивай и пол-литра требуй. Поставит на радостях.

2

Я позвонил в квартиру 33. Долго ворчал замок. Дверь приоткрыли на цепочке.

— Мне Бурдову Нину Петровну.

— Это я. А ты кто?

— Здравствуйте, я из милиции.

— Покажь удостоверение. Да не прячь, давай его сюда. Так. Чегой-то не похоже. Твоя книжечка? Приятель мог дать... Много вас здесь шастает. Я Василь Василича, нашего участкового, на чай приглашала. Так смотри, проверю... Ладно, входи.

Прихожая коммунальной квартиры. Три комнаты. Три семьи. Три отдельные вешалки. Сундук. Ящик. Ключ у соседей торчит в двери.

— Соседи дома?

— На работе. А ключ они оставляют специально. Если что пропадет — на меня свалют.

— Пропадало?

— Так разве у них вещи? Я за своей сумкой час в ГУМе простояла. Польская! Восемнадцать рублей.

— Где висело пальто?

— Вот на этом гвозде. И сумка тут тоже была. Мой гвоздь.

Потрогал гвоздь. Пока все идет, как и предсказывал Гречкин. Достал лупу. Специально в фотолаборатории попросил. Самую большую. Обследовал гвоздь. Через лупу стал внимательно дверь изучать. Нина Петровна почтительно задышала за спиной.

— Чего ищете?

— Отпечатки пальцев.

— Так бы сразу. А то мальчишек присылают... Вы когда этого бандита поймаете, вы ему скажите, чтоб мне новое пальто не покупал. Пусть деньгами отдаст. Сейчас таких не делают. Одна мода и мини. Наденешь — срамота и тепла никакого.

— Давно пальто справили?

— В пятьдесят восьмом.

Я смерил рулеткой расстояние от гвоздя до двери.

— А это зачем?

— Вдруг вор, чтоб следов не оставлять, дверь открыл и пальто снял...

— Что я говорила! Мальчишки из отделения твердят: никаких следов, никаких следов! Вот, значит, как бывает! Слава Богу, толковый опер попался.

— Нина Петровна, выйдите на лестницу и откройте дверь ключом. А я послушаю — сильный ли шум.

— Нет, милоч, не выйдет. Он в квартире, а я из квартиры! У меня на кухне яйца диетические! Нет, ты уж выходи, а я послушаю.

Долго я возился с ключами. Замки особенные. Дверь пальцем не откроешь.

Прошел я в комнату соседей, измерил форточки.

— Это зачем?

— Вдруг очковая кража...

— Чего?

— Да через форточку!

— Как же они забрались? Второй этаж!

— Машины есть специальные, провода чинят. Договорились с шофером, подогнали машину.

— Я-то дура, форточку держу открытой. Ну а машину найдете?

— Куда она денется. Все машины проверим.

— Вот это солидно! А то говорят: нет следов, нет следов, сама сумку потеряла... Как же я ее потеряю, ежели в ней бутылки были!

— Какие бутылки?

— Пустые, сдавать собиралась.

— Бутылки с этикетками?

— А как же. Из-под “Столичной”... ну, разные там были.

— Вот вы садитесь и запишите, из-под чего бутылки. Вспоминайте.

— А для чего вам?

— По бутылкам найдем.

— Так ведь многие сдают. Нынешний народ — сплошь алкоголики.

— Мы при помощи электронной машины подсчитаем. Техника.

— Ну, техника — другое дело. Так бы сразу... Эй, куда же вы?

— К соседям. Может, кто чего заметил. И учтите, ваш дом теперь под наблюдением. Охрану выставим.

— Это хорошо. Соседи — жулики. Им особенно не верьте. Смотрите, ежели меня, старуху, обманете. Я тут с одной в очереди за молоком стояла — она в исполкоме работает. Я живо управу найду.

— До свиданья, Нина Петровна.

— Заходите, заходите.

За дверью щелкают два замка. Уф...

* * *

Вечером я сидел дома и читал книгу французского автора про частную жизнь королевы Антуанетты. Недавно откопал у знакомого букиниста, издания 1889 года, Санкт-Петербург. Проигрыватель крутил Баха, а на коленях у

меня в такт музыке урчал кот Котяра, с французской фамилией Профурсет. Котяру я получил маленьким котенком из хорошей семьи, и мамаша его, как утверждали хозяева, была благородных кровей. Однако, видимо, хозяева не уследили, и мамашу совратил на помойке обыкновенный дворовый хулиган, серый в полосочку. Котяра унаследовал от родителя “мусорную” масть и склочный характер, но я старался воспитывать кота в духе его далеких заграничных предков.

Старинные арии и соло полуаристократического Профурсета вполне гармонировали с классическим великосветским детективом: делом о похищении бриллиантового ожерелья. Красиво люди жили! Знали, что красть. На мелочи не разменивались.

Я всегда нервничаю, когда слышу стук в дверь. Стучать может только моя соседка.

— Вадим Емельяныч, чайник ставили?

Забыл, ей-Богу, забыл. Выскакиваю на кухню — чайник плюется, на плите лужа.

— Спасибо, Клавдия Матвеевна!

— За спасибо мне плиту мыть! Надоело за вами убирать.

И так всю жизнь. Крутой переход от романтических историй к коммунальным дрызгам. Се ля ви!

— Не беспокойтесь, я сам вытру.

— Сколько раз я повторяла, что когда вы запираетесь и пьянствуете в одиночку, то хоть на плите ничего не оставляйте. Вот и позавчера у вас кофе сбежало.

Из-за того, что я возвращаюсь домой в разное время, Клавдия Матвеевна считает меня личностью без определенных занятий. Она никогда не видела меня пьяным, но именно это и возбуждает ее подозрения. О своей работе я ей никогда не рассказывал, потому что убежден, что демонстрация моей красной книжечки ничего не изменит. Как известно, нет пророка в своем отечестве. И потом, это бы выглядело капитуляцией. А я воспринимаю стычки на кухне как ежедневный тренаж для воспитания спокойствия и выдержки. Иногда я все же срываюсь и задаю (как сейчас) риторический вопрос:

— Уважаемая Клавдия Матвеевна! Почему вы уверены, что я пьянствую?

— А что же вам еще по вечерам делать? Вы хитрый жук и баб к себе домой не водите. Знаете, что я их в шею вытолкаю. Телевизора у вас нет. Вот вы дверь запираете и крутите разные джазы, чтоб я ничего не слышала.

— Это не джаз, это Бах.

— Вот именно, бах — и бутылки нет.

— Клавдия Матвеевна, дверь я запираю, чтоб Котяра по кухне не бегал.

— Ну да, а как меня нет — вы его и выпускаете. Сегодня он кусок моего азу сожрал.

— Я же пришел позже вас...

— Ничего не знаю, азу лежало на столе, теперь куска не хватает. Вот видите, клочок шерсти. Как он попал на мой стол? Ясно, тут побывал ваш кот.

В ней погибает прирожденный криминалист; и вообще, спорить с ней бесполезно.

— Мясо я вам отдам.

— Мне чужого не надо. У меня пенсия. Пусть мое не тащат.

Когда я возвращаюсь в свою комнату, пластинка кончилась, а история похищения ожерелья Марии Антуанетты, честно говоря, меня уже не волнует.

Котяра преданно жметя к моим ногам. Ну, у него спрашивать про мясо бесполезно, он-то точно не сознается.

— Котяра, ты лазил к Клавдии Матвеевне?

При упоминании имени соседки Котяра возмущенно фыркает. И я ему охотно верю. Он не дурак, чтоб с ней связываться! Он давно понял, что надо держаться подальше от коммунальных террористок. Но если это даже коту понятно, то кто же осмелился покушаться на собственность гражданки Бурдовой! А гражданка Бурдова по части стервозности даст моей Клавдии Матвеевне солидную фору. Может, подшутили над бабкой? Но сегодня я еще раз заходил в тридцать третью квартиру и беседовал с соседями. Нет, им не до шуток. Они так запуганы славной старушенцией, что стараются не появляться на кухне, пока Бурдова у плиты. Нина Петровна — женщина принципиальная. Ес-

ли что не по ней, она им в кастрюли стиральный порошок сыплет. Между прочим, квартирный злоумышленник у соседей ничего не взял. А там было что брать. Значит, хищение, так сказать, целенаправленное. Отчаянный парень этот ворюга, ничего не боится. Мне бы хотелось взглянуть в его мужественное лицо.

3

По натуре я человек рефлексивный, склонный анализировать свои и чужие слова. Но на работе я стараюсь быть проще и в беседе с гражданами вот эту свою вторую аналитическую систему отключаю, чтобы в памяти сохранить только факты, пригодные для протокола. Я уже давно заметил, что мои сугубо личные впечатления о человеке только портят дело. Мое правило: сначала собрать весь материал, а уж потом давать волю эмоциям и интуиции.

...Я обходил подъезд и знакомился с милым его населением.

Квартира 34.

— Добрый день. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Я из милиции. Нас интересуют кое-какие сведения о ваших соседях. Ваша фамилия Кочеткова?

— Да. Кочеткова Вера Федоровна.

— Вы кто по специальности?

— Учительница.

— Давно проживаете в этом доме?

— Всю жизнь.

— Как у вас подъезд, тихий?

— Хороший подъезд. На соседей не жалуюсь.

— Вера Федоровна, не припомните, в вашем доме никаких краж не случилось?

— Да нет. Последние пятнадцать лет все спокойно.

— Тут из квартиры номер тридцать три у гражданки Бурдовой украли пальто и сумку.

— Скажите пожалуйста! Кому это нужно?

— Кому? Вот это мне тоже интересно. Вы ничего не слышали?

— Нет. Я все время в школе. А вечерами проверяю тетради. У меня три класса. Знаете, это часов до двенадцати сидеть приходится.

— Вера Федоровна, как по-вашему, кто-нибудь из жильцов мог украсть пальто?

— Бог с вами! Люди интеллигентные. Всегда здороваются. Впрочем, я редко сталкиваюсь с соседями.

Квартира 36.

— А, это вы разыскиваете сумку Нины Петровны...

— Как вы догадались?

— Господи! Бурдова — женщина шумная. Все, что там происходит, известно всему дому. Вот, видите, на скамейке кумушки сидят. Наша служба информации.

— А что вы сами можете сказать об этой краже?

— Ничего, ровным счетом ничего. У меня в конторе своих забот навалом. И прошу меня в это дело не впутывать.

Квартира 37.

— А правда, что наш дом оцеплен милицией?

— Кто вам сказал такую глупость?

— Нина Петровна утверждает, что мы все под наблюдением...

Квартира 49.

— Ползунова Алла Михайловна. Да, да, прошу записать. Это все молодежь нынешняя. В подъезде собираются, на гитаре поют, вино распивают. Пораспускали молодежь...

— А зачем им пальто понадобилось?

— Пальто — не знаю, а сумка — точно! Бутылки сдали — портвейн купили. Вчера иду — целуются. Мишка Попов из сорок пятой с Танькой Сердан из девятнадцатой. И куда родители смотрят?

Квартира 42.

— Теряла ли я ключ? Недавно дверь захлопнула и ключ дома забыла. Так я побежала в восемнадцатую квартиру, к Анатолию Петровичу. Милейший человек. Тут же поднялся, повертел отверткой, чик — и готово.

— А кто он, Анатолий Петрович?

— Слесарь из нашего ЖЭКа. Пшуков его фамилия. Честный парень. Всегда жильцов выручает.

Квартира 50.

— Пшуков? Известно кто — пьяница. Но нет, я ничего не хочу сказать. Он пьет только на свои. Раз в месяц у него запой. А так — в рот ни грамма. Но если говорить откровенно, то будь у меня ведьма жена, как у Пшукова, надирался бы каждый день. Вчера сел с ними в домино. У нас “рыба“, у них — одни шестерки! Так жена его не дала доиграть. При всех за руку домой потащила. Как-то несолидно. Взрослый все-таки мужчина.

Квартира 54.

— Семен Николаевич Приколото.

— Семен Николаевич, вы, наверно, слышали, что произошло в тридцать третьей квартире?

— К сожалению, да. Прискорбное происшествие. Мы, общественность дома, следим за порядком. Недавно клумбу разбили для малышей, песочницу построили. Подписка у нас всегда проходит организованно. Дом, можно сказать, был образцовым, и вдруг...

— Тут мне рассказывали, что слесарь Пшуков может открывать любую дверь. К нему обращаются, когда теряют ключи.

— А кто рассказывал?

— Это неважно.

— Понимаю. Во-первых, это входит в обязанность слесаря. Во-вторых, жильцы должны быть благодарны ему за помощь. В-третьих, очень некрасиво со стороны некоторых

наводить тень на честного человека. Пшукова мы знаем не первый год. Он, правда, пьет в последнее время. Но это дело семейное. Антиобщественных поступков за ним не наблюдалось.

— Семен Николаевич, никто не подозревает Пшукова. Мы просто проверяем, спрашиваем.

— Понимаю, служба. Но не идите по легкому пути. А то злые языки могут опорочить любого. Лично я всегда думаю о людях хорошо.

— У нас нет предвзятого мнения.

— Вы пока беседуйте с народом. Что-нибудь да найдете. Если понадобится моя помощь — всегда к вашим услугам.

Квартира 19.

— Зовите меня просто Таней.

— Таня, вы знаете гражданку Бурдову?

— Нину Петровну? Конечно, старая сплетница.

— Зачем же так грубо о пожилой женщине? У нее несчастье: пальто украли, сумку.

— Нашли дураков! Кто будет красть? Сумок таких в ГУМе полно, а пальто ее разве на чучело ползет.

— И все же кому-то понадобилось.

— Мне ее пальто даром не надо. Она сама потеряла. А может, со скуки бесится, вот и выдумала дело. Теперь ходит важная, говорит, что всю милицию на ноги поставила. Каждый развлекается как может.

— Станный способ развлечения.

— Кто как умеет. Вот вы, например, пристааете с глупыми вопросами. А ведь вы человек сравнительно еще молодой. Лучше бы пригласили девушку в кино.

Квартира 18.

— Анатолий Петрович дома?

— Нету его. Отдохнуть человеку не дают. У вас что-нибудь протекает? Обращайтесь в контору и в рабочее время.

— Извините, пожалуйста. Вы его мама?

— Очки надень. Я его жена.

- Простите. Я из милиции.
- Опять в вырезатель попал?
- Нет. Я хотел с ним побеседовать.
- Нечего с ним разговаривать. Его надо за шкуру и в тюрьму. Пьяница проклятый. Как первое число — так запой.
- Зарплата?
- Получку я еще в конторе отбираю. Я эти штучки знаю, меня не проведешь.
- Откуда же у него деньги?
- Не бойся, не ворует. Соседям что-нибудь починит, они и рады трешку сунуть.
- За что же его в тюрьму?
- На кухне полки не покрашены, а он, идол, все в домино играет.
- Вы не вспомните, в тридцать третью квартиру его давно не вызывали?
- Вызывали? Он туда сам бегаёт, кобель паршивый. Он с ней живет, с Нинкой-то.
- Бог с вами! Нина Петровна давно на пенсии.
- Плохо вы знаете мужиков. Им пол-литра поставь — они на все готовы.
- А где он сейчас?
- А где ему быть? В магазине. Он мыслитель. На троих соображает.

* * *

В этой ситуации, как нетрудно догадаться, меня больше всего беспокоил Котяра. Я приходил домой поздно, а Котяра еще позднее, через форточку. На голове и лапах у него зияли глубокие царапины. Я промывал их марганцовкой, но на следующий день Котяра приносил свежие отметины.

К счастью, наступила суббота, и я смог провести тщательное расследование.

Оказалось, что к нам во двор повадился ужасный черный кот, матерый уголовник-рецидивист. Котяра, ранее не покидавший пределы двора, решил, естественно, защищать свою законную территорию. Черный кот, хозяин-микрорай-

она, видимо, не ожидал встретить отпор со стороны комнатного интеллигента. Котяра остервенело на него бросался, и черный кот, смущенный такой дерзостью, наверно, подумал, что это неспроста. Вдруг этот серенький, рассуждал черный кот, изучил приемы каратэ или самбо? Иначе с чего он так прет? А Котяра был смел по глупости: он никогда не дрался и не знал, что в драке бывает больно. Но в конце концов преимущество черного кота в силе и опыте сказалось, и вечером я принес своего Профурсета с прокушенной лапой.

В воскресенье мы отсыпались, потом ковыляли на трех конечностях, изображая из себя ветеранов Шипки, и жалобно блеяли. Однако, как только стало смеркаться, мы резво вспрыгнули на форточку с четким намерением продолжать боевые действия и были ужасно недовольны, когда нас стащили оттуда за хвост.

4

Я завел “Бранденбургский концерт“, и чтобы отвлечь внимание кота, начал с ним беседовать на интересующие меня темы.

— Слушай, Котяра... Да не рвись, все равно форточка закрыта. Так вот, в старые добрые времена, если верить художественной литературе, преступники оставляли след — пепел на столе, пуговицу, клочок одежды. Но какие улики мог я обнаружить, явившись в коммунальную квартиру через два месяца после происшествия? Потом, раньше грабили весомо: деньги, драгоценные металлы или, в крайнем случае, бриллиантовое ожерелье. А тут старое пальто и хозяйственная сумка! Кому понадобилось это барахло? Я хожу, как дурак, и задаю идиотские вопросы. Права Таня Сердан — лучше бы в кино ее пригласил. Правда, идти в кино с девушкой — поступок ответственный... И попробуй тут повысь свой культурный уровень, когда я должен тебя караулить! Между прочим, “Ильич“, как и повелось у вождей, проявил редкую проницательность, знал, кому поручить дело. Благодаря паршивому самолюбию (кстати, тут

я на тебя, Котяра, похож) я нос себе расквашу, а раскопаю. Твой обидчик ясен: черный кот. А мой?

Может, и не было никакого “кота“? Но вряд ли Бурдова все это выдумала, чтоб милиция ей новое пальто справила. Не тот характер. Как говорит Клавдия Матвеевна — “чужого ей не нужно“. Значит, кража имела место. Берем лист бумаги, рисуем.

Кто открыл дверь?

Пшуков? Но зачем? Учитывая реакцию его жены, обходить он должен тридцать третью квартиру за три километра. Не хватало на выпивку? Так он в любой момент мог заработать законные пол-литра. Отпадает.

Вера Федоровна, тридцать четвертая квартира? “Учительница первая моя...“ Даже запел. С ней всегда здороваются интеллигентные соседи в подъезде. Воровка? Отпадает.

Тридцать шестая квартира — Моссенков? Начальник стройконторы. Просил его в это дело не впутывать. Согласен.

Ползунова из сорок девятой квартиры? Ей всюду мерещатся хулиганы, которые играют на гитаре и целуются. Ох уж эти правонарушители! Интересно, у нее самой дети когда-нибудь были? Но чтоб занять детей, надо хоть раз поцеловаться, а это для Аллы Михайловны пахнет уголовщиной. Отпадает. Впрочем, поцелуи нынче необязательны. Ладно, исследование этого вопроса отложим на будущее.

Гражданка Комиссарова, сорок вторая квартира. Чемпион по потере ключей. Хобби у нее такое. Инженер. Товарищи судьи, она невиновна! Интуиция. Рубите мне голову.

Квартира пятьдесят. Конухов, энтузиаст домино. Самостоятельный мужчина. Взять на заметку? Да нет, продолжайте, пожалуйста, товарищ, ваши игры.

Квартира пятьдесят четыре. Семен Николаевич Приколото, мой добровольный помощник, общественное око подъезда, активист домкома. Спасибо за приятное знакомство!

Квартиры пятьдесят шесть, сорок семь и т.д. К чертовой матери! Или меня, Вадика Капустина, гнать надо из МУРа.

Квартира девятнадцать. Таня! “Каждый развлекается как может. Вы, например, пристааете с глупыми вопросами“. Потенциально опасна. Я глянул на ее ноги и больше не смотрел. У моей бывшей жены, Танечка, ноги были не

хуже. Она тоже развлекалась по-своему. Но со временем мне надоело гадать, с кем она еще переспала и как именно. Древняя история, не стоит вспоминать. Теперь я никого не променяю на Котяру. Он мне не изменяет (черный кот не в счет). Котяра, пойді сюда. Ну, давай споем:

Мы кота ужасного поймали,
Мы ему по шее надавали.
Три-та-тушки, три-та-та...
Очень глупого кота!

Стучат. По небу полуночному ангел летел и спикировал ко мне в квартиру.

— Входите, Клавдия Матвеевна.

— Извините, Вадик, я ванну займу. Вам туда не нужно? Странно, думала, что у вас гости. С кем это вы разговариваете?

— С Котярой.

— Вадик, вы хоть в одиночку не пейте. Ну пусть к вам приходят, дело молодое. Я же не злыдня. Зачем себя губите? Хотите, я вам постираю?

— Спасибо, Клавдия Матвеевна! Но если я пью, — опять меня потянуло на риторичку, — то где бутылка?

— Что я к вам, с обыском пришла? Я от чистого сердца. Да с бутылки, Вадик, все и начинается.

Обиделась. Хлопнула дверь. Не умешь ты, Вадим Емельянович, с народом разговаривать. Эх, Котяра, разным там Пуаро и Мегрэ на проклятом Западе куда легче. Кругом наркоманы, сутенеры, воры, убийцы — большой выбор. А у меня? Простые советские люди! Плюс старое пальто и сумка за восемнадцать рэ. Да еще с бутылками. Удаться можно! Стоп! Права Клавдия Матвеевна. “С бутылки все и начинается”. Точнее, с бутылок. Проверим.

* * *

В понедельник имел место быть грабеж среди бела дня. Причем при всем честном народе. И никто не вступился...

Утром я ездил на полигон знакомиться с заключением экспертизы.

Сначала обрадовался — нашли пистолет, но наша наука меня разочаровала: не тот. Я уж грешным делом канючил: дескать, ребяташки, машина системы Макарова, калибр подходит, ну что вам стоит? Куда там! Анализ пулевых отверстий показал, что это не та пушка, которую я ищу. Анализ пулевых отверстий! Придумали ученые на нашу голову. И опять на мне повис пистолет — я становлюсь вешалкой для безнадежных дел.

Вернулся в отдел — мне подарочек: Коля Евсеев забрал у меня “изнасилование в подъезде“. Я три месяца копал дерьмо, а когда вышел на финишную прямую, благоухающую розами (оставалось только взять голубчика и допросить), так нет, уводят из-под носа! О, люди, где же справедливость?

— Ты разбойник с большой дороги! — сказал я Евсееву.

— Приказ начальника — закон для подчиненного, — засмеялась эта наглая рожа, восходящая звезда отдела. — Велено тебе помочь, облегчить твою тяжелую ношу, чтоб ты все силы бросил на оболщение гражданки Бурдовой.

— Махнем не глядя: изнасилование на пистолет?

— Дураков нет! Могу дать тебе дружеский совет: женись на Бурдовой, и сразу закроем дело. Премию пропьем вместе.

Я швырнул в Евсеева томиком УПК, но тут в дверях выросла монументальная фигура “вождя“. Уголовный кодекс ударился об стенку и упал к ногам Хирги.

— Покушение на сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, — наябедничал Евсеев.

— Капустин? — поднял брови Хирга.

— Он самый, — подтвердил Евсеев, — почему-то недоволен доверием коллектива, поручившего ему интригующее расследование таинственного похищения пальто и хоз. сумки.

— Евсеев, прекратить шуточки! В МУРе нет второстепенных дел. Милиция должна быть последовательной и принципиальной даже в мелочах. Если вор почувствует себя безнаказанным, то он нам устроит серию таких квартирных краж...

Произнося эту программную речь, “вождь“ поднял ру-

ку. Не хватало только броневи́ка для полного сходства с известной скульптурой. Ну и ну, подумал я, что-то изменилось. Или я попал под постановление ЦК об усилении борьбы с домушниками?

— Капустин, зайдя ко мне, — сказал “вождь”, сохраняя прежнюю торжественную тональность.

Занавес закрылся. Я подобрал кодекс, положил его на место. Не удержался, посмотрел на сослуживцев. Физиономии у них в этот момент были презабавными. Ветер перемен у нас ощущается мгновенно. И что любопытно, первым догадался Гречкин.

— Вадик, ты везунок, — бросил он мне в спину.

* * *

Хирга протянул тетрадный листок, на котором были наклеены буквы, вырезанные из журнального текста: “Кражу совершил желец из квартиры 54. Доброжелатель”. Довольный произведенным эффектом (наверно, моя рожа выглядела точно так же, как и у сотрудников минуту назад), “вождь” достал конверт. На конверте наклеены буквы: “Петровка, 38. Московский уголовный розыск. В.Е.Капустину”.

— Ну? — спросил Ильич.

(Проверить, есть ли такая цитата у основоположника.)

— Пятьдесят четвертая квартира? СНП? Это инициалы. Точно. Семен Николаевич Приколото? Быть не может. Абсолютно не похоже!

Хирга заурчал, как Котяра, наевшийся рыбы.

— Это уж вам решать. Главное, появилась ниточка.

Теперь я и сообразил причину ликования начальства. Зашевелилось мертвое дело (или мертвое тело?). В пепле, которым я приготовился посыпать свои волосы, оказался кто-то живой. Редкая удача. Сказочная. Хирга, стреляный воробей, усек, что тут уж я кого-нибудь выловлю за хвостик. А это означало... Многое. Рука, черкнувшая крутую резолюцию красным карандашом, тоже понимала, какую безнадегу нам подбрасывает. И вдруг! Майор Хирга докладывает изумленной коллегии. Поймали! Чудеса для

тех, кто разбирается. Три-та-тушки, три-та-та, очень глупого кота! А это означало, что не было у нас с майором первого разговора (расхолаживающего), а было целенаправляющее руководство (чему свидетелем весь отдел). Учись, Вадик!

5

— Меня очень интересует автор анонимки. Надо послать письмо на экспертизу.

Ляпнул и не успел прикусить язык. Догадался, что майор и это проделал — в наказание за мой вопрос о психодиспансере. Мне теперь долго будут показывать класс работы. Хотя, в принципе, проверка входит в мои непосредственные обязанности. Ладно, ничто так не радует начальство, как тупость подчиненного. (Где ты это вычитал?)

— Разумно рассуждаешь, Вадим Емельянович. Вот заключение экспертизы.

Я склонил повинную голову.

— Отпечатков пальцев не обнаружено. Работали в перчатках. Кстати, немаловажная деталь. А текст вырезан из последнего журнала “Работница”. Статья “Дружная семья Крашенинниковых”. Сличили буквы заголовка.

Сейчас мне заикаться о своей “бутылочной” версии было все равно, что лезть в бутылку (пardon за каламбур).

— Задание ясно, Александр Ильич. Выяснить, кто из жильцов выписывает “Работницу”. Журнал популярный, в киоске не купишь. Разрешите действовать?

Мой энтузиазм произвел должное впечатление.

«Но эти суки-эксперты, — думал я, — когда не надо, дают точный анализ пулевого отверстия, а когда надо, отпечатков пальцев не находят. Впрочем, зачем они тебе, отпечатки? Не собирать же дактилоскопию всего подъезда. Скажи спасибо за “Дружную семью»».

Так как мы с Котярой убежденные холостяки, то вынуждены продовольствоваться в магазинах “Кулинария”. Мы живем мечтой о вырезке и отбивных, но, как правило, удается достать какие-то ошметки гуляша и куски столетнего мяса под названием “антрекот”.

Мне уже заворачивали какую-то падаль, когда я увидел, как принесли поднос свежих розовых отбивных и сунули под прилавок.

— Ой, — заскулил я, — нельзя ли мне поменять товар? Если надо, доплачу.

— На что поменять? — удивилась продавщица.

— Ну вот, — я несколько замялся, — там свиные отбивные.

— Так это мы для своих, — отмахнулась продавщица и быстро уточнила, — для своих работников: посудомоек, официанток, еле-еле у повара выпросили.

Что мне оставалось? Вынимать удостоверение, подымать скандал? Это ни к чему бы не привело. А могли бы еще и сочинить “телегу” в МУР — дескать, ваш сотрудник, пользуясь служебным положением... и т.д. Вот если бы я был из районного ОБХСС... Правда, тогда просить бы не пришлось, меня бы знали в лицо, сами бы предложили.

За что я люблю свою работу? Там я чувствую себя человеком. К нам относятся по-разному, но во всяком случае с уважением. Бывает, мчишь на такси по заданию, проскакиваешь светофор на красный — орудовец только покосится на тебя и дает отмашку — жми дальше. Но как-то ехал я по личным надобностям и инспектор остановил машину, так я уж подсовывал свои “корочки”, а инспектор и глазом не повел. Лишь пробурчал: “Товарищ пассажир, а вас не спрашивают”. Разбирается народ: когда ты при деле, а когда выступаешь как простой советский...

Идешь в ресторан по заданию. Мэтр перед тобой стелется, а официант зайчиком прыгает. А потом появляешься там же со своей дражайшей половиной (это я пытался за-

менить собой ее развлечения-увлечения) — и что же? Со стороны обслуживающего персонала “ноль внимания, фунт презрения”. И не дай Бог связаться в какую-нибудь историю! Обязательно напишут, что был в нетрезвом виде. Поэтому я перед такими походами благоразумно свою книжечку дома оставляю.

Конечно, мог бы и я прочные и выгодные знакомства завести, но тогда в любой момент ожидай, что попросят тебя об “одолжении” — и завяз. Хочешь быть независимым, ни с кем не связывайся.

Хочу быть честным.

Я давно смирился с тем, что если за прилавком (точнее, под прилавком) и есть нужный тебе товар, то он — для своих. Ситуация, к которой настолько все привыкли, что глупо психовать и протестовать по этому поводу. Конечно, в первую очередь для своих. А как же иначе?

Я чужой.

* * *

— Вадим Емельянович, рад вас видеть.

Кажется, товарищ Приколото несколько не удивлен моему визиту.

— Добрый вечер, Семен Николаевич, решил забежать на огонек. Не помешаю?

— Чему? Дела наши пенсионные. Сиди на диване, читай газету. Что у вас течет из сумки?

— Ох, извините, накапал на ковер. Это мне так мясо в “Кулинарии” завернули.

— Вырезка?

— Издеваетесь? Пролетарский гуляш.

— Если не возражаете, я пока положу вашу сумку в холодильник.

— Буду очень признателен.

Обмен любезностями на дипломатическом рауте. Хозяин берет мою сумку и уносит ее на кухню. Я тем временем осматриваюсь. Обстановка в квартире самая скромная. На серванте — сервиз. Я человек любопытный, достаю чашечку, щелкаю по ней пальцем. Интересно. Было дело, когда-

то увлекался антиквариатом. Подхожу к книжному шкафу. Голос за спиной:

— Вы любите книги?

Заводить разговор о литературе мне не хочется.

— Что вы, Семен Николаевич, я же милиционер. Про нас есть старый анекдот: два милиционера советуются, что подарить третьему. Может, книгу, спрашивает один? Зачем, одна у него уже есть, отвечает другой.

— Вы шутник. Прикажете чаю?

— С превеликим удовольствием.

Хозяин топает на кухню, а я к книжному шкафу. Успеваю заглянуть и в другую комнату.

Сидим, пьем чай.

— Небогато живете, Семен Николаевич.

— С пенсии на разжиреешь. — Приколото достает из кармана пиджака засаленную сберкнижку. — Двести тридцать шесть рублей трудовых сбережений. Коплю на холодильник “ЗИЛ“, да все лотерея разоряет.

— Много покупаете?

— Полюбуйтесь. — Хозяин выдвигает ящик и показывает ворох билетиков. — Четверть пенсии уходит.

— И как успехи?

— Иногда рубль выпадает. Все смеются надо мной, говорят, совсем рехнулся старый дурак. А я верю. Хочу выиграть машину. Прощлый раз “Москвич“ на два номера не сошелся, меня чуть инфаркт не хватил.

Потом он долго жаловался на дочь, которая вышла замуж за грузина. Зять сумел еще на юге “поймать копеечку“, а теперь завербовался на Север и гребет деньги лопатой. Но только фигу от дочери помощи дожدهшься. Обещает, правда, прислать перевод на мебельный гарнитур. Но получит он этот перевод тогда, когда рак на горе свистнет. И пошел монолог о нравах современного поколения.

— Семен Николаевич, в каких вы отношениях с Пшуквым из восемнадцатой квартиры?

— Вот он разговор по существу. — Приколото отечески усмехается. — Вы уж не таитесь, выкладывайте.

— Анонимку он на вас написал. Будто вы совершили кражу у Бурдовой.

— То-то вы по комнатам рыскаете. Небось сумку вы-сматривали?

— Помилуйте, Семен Николаич! Кто ж поверит таким глупостям? Иначе я бы с обыском пришел. А я помощи прошу. Помнится, вы же обещали.

— А может, не Пшуков анонимку состряпал?

— Он самый. И две орфографические ошибки.

Объясняю, что к чему. Буквы вырезаны из журнала “Работница”. Во всем подъезде только Пшуков ее выписывает. Я у Пшукова сейчас был. Самого не застал, а с женой беседовал и журнальчик перелистал. Так вот, нет статьи, из которой буквы резали, вырвана с корнем.

— Ловкач вы, Вадим Емельянович. Прикидываетесь тихим.

— Работа такая. Так за что на вас Пшуков зол?

— Зол? Это вы верно заметили. Ах, Пшуков, Пшуков, Анатолий Петрович! Он был слесарем по холодильным установкам в моем цехе. Я же ему комнату в этом доме выбил. Там еще в квартире Кулик живет, тоже из моего цеха. Простите, это я по привычке, в цеху сейчас молодой начальник, расширяет производство. А я пенсионер, кому нужен?

— Значит, решил вас Пшуков отблагодарить?

— Чужая душа — потемки. Пить он стал, а пьянство до добра не доводит. У меня на холодильнике он неплохо работал. В мероприятиях участвовал. А потом пришлось его уволить. Уж не помню, за что. То ли стащил, то ли собирался. С холодильника выносят, дело известное. Я всю жизнь с этим боролся, да трудно одному. И меня чуть было не запутали. Словом, перешел Пшуков в ЖЭК. А из ЖЭКа что унесешь? Старый унитаз? И запил Анатолий Петрович по-черному. Я ему несколько раз замечания делал. Нельзя, говорю, выпивши во дворе появляться, спьяну скажешь не то слово, а кругом дети. Обиделся Пшуков, дескать, мне вы теперь не начальник, грозить стал. Чем грозить? Глупый он. Одни пьяные разговоры. А о детях кто подумает, если не мы, старики? Однажды летчик Ковалев машину купил и гараж во дворе поставил...

Историю о том, как товарищ Приколото с помощью общественности убрал со двора гараж летчика Ковалева и

разбил на этом месте клумбу с цветочками, я пропускаю. Меня начало клонить в сон. Но тут Семен Николаевич завел разговор о бутылках, и я встрепенулся.

— ...Нина Петровна рассказывала мне, что составила для вас перечень всех своих бутылок. И немудрено, для женщины каждая бутылка — событие. Помнит, когда и по какому случаю. Не то что мы, мужчины. Так вот, была у нее бутылка югославского коньяка, “Виньяк” по-ихнему, с завинчивающейся пробочкой. Откуда знать Бурдовой, что такие бутылки в приемном пункте не берут? И я недавно был в восемнадцатой квартире, к Кулику заходил. Смотрю, на кухонном столе Анатолия Петровича бутылка из-под “Виньяка” красуется. Признаюсь, меня сомнение взяло. Откуда у него такая? Коньяк ему не по зубам, на “Перцовую” или портвейн еле собирает. А дальше было так. Я спросил про “Виньяк” у Пшуковой жены, а жена — женщина серьезная, сразу в крик — лезут, мол, всякие не в свое дело. Дело, конечно, не мое, но, наверно, мужу она потом и рассказала. И сразу на меня анонимка. Вот как в жизни получается. Может, я неправильно рассуждаю? Однако на бутылочке круг замыкается, Вадим Емельянович, хорошо, что вы ко мне зашли. Недаром в газетах пишут: милиция наша сильна своей связью с народом.

6

Спускаясь по лестнице, я думал о том, что каким-то странным образом моя первоначальная бутылочная версия приобретает права гражданства. Я вышел во двор, и, когда поравнялся с цветочной клумбой — гордостью общест-венности, — мимо моего уха просвистел камень. Бросали из окна. Но из какого? Камешек я на всякий случай поднял. А к нему ниточкой привязана бумажка. Я развернул листок. Еще один доброжелатель писал мне крупным почерком: “Если хотите знать имя вора, приходите послезавтра в восемь часов вечера в соседний скверик, вторая скамейка справа, один и без оружия”.

“Приемный пункт стеклопосуды. Открыт с 9 до 18. Перерыв на обед с 13 до 14. Выходной день — вторник“.

Сейчас двенадцать часов утра, среда. Окошечко закрыто. Почему? Странный вопрос. У меня такое впечатление, что эти пункты всегда закрыты. А уж если мне приходится сдавать бутылки, то окошечко закрыто намертво, до конца века. А если и открыто, то не принимают. А если принимают, то предварительно так облают, что потом целый день чешешься. Однако сегодня я пришел сюда не по личным делам, а по службе. Уверенно стучу в окошко. Ни ответа ни привета. Стучу. Кто-то там внутри задышал.

— Чего барабанишь, хулиган?

— Почему не работаете?

— Я ушел на базу, ясно?

— Откройте, милиция.

Сразу отодвинули фанеру. В окошечке появляется рожжа, расколотая надвое подобострастной улыбкой.

— Бутылки принимаете?

— Нет тары. Но для начальства найдем.

...И никаких документов не спрашивает. Мгновенно почувал, что я, действительно, милиция, начальство. Как, почему? Загадка.

— Вы давно на этом месте?

— С девяти утра, начальник, как положено.

— Работаете давно на этом пункте?

— Понял, начальник, понял. Года четыре, а что?

— Клиентов своих помните?

— Почетных алкоголиков? Конечно.

— Посмотрите, пожалуйста, фотографию. Узнаете?

— Этот? Личность известная. Как начало месяца, он тут как тут.

— Что вы о нем скажете?

— Дебошир, скандалист. Однажды жалобу хотел написать, будто я посуду не принимаю. А куда мне ее класть, когда тары нет? Чуть стекло не разбил.

— Он случайно вам сумку не предлагал купить?

— Сумку? Нет. Хотя в позапрошлом месяце, точно,

было такое. Бери, говорит, отец, за трешку, опохмелиться хочется, душа горит.

— Он был один?

— Не помню. Их много, это я один. За всеми не уследишь. Да еще бутылки с отбитыми горлышками подсовывают.

— А сумка хорошая?

— Да вроде ничего, почти что новая. Но у нас не скупка. Мы неположенных вещей не берем.

— Спасибо, до свидания.

— Эй, начальник, так у него можно принимать бутылки?

...Вот сволочь, боюсь, что теперь над моим Пшуковым поизмывается.

Правда, дела принимают такой оборот, что, возможно, Анатолий Петрович появится тут отнюдь не скоро.

* * *

“Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет...”

У нашей милиции два врага. Первый — это “кто-то”, который “кое-где, порой”. Его мы стараемся выявить и схватить за шкуру. Но чем больше мы усердствуем, тем больше растет наш второй враг — статистика преступности, которая, по идее, должна уменьшаться в стране победившего социализма. Не всегда понятно, кто из этих двух врагов для нас опаснее.

В МУРе, при известной ловкости рук, еще как-то удастся свести концы с концами, а ребята из ОБХСС волком воют. Все, молчу. Если и есть у милиции государственная тайна, которую надо беречь как зеницу ока, то это статистика (разумеется, не официальная, а фактическая). Кому-то, который “кое-где у нас порой”, так понравилась государственная собственность, что он тащит все, что плохо лежит. А хорошо у нас лежит только один товарищ в Мавзолее.

Чур меня, изыди, сатана! Я не лезу в политику. И хватит об этом.

Лично я хочу жить честно. Я закончил юридический факультет Московского университета. У меня был выбор: прокуратура, адвокатура и тихая работа юрконсультантом в какой-нибудь шараге.

Тихая работа мне не по нутру. Пока не тот возраст. Конечно, кто-то должен отстаивать интересы родной организации от происков соревнующихся или смежных. Но ведь потом приходится доказывать, что и твоя контора ограбила своих смежников (сорвала поставки, нарушила сроки) на совершенно “законных” основаниях.

Адвокатура? К голосу защитника прислушиваются лишь тогда, когда предварительное следствие велось неквалифицированно или судья допустил грубейшие процессуальные нарушения. Но обычно роль адвоката сводится к жалостливому оплакиванию судьбы своего подзащитного и мольбе о снисхождении. Ведь против подзащитного — государственное обвинение. Наше государство никогда не ошибается.

Прокуратура — прибежище для воинствующих идиотов. Возможно, это я такой везунок, но, сколько я ни присутствовал на судебных процессах, мне всегда было стыдно за прокурора. Его речь — это неуклюжий подбор фактов, перемежающихся с примитивными тяжеловесными нравоучениями.

Человека, наслушавшегося подобных сентенций, так и тянет на уголовщину, хотя бы ради протеста.

Верю, в прокуратуре есть умные, дельные работники, но, в принципе, зачем государственному обвинителю ум, знание психологии и прочее, когда и так судьи почтительно внемлют каждому его слову? Ведь он вещает от имени государства. У нас с государством не спорят.

И опять меня заносит в политику! Изыди, сатана!

Скажем так. Каково бы ни было политическое устройство страны, но во все времена, при всех режимах воровство, грабеж, убийства считались злом, а люди, которые боролись с этими преступниками, делали добро.

Я пошел в МУР потому, что хотел быть честным, хотел делать добро. И у меня есть профессиональное честолюбие, и свою работу я стараюсь выполнять добросовестно.

Вполне допускаю, что я не Бог вещь какой ценный со-

трудник, однако пока ни разу не вставал вопрос о моем увольнении, хотя для МУРа я белая ворона. Я не член партии. Сначала я был комсомольцем и даже, по глупости, членом бюро, поэтому я еще как-то соответствовал должности. Потом... Потом было некуда деваться, но тут, на счастье, случился мой бракоразводный процесс. Аморалка в личной жизни. Я сумел это подать соответствующе, и на меня махнули рукой.

Правда, мне закрыт путь наверх, да я туда и не стремлюсь. Если повезет, так и доживу до пенсии старшим лейтенантом, старшим опером.

7

Анатолий Петрович Пшуков красил полки на кухне. Его сынишка держал банки с краской, усердно сопел — словом, был при деле. Жена Пшукова суежилась с кастрюлями и изредка ласково спрашивала: “Толенька, не поставить ли чаек?” Я, заверив хозяина, что мой разговор не срочный, сидел в комнате, листал журнал “Работница” (с вырванной статьей о семье Крашенинниковых) и чувствовал некоторую неловкость. Действительно, у людей мир и покой, они заняты хозяйством, а ты влезает в чужой дом и должен задавать наводящие вопросы, ловить, уличать. Вообще-то приятно, когда запутываешь преступника, и он в твоих руках, но сейчас, пожалуй, я был бы рад, если бы Пшуков рассказал мне нечто такое, что разом бы сняло с него подозрения, и мы, поговорив напоследок о шансах “Динамо” и “Спартака”, расстались навсегда.

— Ну вот, я свободен, — сказал Анатолий Петрович.

Я замаялся.

— Нам бы надо наедине.

— Зиночка, поужинайте в комнате, и уложи Витьку спать. У товарища дело.

Мы произвели рокировку, и на кухне мне сразу бросилась в глаза бутылка из-под “Виньяка”, наполовину наполненная коричневой жидкостью. Невольно улыбнувшись, я поднял бутылку.

— К сожалению, угощать нечем, — строго сказал Анатолий Петрович. — Это клей. Спиртного не держим.

— Не пьете?

— Болею. Раз в месяц. Нужно бы лечь в больницу, говорят, помогает. Но это надолго, а кто будет их кормить? — Хозяин кивнул на закрытую дверь своей комнаты. — Стыдно перед пацаном. Каждый раз думаю: вот отмучаюсь и завяжу.

— Любопытная бутылочка. Откуда?

— Шут ее знает. Зинка хотела выбросить, но я под клей приспособил. Пробочка...

...Вот тут бы и сказать, что такая бутылка была в сумке у Бурдовой. Однако я взглянул в глаза Пшукову и промолчал. А он словно прочел мои мысли.

— Сосед приходил, тоже этой бутылкой интересовался.

— Какой сосед?

— Общественник наш, Семен Николаич.

...Самое время спросить про письмо. Но я почему-то не спросил. А Пшуков продолжал:

— Когда-то Приколото был моим начальником, да и сейчас еще вальяжный мужчина, с характером.

— Анатолий Петрович, хочу у вас узнать, как у специалиста. Легко открыть дверь тридцать третьей квартиры?

— Ага. Вы, значит, здесь из-за Нины Петровны? Ясненько. Открыть — дело нехитрое. Я, например, открою любую.

...И тут я совершил ошибку.

— Вас видели, когда вы пытались продать приемщику стеклопосуды сумку Бурдовой.

...Понимаете, нельзя было так сразу. Во-первых, Пшуков мог все начисто отрицать: мол, ошибся приемщик, а я ничего не знаю. Во-вторых, это могла быть сумка самого Пшукова. Он унес ее из дома, и жена бы это подтвердила. Показания приемщика — мой главный козырь, его бы приберечь напоследок.

Но Анатолий Петрович сидел красный, молчал и вдруг брякнул:

— Точно. Значит, я взял.

Я чуть не подскочил. Как все просто! “Спокойно, Вадик, — сказал я себе, — начнем сызнова”.

— Что вы взяли?

— Да сумку у Бурдовой. Об этом весь дом судачит. Я-то думал, мое дело сторона, но Кулик — он за стенкой живет — недавно мне говорит: видел я тебя с Бурдихиной сумкой у ларька, больно ты опохмелиться хотел. Я, конечно, Кулику не поверил, не ладим мы. Из-за конфорок на кухне лаемса. Он готов любую напраслину на меня возвести. Но раз люди подтверждают — точно.

— Вы заходили к Бурдовой?

— Утром я у нее раковину чинил и был уже на взводе. Чувствовал, начинается мое путешествие. Тогда, наверно, и на сумку глаз положил.

— А как дверь открыли, помните?

— Раньше, когда не был запойным, все помнил, контролировал себя. А теперь — “бой в Крыму, все в дыму...”

— Пальто Бурдовой вы тоже пропили?

— Какое пальто, Нинкино? — Пщуков забегал по кухне. — Я этой зануде, своей Зинке, говорю: “Запри ты меня, купи пол-литра, я выпью и засну. Зачем мне на людях позориться?” А она экономит. Или пилить начнет, так сам из дома бежишь.

— Садитесь, Анатолий Петрович. Послушайте, вашу жену можно понять — ребенок дома. Зачем ему видеть пьяного отца?

— Но я тихий, я всегда был тихий. Ладно. Что я еще натворил, у кого украл? Я на холодильнике работал, на красной доске висел, премии получал. Я любую машину мог собрать и разобрать. Но Приколото меня выгнал, и теперь я унитазаы чищу. И Зинка совсем очумела, болтает, что я к этой стерве Бурдихе лезу. Ну можно так жить? Вот я и пью. Арестовывать меня пришли? Я готов. Жену позову. Но прошу вас, только не при Витьке. Скажите, что авария, срочный вызов...

— Я вас прошу, Анатолий Петрович... Да сидите вы, сидите. Значит, так. Обещайте мне, что пойдете в больницу. Я вам устрою направление. С первой полочки купите хозяйственную сумку, хорошую, рублей на восемнадцать,

и отдадите Нине Петровне. Рубль положите. За бутылки. С пальто мы что-нибудь придумаем. Пальто сначала оценить нужно. Жене ничего не сообщайте, живите спокойно, работайте, а главное, не пейте. Договорились?

— Не надо больницы. Чтоб я еще к бутылке приложился! Да гореть мне синим пламенем! Простите, как вас звать?

— Вадим Емельянович.

— Вадим Емельянович, человеку поверьте! Даю честное слово! Вы для меня такое сделали.

— Вот тут распишитесь. Формальность. Подписка о невыезде. Остальное постараемся замять “для ясности”.

— Вас понял, Вадим Емельянович. Если что будет протекать, то хоть среди ночи...

* * *

— Лихо, лихо, — сказал Хирга. — Но это, Вадим Емельянович, не решение вопроса. Возврат украденных вещей или возмещение стоимости не имеют принципиального значения. Налицо уголовное дело. И по требованию истца, мы обязаны соответствующе оформить материалы и передать их в суд. А что думает сама Бурдова?

— Шумит. Но если Пшуков ей купит новое пальто, она успокоится. На всякий случай дал ваш телефон. Это если она захочет на меня жаловаться.

— Хорошую жизнь ты себе придумал. Да и мне тоже. В общем, так: Пшуков признает, что совершил кражу?

— Признает.

— И пальто, и сумку?

— Так точно.

— Все, дальше нас не касается. Определять степень виновности — это в компетенции суда. Мы не гарантированы, что Пшуков опять не выпьет, а по дороге ему не попадется другая квартира. Ясно?

— Но...

— Никаких но. Хватит заниматься благотворительностью. Суд учтет все смягчающие обстоятельства. Оформляй и отсылай материалы. У нас завал работы. Евсеев просил, чтоб тебя к нему подключили.

— Александр Ильич, с вашего разрешения, беру это дело на себя.

— То есть как?

— А так. Считаю расследование незаконченным.

— Понятно. Видимо, я кое-что недоучел. Вадим Емельянович, заявляю вам официально: вы блистательно справились с заданием. Признаюсь, я не ожидал, что вы распутаете этот клубок. Еще раз поздравляю с успехом. Ты удовлетворен?

— Спасибо. Но я тоже не ожидал...

— Чего?

— Что так неожиданно его распутаю. Как будто мне кто-то старательно помогал.

— Ценная мысль. Оставь ее для мемуаров. А пока...

— А пока я прошу разрешить мне продолжить расследование.

...В порядке партийной дисциплины он мог бы мне приказать, но я не член. А по уставу службы имел право взять на себя это дело. И Хирга пошел на попятную.

— Хорошо, Вадим Емельянович. Кончай темнить, объясни мне, старому остолопу...

...Краткий обмен комплиментами. И вот по лицу “вождя” я вижу, что теперь-то начальство меня слышит.

— Письмо. Пшуков не мог написать анонимное письмо.

— А факты? Журнал его, статья вырвана, орфографические ошибки... К тому же Пшуков обижен на Приколото...

— Логично. Однако я не могу себе представить, как это Анатолий Петрович, слесарь шестого разряда, надевает перчатки, вырезает печатные буквы и клеит анонимку. Да это ему бы в голову никогда не пришло.

— Вадим Емельянович, у нас народ грамотный, культурный, растет над собой. Наверно, Пшуков посмотрелся детективов по телевизору.

— Не похоже это на Пшукова. Не в его характере.

— А ты о письме с ним поговорил?

— Бесполезно. Во-первых, он готов был во всем согласиться. Во-вторых, отрицай он, так что бы это пояснило? Но навели нас на Пшукова именно анонимным письмом,

сообразили, что мы найдем его автора. А вдруг журнал попал к Анатолию Петровичу с уже вырванной статьей? Ключи от почтового ящика стандартные. Пшуков — фигура весьма удобная, на него все можно вешать. В пьяном виде он себя не помнит. Да, сумка Бурдовой была у него, это доказано. Но где доказательство, что он открывал тридцать третью квартиру? Ведь сумку ему мог вручить кто-то другой.

— Кто? И зачем?

— Спросите меня что-нибудь полегче.

— Мистика. Прямо домовые завелись в ЖЭКе номер тринадцать.

— Именно домовые. Но я не понимаю, почему они заварили эту кашу. А ведь просто так ничего не происходит.

...Я поймал короткий взгляд Хирги. Произошел контакт.

— Кого ты подозреваешь?

— Никого.

— Что же дальше?

— Буду ждать.

— Последующих действий домовых?

— Так точно.

— Ладно, рискнем. — Но перед тем как окончательно отлиться в монументальную позу “вождя”, Хирга меня удивил. — Вадик, — сказал он, — говори напрямик: что тебе нужно?

Тут он попал в точку. Мне надо было позарез встретиться с ребяташками из ОБХСС.

8

В четверг, в десять минут девятого вечера я понял, что сбываются самые худшие мои предположения. Так опаздывать могла только девушка. Через пять минут она появилась. Таня Сердан из девятнадцатой квартиры. Первая фраза у меня была придумана заранее, но что говорить дальше, я не знал.

— Клянусь, я без оружия, — сказал я.

— Вы просто храбрец, — сказала Таня.

Помолчали.

— Простите, но я мильон лет не ухаживал за девушками. Что мне надо делать?

— Пригласить в кафе, — сказала Таня.

В кафе-мороженом мы взяли по порции “Космоса”, Тане я заказал фужер сухого вина, а себе бутылку лимонада. Официантка глянула на меня уничтожающе.

— Вы совсем не пьете? — спросила Таня.

— Привычка бывшего спортсмена. Когда-то я прыгал на четыре метра пять сантиметров. С шестом, разумеется. Был чемпионом факультета.

— А я думала, вы блюдете себя, потому что находитесь на работе.

— То есть как?

— Я же обещала вам назвать имя вора.

— Вы все шутите, Таня. Лучше расскажите, что за человек Кулик, ваш сосед по лестничной площадке.

— Кулик? Василий Иванович? Противный маленький старикашка, который смотрит на девочек и у него слюнки текут. На лестнице он пропускает меня вперед на несколько ступенек и идет следом, понимаете? Мерзкое ощущение. Любит за всеми подглядывать и подслушивать. Почему он вас заинтересовал?

— Просто так. У меня на днях был частный разговор с его соседом, Анатолием Петровичем Пшуковым. Кулик на кухню носа не высовывал, и лишь перед уходом я догадался, что он дома. Квартирки в вашем доме типовые. Наверно, все происходящее на кухне хорошо транслируется в ближайшую комнату?

— Каждое слово. Но только забудьте про Кулика и Пшукова. Пальто у Бурдихи взяла я.

— Издеваетесь?

— Так я, по-вашему, не могла этого сделать?

— Нет.

— И тем не менее. Пальто было старое, изъеденное молью. Валя, соседка Бурдовой, жаловалась мне, что никак не может избавиться от этой грязной тряпки. Старуха скорее умрет, чем позволит убрать пальто из передней. И я

сказала: давай я отнесу его на помойку. Но Валя запугана Бурдикой, та ест ее живьем, нельзя даже на полчаса оставить на кухне немытую посуду... Словом, Валя не хотела связываться с Ниной Петровной. А я сказала: вот утопает Бурдиха в магазин, ты дверь приоткрой, остальное тебя не касается. Бурдова мне спасибо должна сказать, что я ее мусор выбросила, не поленилась.

— А сумка?

— Какая сумка? Лично я об ее сумку руки не стану пачкать. И охота вам во всем этом копать? Две недели к нам ходите, все выискиваете, ничего другого не замечаете, на людей не смотрите...

— На каких людей?

— Неважно. Подумайте, ну какой нормальный человек мог позариться на ее барахло?

— Танечка, сумка и пальто — вещи гражданки Бурдовой. Согласен, вещи дрянные, но они ее собственность. Она их приобрела на честно заработанную пенсию. В обязанность милиции входит... нельзя смеяться над причудами старых людей... У Бурдовой была тяжелая жизнь... война...

Проклиная самого себя, я завел нудную лекцию на тему: “Моя милиция меня бережет” и “Волга впадает в Каспийское море”. И так я вещал без остановки и думал: когда же Таня плеснет мне вино в рожу и убежит из кафе? И еще я думал, что если и был у меня шанс завести с ней роман, то теперь уж точно все потеряно. И еще я думал: не подослана ли Таня таинственными домовыми ЖЭКа номер тринадцать? Но тут же прогнал эту мысль: не путай жанры, Вадик, это тебе не игра с американской разведкой, которая согласно нашим “дефективам” вербует красивых баб, а самодеятельность жуликов средней руки. Не тот масштаб. И еще я думал, что Таня в одном права: нормальный человек не мог позариться на барахло гражданки Бурдовой. И все произошло обыкновенно и буднично: пьяный слесарь, проказница Таня... Но почему мне мерещится еще кто-то, который “кое-где у нас порой”? К чертовой матери!

Последние слова я, забывшись, произнес вслух, видимо, совершенно некстати и неожиданно. Таня засмеялась:

— Вы не такой зануда, каким хотите казаться.

— Я и стихи сочиняю, — буркнул я, раздосадованный своей оплошностью. Танины губы скривились, но я тут же поправился: — Про своего кота. На мотив любой песни. Причем с ходу, без подготовки. Можете проверить.

Таня повеселела.

— Посмотрим. “И провожают пароходы совсем не так, как поезда...”

Я подхватил:

— Все потому, что до ухода там ловят глупого кота...

— Не очень складно. Ну, а “Сегодня мы, как на параде...”

— Идем та-ри-та-та-та-та... В коммунистической бригаде поймали глупого кота...

— Уже лучше. — В глазах Тани появился интерес, а лично у меня некоторые шансы на... — На работе знают про это ваше увлечение?

— Еще бы! Недавно с успехом выступил в отделе. Пел песню из телепередачи “Следствие ведут знатоки”: “Наше дело так опасно, три-та-та, все мы ловим очень глупого кота...”

— Однако тематика у вас несколько однообразная и, я бы сказала, специфическая, — вздохнула Таня. — У вас дома кот?

Про Котяру я мог говорить бесконечно.

* * *

Но какая сволочь, какая стерва, какой гнусный предатель! С ним обращались, как с человеком, а он тайком улизнул вечером из дома и не пришел ночевать. И это после всего, что я для него делал!

Я не спал полночи, реагировал на каждый шорох, вскакивал с постели, подбегал к окну, звал: “Котяра! Котяра!” И какие ужасы мне только не мерещились! Котяра с перекушенным горлом и оскаленная морда черного кота; Котяра с перебитым позвоночником жалобно пищит где-нибудь под лестницей; серый трупик на мостовой — Котяра попал под машину.

В пять утра я оделся и вышел во двор. Полное безмолвие. Я обследовал все углы, пустые ящики, соседнее парадное. Никаких следов. Но вот с улицы донесся зловещий вой, а в ответ высокое “мяу“! Я стремглав бросился на улицу, и точно — на тротуаре нос к носу стояли два красавца — Котяра (бас) и черный уголовник. Оба кота словно вросли в тротуар, и только хвосты у них, черный и серый, бились, как знамена на ветру. На мой крик Котяра оглянулся и, видимо ободренный моим присутствием, ринулся на супостата. Вопящий клубок выкатился на мостовую.

С голыми руками мне было соваться бессмысленно, я кинулся обратно во двор и вернулся с метлой дворничихи.

Но только я собрался действовать, как какой-то нервный товарищ с четвертого этажа, разбуженный этим концертом, выплеснул на нас кастрюлю щей (то, что это были щи, я определил, смахнув со своего плеча мокрую капусту). Куча мала мгновенно развалилась, и черный кот, отряхнувшись, громадными прыжками помчался по улице. За удирающим злодеем пустился Котяра и я с метлой наперевес следом. Прелестная картинка! Рассвет на Москва-реке! Не хватало только музыки Мусоргского!

Взвизгнув, затормозило такси.

— Вадик!

Я оглянулся: в открытом окошке машины я увидел Танию Сердан, за ней усатую физиономию. И что характерно, глаза у всех троих (включая шофера) были квадратными. На ходу я успел пролепетать:

— Три лапы, три лапы, три лапы... — и, не сбавляя скорости, проследовал за котами в ближайший двор.

9

Проницательный читатель, наверно, давно заподозрил, что я что-то утаиваю. Действительно, несколько дней я занимался делами, о которых пока умолчу. Читайте, что это шла отработка версий. Вот когда мои предположения подтвердятся, тогда я обо всем доложу подробнейшим обра-

зом, и то, может, не сразу, а под конец, для пушшего эффекта.

Однако не буду интриговать читателя по поводу Тани. Она мне позвонила в то же утро на работу (только я собрался просить в отделе, чтоб меня не подзывали на женские голоса — не удалось изобразить из себя обманутого Ромео, а как хотелось!) и сказала, что ездила встречать дядю на аэродром, запоздал самолет из-за нелетной погоды, и пусть я не думаю, что она проводила бурную ночь с каким-то грузином (признаться, я так и думал). Потом она живо мне описала свои впечатления от утренней сцены и спросила, что означало это таинственное “три лапы, три лапы, три лапы”? (Германновское “три карты“.)

— Да понимаешь, — мямлил я в трубку, догадываясь, что к моему разговору внимательно прислушиваются в комнате, — одна лапа у него поранена, силы неравные, поэтому я считал, что имел моральное право вмешаться...

Отдел дружно грохнул, а из трубки донеслось:

— Сегодня, как и вчера. Придешь?

— Приду, — сказал я как можно официальнее и осторожно положил трубку на рычаг.

— Любопытно знать, — сказал вслух, как бы обращаясь к самому себе, Гречкин, — с кем это воюет наш Вадим Емельяныч?

А Евсеев гнусно захихикал и предложил:

— Вадик, махнем не глядя: бери у меня любое дело на выбор в обмен на твою любимую гражданку Бурдову, но только обязательно с девицей в придачу.

* * *

Всю неделю я провел в ОБХСС за скучнейшим занятием: ворошил старые папки, копался в отчетностях, изучал финансовые сметы и акты ревизоров. Не скрою, тамошние “профессора“ мне помогли, и кое-что мы сообща придумали. Но в пятницу меня срочно затребовало родное начальство, и, когда я, запыхавшись, влетел в кабинет Хирги, “вождь“ молча протянул мне сводку из райотдела.

Да, граждане, пока я строил воздушные замки, в моем

подшефном доме всюду резвились домовые. Во вторник ночью Веру Федоровну Кочеткову из тридцать четвертой квартиры разбудил какой-то скрежет и скрип около входной двери. Учительница сразу позвонила в милицию. Прибывшие сотрудники обнаружили следы взлома. На следующую ночь пытались проникнуть в пятидесятую квартиру. Конухов выскочил в переднюю и увидел, что дверь приоткрыта, а цепочка натянута. Конухов закричал, и кто-то сбегал по лестнице, громко топя.

Но это было, так сказать, прелюдией. Основные события развернулись вчера. В девять вечера соседи обнаружили Нину Петровну Бурдову лежащей на площадке первого этажа в беспомощности. Лампочка на площадке была вывернута. Вызвали милицию и “скорую помощь”. Придя в себя, Бурдова заявила, что ее в темноте ударили чем-то по голове, и она убеждена, что это сделал Пшуков. “Он не хочет покупать сумку и пальто и решил меня угробить”, — эта фраза занесена в протокол.

— А что у вас нового? — грозно осведомился Хирга.

Ситуация! На одной чаше весов мои весьма призрачные предположения и наполовину обоснованные подозрения. На другой — вполне реальные, весомые факты. И ему очевидно, какая чаша перевесит. Поэтому я промолчал.

— Теперь видите, к чему привела ваша тактика, — сказал Хирга, и, надо отдать ему справедливость, в его голосе не было торжествующих нот. Он понимал, что сейчас не время сводить личные счеты, надо нам вместе как-то выпутываться.

— Но почему Пшуков? — взмолился я. — Ведь в подъезде не было света! Как же Бурдова могла разглядеть, кто ее ударил?

Хирга посмотрел на меня с сожалением.

— Человека чуть не убили, а ты опять за старое. Да если мы будем верить каждому пьянице, в городе такое начнется! Вот — заключение экспертизы. Да, да, старый хрыч-начальник снова тебя опередил. А что прикажешь делать, когда ты ворон считаешь? Вадик, сколько раз я твердил: лучше синица в руках, чем журавль... в твоём воспалённом воображении. Короче, экспертиза показала: Бурдо-

ву ударили тяжелым мешком по голове. На платье Нины Петровны обнаружена цементная пыль. Мешок с несколькими килограммами сухого цемента найден в квартире у Пшукова. Достаточно?

— А Пшукова допросили?

— Твой честный Пшуков сперва прикидывался наивной девочкой, а потом, когда его приперли, сказал, что пусть сажают, но Нинку, стерву, он все равно изуродует... Ясно?

— Он хоть был трезвый?

— Вроде да. И тем хуже для него. В общем, Вадик, сдай материалы райотделу, и пускай они оформляют. Не скрою, я на тебя надеялся. А ты меня втянул в авантюру...

Вид у Хирги был и впрямь неважнецкий, но в данный момент я сочувствовал другому человеку. Однако напоследок Хирга и для меня припас сюрприз.

— Вадик, утром звонили от комиссара. На тебя поступила жалоба от группы жильцов. Пишут, что сотрудник МУРа Капустин, используя служебное положение, вместо розыска опасного преступника занимался амурными делами с некоей Таней Сердан, проживающей в этом же доме. Мое отношение ко всему этому ты знаешь. И я в твою личную жизнь никогда не лез. Но на будущее запомни: не давай повода для сплетен. Для свидания с дамами выбирай другое время и место.

* * *

Дверь открыла жена Пшукова. Глаза у нее были заплаканы, и на меня она старалась не смотреть.

— Витька, марш в комнату.

— Здравствуйте, Зинаида Ивановна.

— Ходили, ходили и посадили. Не люди, а милиционеры. Ну, что еще?

— Мне нужен Кулик.

— У себя в комнате. Забился, как крыса. Этот вам доложит.

— Я сегодня разговаривал с Анатолием Петровичем. Он вам привет передавал.

— Здоров?

— Здоров.

— И на том спасибо. Эй, Кулик, подколодыш, к тебе пришли.

На пороге комнаты появился Кулик, маленький, невзрачный, в засаленном пиджаке.

— Здравствуйте, Василий Иванович. Я Капустин, из милиции.

Он посторонился, давая мне пройти, и плотно прикрыл за собой дверь.

— Вы подписывали заявление?

— Какое заявление? Ничего не подписывал.

— Зря отрицаете. Я видел вашу подпись.

— А, бумажку... Это мне Бурдова приносила. Она сказала, что Пшуков ей угрожает, а вы ее защищать отказываетесь и все с Танькой гуляете.

— Вы слышали, как Пшуков ей угрожал?

— Слышал, не слышал... Не имеет значения. Я давно знаю Тольку, он антиобщественный элемент.

— Что же вы раньше молчали?

— Молчал, молчал... Мы не молчали, сигнализировали. А что толку? Пока женщину по голове не стукнули, милиция пальцем не шевельнула.

— “Мы не молчали, мы сигнализировали“. Кто это мы?

— Мы, общественность дома...

— Василий Иванович! Я вижу, вы человек культурный, импрессионистов собираете...

— Каких таких импрессионистов? Ко мне никто не ходит.

Я показал на массивный буфет довоенного производства.

Там за стеклом, вперемежку с чайным сервизом, стояли Тулуз-Лотрек, Моне, Ренуар.

— Ах, альбомчик, — облегченно вздохнул Кулик. — Это не мои, родственников. У них ремонт, вот мне и подбросили. И посуду тоже. С ней одно беспокойство, разобьешь еще ненароком.

— Понятно, Василий Иванович. Кстати, новый анекдот про вашего знаменитого тезку: пил ли Чапаев? Точно не

помню, говорит Петька, но перед атакой Василий Иванович всегда кричал: “Порублю!”

— По рублю? — Кулик закудахтал, закашлялся от смеха. — Ишь, остряки, самоучки, чего только не придумывают.

— Правильно, Василий Иванович, чего только не придумывают. Вот и на меня напраслину возвели. А эта бумага для меня — сплошное беспокойство. Вы бы взяли назад заявление. Ведь мы с вами люди интеллигентные, зачем же нам друг другу неприятности чинить?

— Меня просили, я и подписал.

— Василий Иванович, я же к вам по-доброму. Вдруг мы еще когда-нибудь встретимся?

— Я что, я ничего. Ежели другие откажутся, так и я — мигом...

— Договорились, Василий Иванович. Заранее благодарен.

10

Итак, я сделал все что мог. Результаты не замедлили сказаться. Через два дня меня отвел в сторону Гречкин и, предварительно как следует обматерив, сообщил: звонили из моего подшефного дома, жаловались, что, дескать, Капустин уговаривает жильцов взять жалобу обратно и угрожает.

— Хорошо Александра Ильича не было в кабинете и я подошел к телефону, — добавил Гречкин. — Но ты совсем рехнулся! Или из-за девки потерял остатки соображения?

— Это прекрасно, Петя, — сказал я. — Теперь они решат, что я у них в руках.

— Кто они?

— Домовые.

— Емельяныч, ты от рождения чокнутый или прикидываешься?

У Гречкина было туговато по части юмора, поэтому пришлось ему объяснить.

— Прикидываюсь. Ты смотрел фильм “Вызываем огонь на себя”? Похожая ситуация.

— Да я давно догадываюсь, что у тебя там “химия”. Но есть ли живая конкретинка? Или просто с огнем играешь?

— Поживем — увидим.

— Эх, Вадик, — вздохнул Гречкин, — молодой еще. Смотри, укатают сивку крутые горки. Но, чур, меня не подводить. Я ничего не знаю, я к телефону не подходил. Но ведь они позвонят еще раз. Как пить дать.

— Ну, тогда с меня пол-литра, разопьем с горя.

* * *

На всякий случай повторяю: Таня Сердан тут ни при чем. Она действительно в то утро встречала своего дядю. Я, каюсь, звонил на аэродром, узнавал. Верно, опоздал самолет из Тбилиси. Страсть к проверкам осталась у меня от супружеской жизни. Рецидив. Самому противно, но привычка.

Пока что подведем предварительные итоги. Первое: дело, официально мне порученное, я успешно провалил. Причем при отягчающих обстоятельствах (я имею в виду компрометирующую меня жалобу от общественности дома). Если последует еще один звонок Хирге, то у меня будут серьезные неприятности. Второе: непонятно, что делать с этим чертовым пальто гражданки Бурдовой. Вешать его на Пшукова? Нечестно. Но впутывать Таню Сердан я не намерен. Как же выкручиваться? Покупать за свой счет? Не слишком ли накладно?

А чем мы можем похвастаться? Первое: знакомством с Таней. Второе: Таня. Третье: неким таинственным омутом, который мы обнаружили и куда забросили удочку с аппетитной наживкой. Ловись, рыбка, большая и маленькая! Ежели мы кого поймаем, то этот улов разом компенсирует все наши просчеты. А если не клюнет? И такое вполне вероятно. Значит, рано еще раскрывать карты. Помолчим для ясности.

Со своей милицейской точки зрения я представляю себе молодых женщин некоей пирамидой, которую венчает косметика и прическа, а сверху укрывает кофточка, блузка, платье и прочие причиндалы. А снизу на сооружение натягивается только одна, узкая, небольшая часть туалета, и именно эта деталь одежды определяет поведение женщины. Если женщина решила, что сегодня — нет, никогда и ни за что, то и поступки ее соответствующие. Если же она догадывается, что нынче ее добровольно заставят спустить этот флаг, то, естественно, ей хочется, чтобы все было обставлено торжественно, конечно, желателен дружественно-церемониальный салют наций, праздничный фейерверк или, в крайнем случае, как при спуске корабля, разбитие (вернее, распитие) бутылки шампанского.

Таня явилась ко мне при полном параде, но, насколько я понимаю, готовая для... И я был весьма настроен, даже очень, и бутылка присутствовала. Но когда настал момент активных действий, я вдруг подумал, что вот так, наверно, и моя бывшая жена, и у нее, наверно, была такая же загадочная улыбка, и такие же глаза с поволокой, и так же начинался этот медленный и сладкий ритуал, — словом, во мне что-то замкнулось. Я закурил и спросил:

— Интересно, ты так с каждым?

Лицо Тани сразу изменилось, и я прочитал по ее глазам: “Ну и дурак же ты, и теперь тебе фигу с маслом, и вообще сегодня — никогда”.

— Ну и что? — сказала Таня. — Я же раньше не была с тобой знакома.

Пошел разговор о странностях любви, и в конце его мы оба несколько оттаяли, и опять стало возможно. Однако тут в передней хлопнула дверь, а следом из кухни донесся лязг и грохот кастрюль, сковородок и посудного металлолома — Клавдия Матвеевна честно сигнализировала о своем приходе. Надо отдать ей должное: она моментально догадалась, что я не один, более того — что у меня интим.

Я застыл в ожидании неотвратимого вторжения.

Таня глянула на меня и рассмеялась.

— Соседка блюдет твою нравственность?

В ответ я вымученно улыбнулся:

— Не блюдет, а терроризирует.

И вкратце изложил Тане всю диспозицию.

— Тогда я пойду представлюсь, — сказала Таня.

— Таня, — взмолился я, но она уже выскользнула из комнаты. Я схватил Котяру и забился с ним в угол, ожидая, что вот-вот на кухне раздастся звон битого стекла, и лихорадочно прикидывая, есть ли у меня дома йод, бинт, лейкопластырь?

Полчаса я слушал тиканье будильника. Потом забеспокоился. Может, они втихаря придушили друг друга? Вот наберусь смелости, выгляну, а там два окоченевших тела? Поспешить на выручку? Но не подолью ли я тем самым масла в огонь? А вдруг вообще все обойдется, и Таня отделается легкими царапинами...

Таня возникла неожиданно, прикрыла дверь и с победной улыбкой швырнула на стул старое пальто Клавдии Матвеевны.

— Радуйся, выторговала за пятнадцать рублей. Точно такое же, как у мадам Бурдовой.

— Танька! — завопил я. — Ты гений! Но как ты уломала Клавдию Матвеевну?

— Мы с ней теперь лучшие друзья, — усмехнулась Таня. — Кстати, уже поздно, проводи меня.

— Танечка, — заныл я голосом Котяры, просящего рыбу.

— Нет, сегодня нет.

— Обиделась?

— За что? Просто ты еще не забыл свою жену. А выступать в качестве “скорой помощи” я не желаю.

— Таня, забыл, честное слово, забыл. Ну, так же нельзя, ты уйдешь, а мне на стенку лезть?

— Обойдешься. И потом, где твоя хваленая выдержка и спортивная закалка?

— Та-ня-я...

— Пошли. Позвоню во вторник.

...Я вернулся около полуночи, принял душ и, выходя из ванной, нос к носу столкнулся с соседкой (запланированная засада или непредусмотренная случайность?).

— Спокойной ночи, Клавдия Матвеевна, — пропел я фальшивым голосом.

— Спокойной ночи, Вадим Емельяныч. Хорошая девушка эта Таня. Может, человека из вас сделает.

Естественно, я заснул не сразу, а долго предавался размышлениям. Вот как получается, думал я, к Тане у тебя масса претензий, а к самому себе? Но чем ты ей можешь быть интересен? Комнатой в коммуналке, куцей зарплатой? Или ей замуж невтерпеж? Не похоже. Но ведь что-то она в тебе нашла. Что именно? Или ты прельстил ее своими подвигами? Господи, какими? Вот Евсеев, тот умеет пускать пыль в глаза девушкам. Любо-дорого слушать, как он договаривается по телефону: “Мариночка, значит, так: в семнадцать ноль-ноль за вами заедет черная “Волга“. Махнем в Архангельское. Заказать заранее столик? Зачем? Меня там все в лицо знают“. А ты рискнул один раз пригласить в кафе, да и там вел себя, как школьник. Но значит, что-то она во мне разглядела. Значит, не такой уж я пропащий человек. Значит...

Перечисление собственных достоинств подействовало на меня усыпляюще.

* * *

Надеюсь, Таня сдержала слово и звонила во вторник. Но только мне было не до личной жизни.

— Коля, — сказал я Евсееву в среду утром. — Хочешь отличиться?

— Отличиться? Всегда пожалуйста.

— Пойдем со мной брать голубчиков.

— Опять три рубля сперли головорезы?

— А тридцать тысяч тебя устраивает?

— Тридцать? Устраивает! — мигом согласился Евсеев.

Коля — парень понятливый, быстро соображает. Я ему объяснил, что к чему.

— “Если кто-то кое-где у нас порой...”, — замурлыкал довольный Коля. — Как там дальше ты поешь?

— “Съел вдруг Фам-Ван-Донга...” — подсказал я.

Коля посерьезнел, оглянулся и вкрадчиво попросил:

— Вадик, дай списать слова.

* * *

— Поздравляю вас с успехом, — сказал мне Приколото. — Вы, Вадим Емельянович, обезвредили опаснейшего преступника. Тяжелая у вас работенка. Но все хорошо, что хорошо кончается.

— Так это еще не конец, Семен Николаевич. Есть за мной грех, пришел извиняться перед жильцами. Рассчитываю на вашу помощь.

— Насколько я догадываюсь, речь идет о заявлении жильцов. Предупреждал вас: люди все видят. И потом, девка она молодая, ветер в голове. Но это можно уладить. Народ наш добрый, отзывчивый. Если с ним откровенно, по совести...

— Бумага лежит в управлении. Разбирать ее будут.

— Вадим Емельянович, я эту бумагу не подписывал. В чужую жизнь не вмешиваюсь. Не в моих правилах. Однако некоторое влияние на общественность имею.

— Сделайте милость, Семен Николаевич.

— Поговорим. Думаю, все образуется. Людям надо идти навстречу. Ведь вы тоже помогли нашему дому. Вора, можно сказать, убийцу выявили. Спасибо вам за это. А Бурдова жалобу второпях сочинила. Она женщина нервная. В общем, Нина Петровна свое заявление назад возьмет. Будьте покойны, я вам обещаю.

— Как уж вас благодарить?

— Не стоит. Я на радостях на все готов, счастье мне привалило.

— Ну! Три рубля по лотерее выиграли!

— Шутить изволите! Я машину выиграл. “Москвича”. Не верите? Билет могу показать. Вот он, голубчик. Серия тридцать два—сто тридцать три.

— Номер сто двадцать пять, — подсказал я, и тут Приколото дернулся. Он понял, что пропал. Однако сразу взял себя в руки.

— Да, значит, вы меня обманывали. Говорили, что лотереей не увлекаетесь. А выигрышные билеты наизусть помните.

— Помилуйте, Семен Николаевич! Как же мне не помнить этот билет! Такая с ним была морока... Масса формальностей. Отношение писали в сберкассу. Сотрудник ОБХСС два дня за Куликом охотился. Признаюсь, не так просто было организовать “случайную встречу”. Да вы не нервничайте, Семен Николаевич, поберегите здоровье. Вы и так переволновались, когда вместе с Куликом билет покупали у нашего сотрудника.

— Меня там не было.

Мне стало страшно за старика. Не дай Бог, его удар хватит! Это уж совсем ни к чему. Поэтому я засуетился, спросил, где у него аптечка, притащил корвалол, налил воды, очень был неприятный момент. Но, кажется, пронесло.

— Семен Николаевич, отрицать бессмысленно. Вот фотографии. — Я выложил их на стол. — Откровенно говоря, вы поторопились. Восемь тысяч за билет заплатили! А все потому, что нервничали. Поторговались, он бы уступил его вам за шесть с половиной. Такая Семенову была дана инструкция.

— Всю жизнь копил, откладывал трудовые гроши...

Я возмутился. Зачем мне жалкие слова говорить? Я не судья и не прокурор. Ведь мы с Приколото в течение месяца разыгрывали шахматную партию, и мне, пожалуй, было трудней, чем ему. Давайте уж, Семен Николаевич, соблюдать правила игры.

— Много надо было откладывать, чтобы за билет три тысячи переплатить, — сказал я. — Вы бы лучше сейчас достали блюдечко с голубой каемочкой. Хотя бы вот это.

Простенький сервиз, но со вкусом. Севрский фарфор? Рублей на восемьсот, не меньше. А какой сервиз вы у Кулика припрятали? Не успел рассмотреть. Да ладно, не уйдет. И уж альбомы импрессионистов с Куликом совсем не вяжутся. Грубая работа. Так вот, возвращаюсь к блюдечку. Взяли бы вы блюдечко и выложили на него все свои “трудовые” сбережения. Где они у вас? В матрацах или книгах?

Минуточку, попробую угадать. Вот в шкафу стоят пять томов Марселя Пруста. Все читали? И не скучно было? Тяжело он пишет. У нас, правда, издавали всего четыре тома. Значит, пятый — муляж. В нем деньги?

Да сидите, сидите, я трогать не буду. Скоро придет Евсеев с понятиями, и тогда сделаем опись по всем правилам.

Но лично мне любопытно, на сколько у вас “трудовых” сбережений? По моим подсчетам, тысяч на тридцать.

— Сорок. Но я не воровал.

— Охотно верю. Воровали другие. Их и сажали. А вы действовали умнее. Я все дела по холодильнику и по мясокомбинату, где вы раньше работали, поднял.

Ловко у вас получалось. Можно сказать, сухим из воды выходили.

Так откуда такая сумма? Чур, мне про переводы от дочери не рассказывать. Я этого не кушаю.

— А курицу вы кушали?

— Не понял.

— Вы курицу в магазине покупали?

— Случалось.

— Вам ее взвешивают в импортной упаковке, весы показывают, допустим, один килограмм четыреста граммов. Все честно.

Но, между прочим, на целлофановом пакете по-иностранному написано: стандарт, вес — один килограмм пятьдесят граммов. Только на эту надпись никто внимания не обращает. За лед переплачивает уважаемый покупатель. А в холодильнике ежедневно такого товару проходит тысячи штук. Это вам не воровство...

— А... а обман рабочего класса? Хорошо придумано. И

ОБХСС не подкопается. Но неужели лед на десятки тысяч потянул?

— Вадим Емельяныч, на одном льду можно состояние сколотить.

Вот, к примеру, с холодильника отправляют машину в магазин с осетриной. Экспедитор прихватывает несколько ведер с водой и запирается в рефрижераторе. В дороге он в пасть каждой рыбине по несколько литров доливает. Теперь считайте.

— Это задача для ОБХСС. Не буду у ребят хлеб отбирать. Но вернемся к “нашим баранам”. Итак, закончив трудовые подвиги, вы благополучно вышли на пенсию. Ваши сообщники, те, кто торопился нажиться, погорели. А ваши деньги при вас. Но что делать с таким богатством? Не оставлять же его дочери. Хочется жить на широкую ногу. Купить машину, мебель, дачу. Но тогда люди интересуются: на какие средства гуляет Приколото? Возникает легенда о богатом зяте, работающем на Севере, и удачной игре в денежно-вещевую лотерею. Я правильно излагаю?

Приколото был непроницаем.

— Значит, правильно. Итак, этой легенде все поверят, кроме одного человека. Слесарь Пшуков помнит два громких процесса на холодильнике. Тогда посадили две группы расхитителей народного добра. Слесарь Пшуков подозревает, что и у вас рыльце в пушку, есть у него на то основания. Ведь не случайно вы его уволили. Однако за руку вас никто не поймал. Но как только начнется “изящная жизнь” пенсионера Приколото, Пшуков заявит: мол, знаю, откуда у него эти деньги. Значит, вам мешает этот человек. Купить его, как вы купили Кулика, не удастся. Более того, при встрече с вами Пшуков как-то криво улыбается. Может, спьяну, а может, и намекает кое на что? Сочувствую вам, деньги есть, а пользоваться ими невозможно — поневоле взвоешь.

И тут подворачивается случай — у Бурдовой пропадает пальто. Вы тонко оцениваете обстановку: Бурдова — женщина с характером, и если ее натравить на Пшукова, то она его в тюрьму упрячет. Начинается детектив. Кулик та-

щит у пьяного Пшукова связку ключей, крадет сумку из квартиры Бурдовой и буквально вкладывает эту сумку в руки Пшукова. Рассчитано точно: у Пшукова душа горит, ему надо опохмелиться. Пшуков в запое, ему море по колено. У палатки стеклопосуды некто покупает эту сумку у Пшукова при свидетелях. Некто получает за это дополнительные пол-литра, а следствие — неопровержимые улики против Пшукова. Продумано все прекрасно, вплоть до бутылки “Виньяка”.

Но растяпа-оперативник топчется на месте, и вы элегантно ему помогаете. В милиции не полные идиоты, и их должно заинтересовать, почему Пшуков написал анонимку. Однако дело опять затормаживается. Пшукова не арестовывают. А вам надо хотя бы на год отправить его в места не столь отдаленные. По возвращении Пшукову будет не до вас. И тогда вы действуете наверняка. Несколько таинственных попыток взломать двери в подъезде, потом Кулик бьет Бурдову мешком, взятым у Пшукова. Надеюсь, это был Кулик, вы сами не станете пачкаться?

— Вадим Емельяныч, в мои-то годы...

— Вот именно. Годы идут, ждать невтерпеж. А оперативника на всякий случай вы берете “на крючок”, организуя обвинение в аморальном поведении. Пусть не рыпается. Наконец, Пшуков арестован. Теперь полный порядок. И тут, действительно, счастье привалило. Предлагают билет. Конечно, рискованно, но когда еще билет купишь? А вы устали ждать. Настолько устали, что стоило мне прийти к вам “с повинной”, как сразу выигрышем похвастались. Это для того, чтоб к вам больше никто с вопросами не приставал. Может, я в чем-либо ошибаюсь, Семен Николаич?

Если бы он на этом закончил игру, я бы оформил ему добровольное признание, хотя надо было писать на всю катушку. Ведь Приколото чуть не посадил невинного человека! Я исходил из того соображения, что Приколото и так сломал себе жизнь. Сколько лет прятался, дрожал, а в итоге?

— Вадим Емельяныч, — вздохнул Приколото, — в одном вы правы: устал я. Сердце пошаливает. Ночами не

спал, думал. Вот-вот в ящик сыграю, не успею. Но с Куликом было иначе. Это он сам, по собственной инициативе.

Опять изворачивается, подумал я. Что ж, пусть пеняет на себя.

— Семен Николаич, Кулика сейчас допрашивает Евсеев. Неужели Кулик не расколется? Он же трус, ваш Кулик.

— Продажная шкура! — Приколото криво усмехнулся. (Прямо как в классическом детективе. Но разве я виноват, что у всех преступников одна реакция — кривая ухмылка.) — Однако не воровал я. Брал, это верно. Брал, что плохо лежит. Не я — так взял бы другой. В нашей работе своя специфика. Кто может, тот и тащит. Одних выловите, приходят другие. И все равно крадут. Мясокомбинат, холодильник, магазин — неразрывная цепочка, живые деньги. Думаете, люди туда по призванию идут? За сто рублей уродоваться, в грязи и холоде возиться? А как жить на сто рублей зарплаты? Вот в чем проблема. Вы ее сначала решите. У нас государство контролирует все, начиная с гастронома и кончая посудной лавкой. В любом ларьке отчетность. Но чем больше отчетности, тем больше лазеек. Для тех, кто понимает. Нэпмана ликвидировали, так в каждой торговой точке другой хозяин появился. Для себя и своих старается. А я, между прочим, не только брал, я еще и работал. Мой цех план перевыполнял, расширял мощности. У меня грамоты имеются. В успехах производства есть и моя заслуга.

Впечатляющая теория. По идее, я должен был как-то ответить аргументированно и доказательно. Но позвонили в дверь, пришел Евсеев с понятиями.

* * *

— Вы, — удивилась Таня. — Вот кого не ожидала!

— Таня, почему на “вы”? А я тут случайно оказался, по делам службы.

— Ах, по делам службы? Тогда желаю успехов.

— Таня, я песенку сочинил: “Ты, товарищ Приколото, приколол вчера кого-то...”

— Неостроумно.

— Таня, ты мне звонила во вторник?

— Не имеет значения.

— Таня, у меня в тот день была срочная работа.

По лестнице подымалась жена Пшукова, Зинаида Ивановна. Она мрачно посмотрела в нашу сторону и, взясь с замком своей двери, вслух произнесла:

— Господи, что творится! Приколоту забрали!

Таня отпрянула от меня, словно ее ударили.

— Так вот какая ваша работа!

Я молча повернулся и пошел вниз. “Черт бы их всех побрал, — думал я. — Конечно, скажи я Зинаиде Ивановне, что ее мужа завтра выпустят, она бы разревелась от счастья“. Да и Танечка заговорила бы по-другому. Но почему они настроены против меня? Как будто я что-то делаю для собственного удовольствия! Ничего, завтра Пшуков вернется, он им все объяснит. Тогда посмотрим. А я не мальчишка, чтобы оправдываться на каждом шагу.

Я спустился на первый этаж и только тогда услышал, как наверху хлопнула дверь. “Вот и хорошо, — подумал я. — Завтра Таня все узнает, и ей будет стыдно, и она позвонит как миленькая. А если не позвонит? “И разошлись они, как в море теплоходы“. Что ж, подожду два дня и приду к ней сам. Таня — баба умная и, наверно, поняла, что никуда я от нее не денусь“.

* * *

Естественно, Профурсет отсутствовал. Смылся через форточку. Ищи-свищи. Я, озлобившись на весь мир, сторожил на кухне чайник. Выплыла Клавдия Матвеевна, загремела тарелками. “Если скажет, что опять испачкал плиту, убью, задушу собственными руками“, — твердо решил я.

— Вадим Емельяныч, — раздался за спиной ангельский голосок. — Ваш Котяра на соседнем дворе. Там кошка объявилась. Туда все коты сбежались.

Готов был расцеловать старую ведьму, но мужская вы-

держка... Я переобулся и помчался на соседний двор. На заборе, нахохлившись, ужасно одинокий и ужасно несчастный, сидел Котяра.

— Что, Котяра, — спросил я его, беря на руки, — и тебе не повезло в личной жизни?

— Вяу! — сказал Котяра.

1970-1975

“ЗАПОРОЖЕЦ” НА МОКРОМ ШОССЕ

Опыт технического исследования

Официально он был рожден в Запорожье, на ЗАЗе, но уж очень напоминал “фиат-500”. Однако это внешнее сходство отчаянно опровергалось конструкторами: мол, наше, родное, отечественное дитя, ну разве что родственники за границей... Чтобы положить конец досужим вымыслам, его срочно модернизировали: удешевили сорт стали (чтоб пальцем можно было оставлять вмятины на корпусе), упростили приборную доску (это вам не проклятый Запад), резиновые втулки заменили капроновыми (которые срабатывались в два раза быстрее), всюду, где только возможно, поставили болты меньших размеров (экономия металла), да и на конвейере бывшие ученики “ремеслухи” импровизировали по вдохновению (то гайку не закрутят, то пружинку не дожмут), — словом, получилось сооружение, при знакомстве с которым опытным механикам хотелось выбросить все справочники, инструкции — все книги вообще, исключая одну (к технике отношения не имеющей), где напечатан был плач пророка Иеремии. Опытные механики уже тогда догадывались, что владельцу “Запорожца”, в сущности, надо надеяться только на эту книгу, храня ее в сумке с инструментами, рядом с буксирным тросом. Однако не понимали механики, что тут был заложен высший смысл: “Запорожец” предназначался для частного сектора, а частника нечего баловать — разводной ключ в зубы и под машину. Таким образом наглядно проводилась в жизнь идея всеобщего обязательного политехнического обучения...

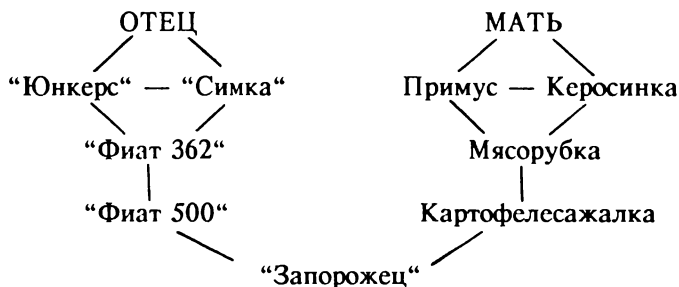
Да, важная деталь биографии: первый экземпляр был привезен в Москву и показан Очень Большому Человеку. Очень Большой Человек, несмотря на крайнюю занятость (читал доклады послон, руководил посадкой кукурузы и репетировал произношение слова “социализм” — последнее,

впрочем, безуспешно), снизошел до “Запорожца“, погладил его, даже соизволил протиснуться в салон — и ничего: “Запорожец“ сделал торжественный круг по кремлевскому двору, не развалился.

И тогда его запустили в массовое производство.

Но к моменту появления нашего героя (кузов № 696070, мотор № 524532, шасси 46778) то ли директору завода надоело получать письма, в которых ему обещали проломить голову монтировкой, то ли уборщицы устали выметать из сборочного цеха отваливавшиеся с готовых машин гайки и болты, а может, просто молодежь конвейера нашла себе другое развлечение — как бы там ни было, наш герой имел некую гарантию и мог проехать тысячу километров самостоятельно.

Геральдическая линия



Из семейного альбома

— Я хочу, чтобы у меня родилась голубенькая “импала“, — шептала мама, — такая блестящая, элегантенная... Пусть будет глупой, но красивой...

— Зачем загадывать, — вздыхал папа, — ребенок в семье — это счастье.

Сам он мечтал, чтобы у них был сын, красный “форд“, будущий чемпион на кольце в Монте-Карло.

Увы, несчастный случай! Мама попала под постановление. Преждевременные роды. Выкидыш. Дитя аборта.

— Как же мы назовем такого хорошенького?

— Назовем его Гантенбайн, — предложил эрудированный папа.

— Сам дурак! — возмутилась мама. — Дитя малое, неразумное. Разве оно виновато? Может, “Манечка“?

Для историков сообщаем, что в этот знаменательный день стояла какая-то погода. Какая именно и где стояла, никто почему-то не помнит. Может, погода стояла за углом, может, пряталась на соседней улице, но на складе — как припоминают старожилы (они же сторожа военизированной охраны) — на складе под ногами что-то хлюпало.

Длинный парень в очках (именуемый в дальнейшем Хозяин) топтался посреди складского двора, а человек в грязных валенках с галошами, ватных промасленных штанах и в ковбойке с засученными рукавами (именуемый в дальнейшем Хмырь Болотный) тщательно, чуть ли не на свет, изучал накладную квитанцию.

Наконец Хмырь Болотный значительно хмыкнул (и Хозяину показалось, что его, как из выхлопной трубы, обдало перегаром, только не бензиновым, а винным), вернул Хозяину квитанцию и хриплым баском спросил:

— Студент?

— Кто?

— Ты.

— Я? — обиделся Хозяин. — Я журналист!

— Чего же ты до “Москвича“ не дотянул, — пристыдил его Хмырь Болотный. — “Запорожец“ — несерьезная машина. Я бы на нем в разведку не пошел.

И пока Хозяин ошарашенно соображал, как же на машине можно ходить в разведку, Хмырь Болотный рассказал анекдот:

— Едет по шоссе “Запорожец“ и подпрыгивает. Милтон свистит, останавливает и спрашивает шофера. А шофер, замечу, такой же верзила, как ты, башкой в крышу “Запорожца“ упирается. Милтон, значит, интересуется, почему машина прыгает. “А я, — говорит шофер, — икаю!..“

Хмырь Болотный заржал, вновь окутав Хозяина сизым

облаком. Но Хозяин быстро сориентировался и тоже ответил анекдотом: муж уехал в командировку, а жена...

Анекдот понравился.

— Ты, Хозяин, молоток! — (впервые в жизни Хозяина назвали именуемым в дальнейшем именем). — Я бы тебя взял в разведку. — И Хмырь Болотный широким жестом пригласил к забору. — Ходи! Выбирай себе автомобиль!

У забора, сбившись в кучу, стояли новенькие “Запорожцы”, недавно привезенные с завода: у одного колесо спущено, у другого — фара побита, у третьего — крыло помято... И все они были, пардон, цвета свежего детского поноса.

— Почему они такие невзрачные? — робко осведомился Хозяин.

— Чего? — вылупил глаза Хмырь Болотный. — Невзр... невср... тьфу, холера! Ты хоть какого выведи за ворота. Видишь, за забором татарин шустрит? Так он у тебя за полторы цены с руками оторвет. Скажут тоже — невхреначные!.. Армянин еще больше даст.

И, подумав, предложил:

— С женой посоветуйся. Она выберет. Жена небось тоже с тобой приперлась? То-то угадал! Старый разведчик...

Жена действительно спешила навстречу, радостно вереща:

— Митенька! Я нашла! Пойди посмотри, какой хорошенький! И с ушками, и с глазками, прямо как живой...

“Ну, баба дает! — покачал головой Хмырь Болотный, критически оценивая жену Хозяина. — Ишь ты, ушки, глазки... Напридумывает женский пол... И почему у всех очкастых такие оторвы? Не за что держаться. Нет, я бы ее в разведку не взял. Хотя если пол-литра поставит...”

В другом конце двора, за двумя грузовиками, прятался наш герой: голубенький, серенький, гладенький, улыбочивый — рот до ушей!

— Смотри, какой веселенький! — пела жена. — Просто красавец!

— Точно, красавец! — подтвердил Хмырь Болотный и мрачно сплюнул: — Бери, Хозяин, заворачивай покупку.

Так с легкой руки (ноги? или плевка?) Хмыря Болотного наш герой стал впредь именоваться Красавцом.

Покатался Хозяин по двору — ничего, тянет машина. Заглянул в багажник. Бензобак на месте, запасное колесо имеется, домкрат на дне валяется... Где сумка с инструментами?

— Здорово работают ребята! — восхитился Хмырь Болотный. — Инструмент сперли!

Хозяин вздохнул и достал три рубля. Хмырь Болотный проворно утопал к забору, открыл багажник крайнего “Запорожца”, приволок сумку.

— Считай, Хозяин, должен быть полный комплект.

Расстались друзьями.

Выехали за ворота. Красавец повилял, приняхался, потом напрямик направился к ближайшей бензоколонке. Подзаправившись, весело фыркнул и бодро почесал по московским улицам. Только кустики мелькали. Но за один квартал до хозяйского дома Красавец вдруг закашлялся и встал. И дальше ни в какую!

Хозяин тыкал скорости, выжимал сцепление, крутил заводную ручку — взмок Хозяин, отчаялся.

Красавец не чихнул и с места не стронулся.

Вылезла жена и вместе с Хозяином стала толкать Красавца к дому.

Публика собралась. Естественно, комментировала.

Но Красавец сжал зубы и не поддался на провокации. Приехал домой, как и положено новорожденному, на руках. Показал характер.

Первые детские шаги. Еще чувствуешь какую-то неловкость. Задеваешь заборы, столбы. Не можешь прямо пройти в ворота. Досадные ссадины, царапины...

Недели не прошло, а Хозяин отличился: заводя мотор, забыл переключить скорость на нейтральную. Машина как стояла у подъезда, так и поехала. Хозяин с перепугу нажал не на тормоз, а на газ.

Что оставалось делать Красавцу? С разгону влетел в парадное. Хорошо еще обе створки были отворены. Лишь

бока ободрал. Не больно? Попробуйте сами, на себе! Небось сразу в поликлинику и — на бюллетень! А мы утерлись, замазали ссадины и улыбаемся как ни в чем не бывало! Одно плохо — соседи дразнятся:

— Эй, Митя, твой Красавец, говорят, по лестницам ходит? На пятый этаж вскарабкался?

И потом — страшно. Страшно с непривычки на московских улицах. Хозяин поначалу тихие переулки выбирал. Но осмелел, и потянуло его на шумные магистрали. А там — ужас! Таксисты-разбойники шныряют, правил не соблюдая. Черные министерские “Волги” прут по осевой, как танки. Частники проклятые тормозят перед носом. И главное — грузовики. В Москве их видимо-невидимо: самосвалы, бензовозы, рефрижераторы, панелевозы, тягачи, трейлеры... Откуда их столько на нашу голову? Вон самосвал везет песок из Рязани в Москву. Навстречу другой самосвал, тоже с песком, из Москвы в Рязань. Почему бы не возить? Бензин казенный... Военный грузовик оставляет за собой черную дымовую завесу. У него одно колесо в два раза выше нас. Заезаешься, попадешь под такую громилу — он раздавит, как пустую консервную банку, и не почешется. Мы маленькие, голубенькие (слегка поцарапанные), вежливые, а они — огромные, нахальные и очень противные. Фу!

И во сне такое не приснится. Попали на Садовое кольцо, в самый “пик”. С одной стороны грузовики в три ряда, с другой стороны грузовики в три ряда. А мы, вместе с легковушками, к осевой жмемся. Нам направо надо, да где там, не пускают! У грузовика железа много — разве он пропустит? Проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Дождались стрелки на поворот, но пока подошла наша очередь, переключился светофор. Встречный поток чуть не смял. Опять пошли вдоль осевой. Только решили перестраиваться в правый ряд, сумасшедший троллейбус наподдал, оглушил гудком, еле-еле успели к осевой отпрыгнуть, костей бы не собрали. Опять проскочили нуж-

ную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Встречный поток вынес на осевую. Сунулись вправо — шофер самосвала кулаком погрозил. Проскочили нужную улицу. Развернулись. Колонна автобусов пионеров везет — не проскочишь. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Тащимся вдоль осевой. Развернулись! Мама, куда я попал! Замуровали!

— Вот так! — сказал Хозяин жене, вытирая потный лоб. — Будем крутиться, пока бензин не кончится!

Через три недели захромал Красавец. Поехал Хозяин за город, на станцию гарантийного ремонта. Простояли день в очереди. К вечеру мастер подошел, осчастливил.

Сняли колпак, вскрыли правое колесо.

— М-да, — сказал мастер, — подшипник надо менять.

— Ну и прекрасно, — сказал Хозяин.

— Прекрасного мало, — сказал мастер, — нету подшипников.

— Но вы же обязаны делать гарантийный ремонт! — вскипел Хозяин. — Я машину тут оставляю и возьму ее только тогда, когда почините!

— Это пожалуйста, — согласился мастер. — Подшипники обещали привезти в конце квартала. Ждите. Правда, за оставленные машины мы не отвечаем. А с запасными деталями, сами видите, туговато. Впрочем, может, кузов и не утащат...

Остыл Хозяин. Закручинился.

— Хоть до дома я доберусь?

— Смотря как поедете, — философски заметил мастер. — Мой вам совет: купите ступицу в сборе. Всего делов-то на пятьдесят рублей. Вообще-то они дефицит, но для хорошего человека — достанем...

— Жулье! — сказал Хозяин.

Развернулся Красавец и поковылял в сторону Москвы.

Два мужика, вышедшие из дверей продмага с бутылкой “чернил“ крепостью в девятнадцать градусов (а может, эти мужики вышли из поэмы Гоголя “Мертвые души“?), «сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем... “Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет

то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?“ — “Доедет“, — отвечал другой. “А в Казань-то, я думаю, не доедет?“ — “В Казань не доедет“, — отвечал другой».

И все бы ничего, обошлось бы, да попалась выбоина на дороге, хрястнуло что-то, и стал Красавец припадать на правую переднюю и плакать горючими слезами. Больно, ой, как больно, железо трет, можно сказать, по голой кости. И тащится Красавец на первой скорости и орет благим матом, мокрый след за ним по асфальту тянется. А Хозяин совсем обезумел, тоже слезами заливается, жмет на акселератор и повторяет, как в беспамятстве, слова русской народной песни: “Врагу не сдастся наш гордый “Варяг“...“

Ну, дотяни, Красавец, дотяни, милый! Всего-то километров пятнадцать осталось. Отвалится правое колесо или не отвалится? Доедет колесо до Москвы? Ой, какой скрежет! Сейчас полетит ось к чертовой матери... Ничего, не дрейфь. Врагу не сдастся наш гордый “Варяг“. Русская народная песня...

Впрочем, почему русская? Почему — народная? Переводчик Арго, листая старые немецкие журналы за 1906 год, наткнулся на любопытную страницу. Там сообщалось, что некий герр Шмидт, восхищенный подвигом русских моряков крейсера “Варяг“ во время русско-японской войны, сочинил песню. Приводился текст песни: “Наверх, геноссе, все на свои места, наступает последний наш час, мы не будем сдаваться врагу и просить пощады“, и соответствующая нотная запись мелодии. Арго, естественно, заинтересовался и раскопал русскую газету за 1910 год, где был воспроизведен русский текст песни, правда, с указанием, что это перевод с немецкого. Имя автора почему-то не упоминалось. В сборнике русских военных песен, изданном в 1915 году, “Варяг“ занимал видное место, однако там не было ни слова о том, что это перевод с немецкого. Деликатность издателей сборника можно было понять — шла война с Германией.

Арго написал о своей находке статью, разослал копии по журналам. Как ни странно, журналы не спешили пуб-

ликовать сенсационное сообщение. Вскоре Арго вызвали в партком Союза писателей. “Ай-я-яй, — сказали партийные товарищи, — подрываете основы“. — “Так ведь это случилось при проклятом царизме, — доказывал Арго, — явный факт фальсификации истории!“ — “А как быть с патриотическим воспитанием молодежи? Как быть с советским кинофильмом “Крейсер “Варяг“?“ — спросили партийные товарищи. Далее Арго намекнули, что как раз сейчас решается вопрос о его заграничной поездке. История с авторством песни о крейсере “Варяг“ канула в Лету.

Ох уж эта История — все норовит куда-нибудь кануть...

Что касается Красавца, то добросовестные беспристрастные историки отметили в своих скрижальных анналах (или в анальных скрижалях?), что автомобиль советской конструкции “Запорожец“ совершил свой первый гражданский подвиг: довез Хозяина до дому. Правда, ступица правого переднего колеса рассыпалась, но это уже детали. Детали Историю не волнуют. Детали Хозяин доставал на черном рынке.

Шло время (которое в нашей стране, в отличие от загнивающего Запада, целеустремленно движется к светлому будущему), и постепенно Красавец стал проявлять свой независимый, лихой характер. На глазах у изумленной публики пронесся Красавец вдоль улицы Горького по резервной зоне, предназначенной для правительственных машин. Ахнули частники, и почесали затылки выдавшие виды таксисты. А потом сообразили, что, оказывается, о т к р ы л и резервную зону — горит зеленый светофор. Но все по привычке к тротуарам жались, а Красавец первым сориентировался.

В сущности, что мы теряем?

Грузовиков бояться — на улицу не ходить. К тому же грузовики тупы и неповоротливы. А нам для разворота до-

статочно двух квадратных метров. Почтенные “Волги” и “Москвичи” рыдают после каждой царапины. У нас же бочка жестяные — стукнули молоточком и выпрямили вмятину. Частники на дорогих машинах шарахаются от самосвалов, а мы в любую щель пролезем. Главное — маневр и находчивость!

...И начали в Москве поговаривать, что появился отчаянный “Запорожец”, которого постоянно штрафуют за превышение скорости.

Случались, правда, и проколы. Но не в “Правах”, уважаемые товарищи, в “Правах” у нас всегда рупь для милиции приготовлен. Раскрывает гаишник “Права”, а там — новенькая хрустящая бумажка сама в руки просится. Какой же зверь после этого дырку в талоне делает?

Однажды Красавец напозволял себе... Кутил в ресторане ВТО, развозил артисток по домам... Короче, возвращался он из Филей. Ночь. Фонари притушены. Свежий снежок выпал. А на Филях место есть такое: площадь, а посередине — клумба... Клумба плоская, ее не сразу заметишь. Тем более когда снегом припорошена. Словом, эта площадь — классическая ловушка для новичков. И не успел Красавец опомниться, как оказался на клумбе. Тут как раз милицейский мотоцикл выруливает. Ситуация — врагу не пожелаешь.

Остановился Мотоцикл, полюбовался картинкой, а потом вежливо так поинтересовался:

— Откуда ты, друг сердешный, спланировал? Уж не из космоса?

— Нечего зубы скалить! — рассердился Красавец. — Почему площадь не освещена? Почему создаете аварийную обстановку?

— А тормоза на что? — допытывался Мотоцикл.

— Если резко заторможу, то обязательно перевернусь. Такая у меня конструкция.

Вздыхнул Мотоцикл, припомнил, сколько “Запорожцев” в кювете вверх колесами валяется...

— Так надо было выворачивать вправо!

— Попробуй выверни на мокром шоссе! Это самосвал вывернет, а я кубарем покачусь аж до самой Москва-реки...

Видит Мотоцикл, что Красавец здраво рассуждает. Не придерешься. Действительно, могла быть крупная авария. И так эта клумба поперек горла застряла, каждую ночь — приключения. А Красавец вроде парень не промах — не растерялся.

— С клумбы хоть слезешь?

— Спрашиваешь!

— Счастливо добаться!

— Покедова!

...Но окажись Красавец не в центре клумбы, а с краю, — уловил бы Мотоцикл запашок, и тогда...

И еще был случай. “Волга“ прогуливалась (ну “Волга“ как “Волга“: новенькая, черная, свежелакированная, с желтыми спецподфарниками, на крыше — антенна, при помощи которой можно в одну минуту поднять по боевой тревоге все дивизии мирного оборонительного Варшавского пакта), так вот вдруг мимо “Волги“ — метеором — Красавец. “Волге“ это почему-то сразу не понравилось. Ишь как подраспустилась молодежь, уважение к старшим потеряла! Наподдала “Волга“, чтоб наказать наглеца, да не тут-то было. “Волга“, она по прямой привыкла, но, как назло, улица общественным транспортом запружена, не протолкнешься. Красавец тем временем меж грузовиков проскакивает, все дальше уходит. Запыхалась “Волга“, взопрела! Нагнала Красавца лишь при выезде из города. Поговорили у милицейской будки. Сначала, как водится, оштрафовали Красавца за превышение скорости. Но затем видит “Волга“, что Красавец хоть мал, да удал. “Волга“ ему нотации читает, а Красавец в ответ:

— Да ладно, хватит, — нацепила подфарники, антенну и изображаешь из себя Братскую ГЭС! Впрочем, баба ты

ничего, в теле, я бы, например, с большой охотой, вон лесок рядом...

Задыхнулась “Волга” от возмущения, а потом подумала — действительно, почему бы нет? Красавец — парень симпатичный, и не из н а ш и х, значит, не настучит, все останется шито-крыто. Все мы люди, все мы человеки, всем охота, а на службе устанешь, издегаешься...

— Ишь ты, какой шустрый, — кокетливо проворчала “Волга” и убрала антенну, — мне в этот лесок нельзя. Слишком на виду. Но я знаю одно глухое шоссе, “кирпичами” закрытое. Со мной — пропустят.

И потрусили они рядышком, нежно держась за руки. Но что у них там дальше произошло, умолчим. Дело пахнет государственной тайной...

Не скроем, любил Красавец пофорсить. Бывало, садится неземное синеекое создание, юбку оправляет, носик морщит:

— Фу, тесновато! И вообще...

— Почему вообще? — негодует Красавец. — В тесноте да не в обиде. А если меня какая-нибудь сволочь обгонит, плачу пять рублей. Пари!

Ни разу не проигрывал!

Однако почти через день приходилось наведываться в редакционный гараж к знакомому механику. Нрав у Красавца был неукротимый, но железо не выдерживало таких скоростей. И летели поочередно подшипники, задний мост, коробка передач...

Тут спрашивают: куда именно все это летело? Уточняем: у нас все летит только вперед! Вперед и выше!!!

Знакомый механик похвалялся приятелю:

— Пока у Мити “Запорожец” — моя семья не умрет с голоду.

Миллионы машин выпускают “крайслеры” и “форды”, да и Московский завод малолитражных автомобилей старается... Бегают эта разномастная армия по автострадам и ав-

тобанам, а чего, собственно, бегают? Ну кто на нее внимание обращает? Зажимают люди уши и жалуются, что бензином воздух провонял.

Лишь одному Красавцу повезло. Сама Марианна Вертинская, знаменитая киноактриса, мечта всех московских интеллектуалов (мечта в полосочку!), выделила Красавца из общего пестрого автопотока, осчастливила, села.

И понесся Красавец, окрыленный таким доверием, окрыленный любовью! На сверхзвуковой реактивной скорости домчался до первого светофора — как назло включили красный, тормозить надо, а не тормозится! Жмем на тормоз, а педаль проваливается! Еле-еле остановились на середине перекрестка.

— Пожалуй, сегодня спешить не будем, — сконфуженно сказал Красавец.

— Лучше не надо, — охотно согласилась мечта в полосочку. Впрочем, полосы куда-то исчезли. Вместо лица — белое пятно.

Поехали тихонечко, аккуратненько, восемь с половиной км в час, — как у Феллини. Задолго до светофоров низшую передачу включаем. И почти что благополучно до Дома кино дотопали, но внезапно слева, резко усиливая пейс, инвалидная мотоколяска — обходит, гадина! Не стерпел Красавец такого позора, взыграла младая кровь! Коляску, конечно, мигом обставили. Но опять же впереди перекресток, а чем тормозить? Педаль проваливается! Заскрежетали шестеренки в коробке передач. Но инерция несет вперед, а впереди стена из троллейбусов и автобусов. Вперед нельзя. Только выше! Безнадега... В последний момент вспомнил Красавец про ручной тормоз. Правда, ручником давно не пользовались, он еще в первые дни сломался, а тут свершилось чудо — сработал ручник, выручил. Уф!

...Была в конструкции старых “Запорожцев” некая загадочность: машина идет со скоростью шестьдесят км в час, а пассажирам кажется, что не меньше двухсот.

И ощущение неземной легкости — будто вот-вот взлетить...

“Наш паровоз вперед лети, в коммуне — остановка“.

Уважаемый поэт-фронтовик рассказывал:

— Мальчишкой я выступал в цирке мотогонщиком по вертикальной стене. В сорок первом служил в морском десанте. В сорок пятом прыгал с парашютом на горящую Варшаву. Но недавно вез меня Красавец по мокрому шоссе... Братцы, скажу честно: такого ужаса я никогда не испытывал!

Писатель Василий Аксенов предложил переделать “Запорожец” в сврейский танк. Призадумались арабские страны, и временно приутихли страсти на Ближнем Востоке.

Постепенно Красавец получил международную известность. Автор “Латиноамериканских рассказов” описал случай на ипподроме.

“...по радио объявили: “В пятом заезде вместо американского жерсбца Апикс-Апорт будет выступать под тем же номером русский “Запорожец“.

И действительно, на призовую дорожку вслед за девятью рысакими выехала маленькая машина, похожая на “фиат-600“.

В соседней ложе заволновались:

— Кто на “Запорожце“?

— Наездник Флавио.

— Флавио? В него я верю. Может, поставить?

— Против Женевьевы у него нет шансов. Смотрите, как проходит Женевьева. Битый фаворит.

— А вдруг Женевьева заскачет? Я все-таки поставлю на “Запорожца“.

— Вы старый игрок, а рассуждаете как мальчишка. У русских машин слабые моторы... Скорее придет Трибун. Смотрите, какой лихой жерсбец! Причем наездник его еще сдерживает.

Я послушал их разговор и побежал к кассе — ставить на “Запорожца“. Не то чтоб я в него верил, но уж такой характер — играть против фаворитов.

Дали старт. Бег повела Женестьева, за ней держался Трибун. Так прошли полкруга. Но вот справа стал вырываться “Запорожец“. Вот он обошел лидеров на корпус, на два корпуса, один, идет один, его никто не достает! Последняя прямая! Ну!

— Кажется, приехал! — завопил темпераментный господин из соседней ложи, который тоже поставил на “Запорожца“. — Давай, милый! Только бы не заскакал! Господи, только бы не заскакал!

И словно он накликал! “Запорожец“ в десяти метрах от финиша сбился в галоп и пришел — галопом — в столб. Плакали мои денежки...“

В Совете Министров ожесточенно спорили:

— Америку по мясу и молоку не догнали!

— Зато мы обштопали Штаты по производству шелковых кальсон!

— Не тот пропагандистский эффект. Вот когда мы спутник запустили...

— Но американских летает в три раза больше...

— Советский человек первым вышел в космос!

— И здесь мы уступаем первенство. Разве что на Луну успеем...

— По достоверным сведениям агентуры, — мрачно заявил председатель Комитета госбезопасности, — американцы раньше нас высадят человека на Луну.

— Товарищи, не надо паники! Мы всегда сможем отыгаться на неграх!

— Держи карман шире! Новый президент такой подлюка — обещает дать неграм равные права.

— Не послать ли ракету к Марсу?

— Американцы уже послали.

— Каковы перспективы орбитальных околоземных станций?

— Чихали в Штатах на эти станции.

- Может, выбросить бюст Ленина на Венеру?
- Какой смысл? Говорят, там нет компартии. Или на-верняка прокитайская...
- Может, голых баб запустим в космос?
- Нашел, чем удивить! На Западе давно сексуальная революция.
- Видимо, мы не всегда оперативно улавливаем све-жие революционные веяния.
- Этот путь для нас закрыт. При существующем про-довольственном снабжении революционная энергия рабоче-го класса должна быть направлена только на нужды про-мышленности.
- Тем более необходим новый успех в космосе.
- А если мы первыми высадим на Луну “Запорож-ца”? — раздался робкий голос.
- Помолчали. Идея представлялась заманчивой...

Но по-настоящему Красавец прославился после совер-шенно фантастической истории. История кажется абсолют-но невероятной, но, однако, поговорите со старыми москов-скими гаишниками. Они, когда это вспоминают, сразу за животы хватаются.

Дело было простое, житейское. Вздумал Первый чело-век Москвы вместе со Вторым на рыбалку съездить. Без лишнего шума, скромненько, можно сказать, совсем по-пролетарски. У Первого — “ЗИЛ”. У Второго — “Чайка”. Два шофера. Охраны — человек шесть. Вот и вся компа-ния.

Порыбачили славно. Отдохнули. А когда назад собра-лись, глядь — у “ЗИЛа” сняты три колеса, а у “Чайки” — все четыре. И аккуратно под обода чурочки подложены.

Потом выяснилось, что ехали грузины. Увидели на лу-жайке близ дороги два новеньких автомобиля. Темные бы-ли грузины, не сообразили, что машины правительствен-ные — ведь в Грузии тогда любой завмаг мог “Чайку” по благу достать. Остановились грузины, прикинули обстанов-ку. Вроде бы без присмотра добро ржавеет. (Почему без присмотра? Охранники рыбу неводом гнали, за машины не

беспокоились. Известно, что у “Волг” или “Москвичей” резину воруют — но “Чайку”, а тем более “ЗИЛ” в Москве ни разу не разували. Дураков нет.)

Грузины попались шальные. Решили небось — давай нашему дорогому Сулико подарок сделаем. А покрышки с “ЗИЛа” про запас сняли. Вдруг удастся самому товарищу Мжаванадзе за полцены загнать. Конечно, хозяин Грузии в “запасках” не нуждается, но за полцены — и он не откажется... Грузин этих под Курском прищучили, далеко успели утопать, да на “левой” “Победе”... Но все это потом было.

А в тот момент!

Фантазия у вас есть? Вот и представьте себе, что сказал Первый человек Второму, а Второй — начальнику охраны, а начальник охраны — рядовым охранникам (капитанам, лейтенантам в штатском), а те — шоферам. Лично нам подробности неизвестны, а придумывать мы не привыкли. Знаем только, что двос охранников побежали в соседнюю деревню звонить в Москву, а остальные — на шоссе выстроились ловить “попутку”. Да как на грех ни одного задрипанного самосвала — воскресный вечер, проселочная дорога, тишина, и лишь травка зеленеет и солнышко блестит...

И вдруг пыль на горизонте! Кто-то катит. Штатские на изготовку. А пыльное облако все ближе, и вот он, долгожданный, вынырнул “Запорожец”. Начальник охраны даже сплюнул от злости! “Носит нелегкая всякую нечисть. Была бы хоть “Волга” — временно бы конфисковали...”

Но, видно, здорово разозлился Первый московский человек на своих служек. Страшнее мести не придумать! “Проголосовал” Первый — Красавец на тормоза.

— Здравствуйте, товарищ! Не в Москву ли направляетесь? Прекрасно! Подбросите? Садись, Иван Ваньч.

Второй побряхтел, но куда же ему деваться? Пролез на заднее сиденье. А Первый рядом с Хозяином с комфортом устроился.

Хозяин головой крутит, ничего понять не может. Сели два здоровых лба, вином от них попахивает. Остальные мужики хмурятся, а самый толстый из них — плачет на-

взрыд: “Петр Устиныч, подождите, сейчас пришлют из города”.

Кто придет? Кого пришлют? Да ну их к черту! Наверно, пьяная компания передралась. Ладно, просят подвезти — подвезем. Мы люди не гордые. Правда, лицо Петра Устиныча показалось Хозяину знакомо. Но разве угадаешь, что вот так, запросто, с портрета в машину шагнули?

Красавец взревел и попер по проселку. Метров пятьсот проехали, и человек на переднем сиденье вежливо так предложил:

— Товарищ, может, потише поедем?

Удивился Хозяин:

— Да что вы! Скорость — пятьдесят км!

— Разве? — удивился человек на переднем сиденье и замолк надолго.

Вылезли на шоссе, и Красавец бойко почесал к Москве. На спидометре — семьдесят. Петр Устиныч глаза закрыл. Наверно, притомился. А пассажир сзади дрожащим голосом интересуется:

— Скажите, товарищ, вообще-то машина надежная?

Хозяин рад поболтать со случайным попутчиком.

— Вообще-то всегда домой добирался. Но всякое бывало. Колесо отлетало. Руль заклинивало. А однажды, когда вез знаменитую артистку, Марианну Вертинскую, — видели небось ее в кинофильме, — так...

И подробно стал Хозяин рассказывать, как с Вертинской по Москве путешествовали и как тормоза отказали. Слово за слово, но замечает Хозяин, что на шоссе нечто необычное происходит. Откуда ни возьмись выскочила милицейская “Волга” — полосатая “раковая шейка”, с фонарем на крыше, и пошла впереди, по самой середине шоссе, встречные машины к обочине прижимает, вроде бы дорогу расчищает? А кому? Сзади две “Чайки” пристроились и защитного цвета бронетранспортер. Хозяин благоразумно решил их пропустить, тормознул. Но “Чайки” и бронетранспортер тоже приотстали, не хотят обгонять, в кильватере держатся.

Тем временем рассказ о путешествии с артисткой Вертинской подошел к моменту, когда инвалидная мотоколя-

ска резвый темп навязала и еле-еле ручной тормоз выручил. И услышал Хозяин шепот сзади:

— Петр Устиныч! Рисковать своей жизнью вы не имете права! Партия вам не простит.

И так как ответа не последовало, то голос сзади окреп:

— Товарищ водитель! Правь к обочине. Останавливай, да осторожно.

Ну кто этот задний пассажир Хозяину? Случайный попутчик! Но в голосе прозвучали такие нотки, что Хозяин стих, как кролик, и беспрекословно на тормоза!

Тут только открыл глаза Петр Устиныч, окинул окрест себя затуманенным взором и вымолвил со значением:

— Директора Запорожского автозавода гнать надо из партии...

И уже с другой, ленивой, снисходительной интонацией добавил:

— А вам, товарищ, счастливого пути. Звоните, если что...

Правда, телефона своего почему-то не оставил. Но крепко руку пожал.

Задний пассажир буркнул что-то нечленораздельное и бегом в кусты.

И опять Хозяин в недоумении. Видя, что рядом с Красавцом две “Чайки“, две “Волги“, бронетранспортер — всем им тоже приспичило, что ли? Всем в кусты надо?

Нажал на газ Хозяин. Подальше от веселой компании.

Однако через пять минут с диким свистом обогнала его эта колонна, чуть в кювет не сдунула. И скрылась за горизонтом.

Всю следующую неделю ломал Хозяин голову, кое-что стало проясняться. А потом остановил его на Садовом кольце гаишник. Разговор обыкновенный: “Почему на желтый проехали?“ — “Я не проезжал!“ — “Три рубля штрафа!“ — “Да клянусь вам, зеленый был, товарищ инспектор!“ — “Ах, спорите? Пойдете в воскресенье на лекцию!“ — “Да не я один проскочил. Я держался за черной “Волгой“. — “Волга“ вам не указ! Ваши права! И явитесь на Подкопаевский для пересдачи!“

Впредь наука: не лаясь с ГАИ. Отобрали права.

Инспектор справку заполнял: имя, фамилия, место работы, марка машины, номер...

Как до номера дошли, споткнулась бойкая ручка. Прищурился инспектор:

— Товарищ водитель, вы случайно в прошлое воскресенье на Истринском водохранилище не отдыхали?.

Вопрос с подвохом. Значит, и там нарушил? Семь бед — один ответ, все равно — плакали права!

— Было, товарищ инспектор. Я человек честный. Правду говорю. А на желтый я не проезжал.

Хихикнул инспектор, но разом взял себя в руки. Приосанился. Голос официальный стал, а глаз — веселый.

— Катайтесь, товарищ водитель. Только скорость не превышайте. Говорят, в “Запорожце” без привычки не проедешь...

И справку тут же порвал. Водительские права вернул. Взял под козырек.

Сейчас, конечно, все твердят: почему Красавец делал так, а не так, и надо было, и ему бы следовало, и лучше, и тогда наверняка, и вообще — и прочую дребедень. Короче, никто не понимает, почему он был таким. А ответ ясен — характер.

Красавец был маленьким, на него всегда смотрели свысока, а он не желал этого. Он задира, по возможности, нос и доказывал, всем доказывал, что он, Красавец, не такой уж маленький, и способен, ей-Богу, способен на многое. Он просто не мог жить в постоянном унижении!

Конечно, если бы Красавец смирился со своей участью и никогда бы не превышал сорока км в час, тогда, конечно, он бы благополучно дотащился до уважаемого возраста и законной пенсии. Ведь недаром портрет основателя соцреализма вещает с недосягаемых высот: “Рожденный ползать — летать не может”. Кажется, точный марксистский закон, основанный на передовом материалистическом мировоззрении. А Красавец все время его нарушал! Не хотел Красавец ползать, он летал — и летели ошметки передового закона, и летели карданые болты, и летел Красавец по

дорогам России, с выбоины на колдобину. (“Эх, подмосковные, дороги ровные...” Почему автора этой песни еще не настигла монтировка шофера?) В Крыму обставил всех ялтинских таксистов, за ночь проскочил от Мелитополя до Тулы, установил мировой рекорд скорости прохождения московских улиц в самый “пик” (от проспекта Вернадского до Выставки достижений народного хозяйства — 22 минуты!!) — эх, Красавец, Красавец, “такой маленький, такой хорошенький”, где сейчас твои ушки и глазки?

...Могильным холодом повеяло с булыжного шоссе у Игналинского озера. Бешеная гонка за литовской “Волгой”, вертихвосткой с распущенными патлами, сто километров по булыжнику... Литовка зазывно смеялась и крутила “динамо”, но у самой Игналины — сдалась, уступила. Ночь. Луна. Соловьи. Любовь.

А потом, когда “унялись волнения, страсти”, вывесили Красавца на подъемнике Рижской станции техобслуживания. Тронул мастер колеса и закурил. Болтаются колеса! Подошел механик, любопытствовал и почесал затылок. Подошел слесарь, удостоверился и почесал себе место, откуда ноги растут. Подошел сварщик, охнул и почесал себе еще более интимное место.

Стояли и чесались. А что еще делать? Сработались у Красавца втулки переднего моста. Двенадцать капроновых втулок. Цена каждой ровно три копейки, но не достать этих втулок ни в Риге, ни в Таллинне ни за какие деньги. Нет этих втулок по всей Прибалтике, нет их ни в Ленинграде, ни в Белоруссии. Шагающие экскаваторы есть, трелевочные тракторы в наличии, самоходные комбайны имеются, даже танки класса “амфибия” с инфракрасными фарами — пожалуйста, пригоним хоть тысячу! Но вот втулок капроновых, трехкопеечных, на всей территории, на которой могут разместиться три Франции плюс один Люксембург, втулок — ни одной штуки! (Может, именно по этой причине Франция и Люксембург не спешат здесь размещаться?)

— Хозяин, — сказал мастер, — давай я тебя развеселю. Новый анекдот. Едет по шоссе “Запорожец” и подпрыгивает. Останавливает его милиционер, спрашивает у води-

теля, почему машина прыгает. А водитель, русский парень, отвечает: “Это я ик-каю!”...

— Хороший анекдот, — согласился Хозяин, — смешной.

— Какой же ты друг после этого? — возмутился приятель. — Обещал, что мы вместе вернемся на машине в Москву, а теперь отказываешься... Я вон даже варенья накупил, десять банок...

— Варенье возьму, — сказал Хозяин.

— Небось чувиху подцепил? — съехидничал приятель.

— Точно, — согласился Хозяин.

С утра пошел дождь. Зарядил тупо, монотонно, на целый день. Сразу после Риги застучало правое заднее колесо. Хозяин вылез, достал гаечный ключ “на двенадцать”, лег под машину. На правом кардане отставали два болта. А где еще два? Отлетели? Но почему не входят запасные? Что за чертовщина? Позавчера проверял на станции техобслуживания: карданы были в порядке, все болты затянуты наглухо.

Сзади остановился “Запорожец”. (Когда на обочине изпод “Запорожца” торчат ноги водителя, другие “Запорожцы” останавливаются без приглашения. Понятно без слов: сегодня я тебя выручу, завтра — ты меня.) Шофер лег в лужу рядом с Хозяином. Добровольный консультант изъяснялся несколько вычурно, но безапелляционно, в основном оперируя одним глаголом, смягченным нами для благозвучия:

— В общем, парень, хреново! Срезались головки болтов к... самой матери! Другие не вхренаришь. Надо дрелью расхреновывать эти хреновины, а дрель сегодня ни хрена не достанешь — воскресенье, хрен им в нос и в рот, даже не знаю где... Ты хренай, только очень хреноватенько, до Даугавпилса, там наверняка на автобусной станции дежурный хрен свой хрен хреновит. Дохреначишь — твое счастье, но не хрени, а то как перехренакнешься!.. Не говори, парень, все мучаются. Это не карданы, а сплошная хреня,

на хреноватости хренящаяся! Отхреновьвай двадцать км в час, иначе хреники захренарят, и колесо на хрен. И будешь горько плакать!

Далеко-далеко (так и хочется добавить: “где кочуют туманы”), на 71-м километре, с проселка выехал грузовик, оставив на черном лакированном шоссе желтые разводы мокрой глины.

Хозяин не смотрел на дорогу, а вертел головой и прислушивался — не раздастся ли вновь стук заднего колеса?

Красавец, не чувствуя твердой руки, постепенно набирал привычную скорость...

“Так я и буду за тобой тащиться всю жизнь? — думал Красавец, нагоняя “Волгу” с ленинградским номером. — Раскорячилась на самой середине шоссе, а по правой стороне, как положено, ездить не умеешь? На прямой, конечно, где тебя достанешь! Сил много, ума не надо! Вон, видишь, поворот? Там мы с тобой и разойдемся, как в море теплоходы. Страшновато на повороте? Тормозишь? Прощай, бабка! А это что за образина вылезла? Мама родная, его величество самосвал! Отдыхал бы под навесом, газетку бы почитывал — так нет, дома не сидится. Привет, привет, привет горячий!.. Еще один самосвал, как сговорились! Всех грузовиков не обгонишь, но к этому надо стремиться! Старушка “Победа”, естественно, прет тоже посередке. “Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер...” Давай, давай, принимай вправо! И кому только выдают шоферские права? “Москвичи”-двойняшки, где маму потеряли? Вежливые попались ребята, мигалку включили, сами дорогу уступают... Спасибо, родные! Девочка под деревом “голосует”. И почему Хозяин ее не берет — могли бы и подвезти с ветерком... “А дождь идет, а дождь идет, и все вокруг чего-то ждет...” Кто эту песню поет? Нина Дорда? Ладно, почешем в одиночку. Скучная дорога. То ли дело в Крыму! Там не зевай! М-да, братцы-товарищи, опять накаляется обстановка на Ближнем Востоке. Ну вот я,

простой советский “Запорожец”, в политике ни бум-бум, но ежели меня спросят, скажу: “Арабы завсегда нас обманут. Им лишь деньги давай, а как американцы больше заплатят — перекинутся в империалистический лагерь”. Вообще все — суета сует. Мало духовного в нашей жизни. Погрязли в тряпках, в запчастях. Быт проклятый заедает. А между прочим, ночью взглянешь на небо — там звезды. И вокруг каждой — планеты. А по планетам этим небось тоже “Запорожцы” бегают...”

Хозяин почувствовал рывок, и машину понесло вправо. Накатилась зеленая волна... И еще несколько мгновений, пока летели сквозь кустарник, Хозяин пытался вывернуть руль, но, казалось, скорость все увеличивается.

— Мама! — крикнул Хозяин.

Удар.

Сколько времени прошло? Секунда? Минута?

Хозяин вставал, подвывая, и видел разбросанные рубашки, книги, чемодан с отломанной крышкой, майку на ветке дерева...

В пяти метрах, уткнувшись разбитой головой в дно канавы, лежал Красавец. Задние колеса еще подрагивали, задний подфарник мигал, агонизируя.

И сразу очень страшно: крыша “Запорожца” и правый бок — все в красной жидкости! Миг ужаса.

“Но нет, нет, — соображал Хозяин, — не может быть в одном человеке столько крови! Вот мои руки, вот мои ноги! Так это варенье! Фу ты, черт!”

И постыдная радость: слава Богу, я живой!

Все машины, которые недавно обгонял Красавец, подтянулись, остановились. Высыпал народ. Разминали затекшие ноги, обменивались впечатлениями:

— Я как увидел, как он едет, еще подумал: “Нет, это добром не кончится!”

— А где милиция? Надо зафиксировать дорожное происшествие.

- На кой хрен? Кузов — всмятку! Доездилися!
 - Шофер-то цел?
 - В рубашке родился! Его выбросило через правую дверь и не поцарапало! Один шанс из ста.
 - Да, будь он с пассажиром — вместе бы в лепешку.
 - Гляди, руль сломан!
 - Руль и спас! Если графически вычертить, то вектор движения от силы удара и амортизации руля смещается вправо...
 - Господи, кровящи-то!
 - Да не кровь это, тетка, а варенье.
 - Варенья жалко. Смородиновое или малиновое? Смородина нынче в цене...
 - На буксире пойдет?
 - Колеса заклинило...
- Слова. Слова. Слова.

Однако свой брат шофер выручил. Мужики отволокли останки Красавца через дорогу, на двор хутора. Владелец хутора, кузнец Пауль, латыш, заверил Митю, чтобы тот не беспокоился. Сбережет он машину до Митинога приезда.

В теплой комнате напоили Хозяина чаем, завязали веревкой разбитый чемодан.

— Пауль, может, денег тебе дать?

Усмехнулся латыш:

— Я на чужой беде не наживаюсь.

Дохромал хозяин с чемоданчиком до шоссе (что-то с ногой случилось, впопыхах и не заметил) — а все уже разъехались. Пустота. Дождь. И шоссе чистое. Все следы смыты. Словно ничего и не произошло. Словно ничего и не было. И может, вот-вот появится из-за поворота маленький, “такой хорошенький, с ушками и глазками“...

Час “голосовал“ Хозяин. Тянул руку. Тихо пронеслись мимо “Волги“ и “Победы“, да кто остановится? Много вас развелось вдоль дорог, любителей кататься на дармовщинку.

Хозяин промок насквозь, потерял всяческую надеж-

ду, — но тут притормозил старенький “Москвич”. Любезные старичок и старушка. Без разговоров открыли дверцу.

...Шустрит “Москвичонок” к Риге. Скорость — не больше тридцати. Тепло в машине. Сухо. Уютно. Спокойно. А кто на 71-м километре остался, кто на дворе под дождем лежит, верный товарищ, сам погиб, тебя спас — да ладно, да хватит (так, кажется, говорил Красавец), выпустил нюни, скажи еще спасибо, ведь жизнь продолжается...

— Разрешите сигарету?

— С превеликим удовольствием. Хотя, молодой человек, медицина утверждает, что никотин отрицательно влияет на здоровье.

— Совершенно с вами согласен. Вредная привычка.

Вернулся Хозяин только зимой. Сунулся по инстанциям. Ему объяснили, что нужно ехать в Огрский райотдел: там бумагу должны составить, дескать, не было в этот день дорожных происшествий, никого Красавец не сбил, не задавил, не опрокинул.

Огрский райотдел милиции — двухэтажное здание, как раз напротив универмага. Чистота, пустота, благолепие. Побродил Хозяин по коридору, почитал лозунги на стенках: “Создадим”, “Добьемся”, “Построим”. Под плакатом “Все дороги ведут к коммунизму” секретарша чистила ногти.

Милый разговор произошел:

“Где Зам?” — “На занятиях!” — “Где Пом?” — “На объекте!” — “Где старший инспектор?” — “Участок объезжает!” — “Где начальник?” — “Нету начальника!” — “Когда его приемные часы?” — “В среду!” — “Так сегодня среда?” — “Ничего не знаю, вызвали начальника в район!”

Другой бы на месте Хозяина угомонился, явился бы в следующую среду, но Хозяин — человек нервный, взбелевился, вытащил красную книжечку, хлопнул ею об пол. Секретарша шею вытянула, обомлела: корреспондент Центральной газеты!

Юркнула секретарша в кабинет и оттуда выпорхнула, раскланиваясь, мол, проходите, пожалуйста, ошибочка вышла, я подумала, что вы простой, советский.

А в кабинете и Зам, и Пом, и старший инспектор, и сам начальник. Застегнуты, подтянуты, соответствуют должности, улыбками щелкают — прямо иллюминация, как в светлый праздник Седьмое Ноября.

— Просим! Садитесь! Пепельница слева! Лимонад или кофе? Позвольте узнать, чем наше скромное учреждение привлекло ваше внимание?

Хозяин дело понимал. Спросил о показателях. Показатели были все на уровне. Преступность в районе катастрофически падала. Бытовые происшествия пресекались профилактической работой сотрудников. Число аварий на дорогах (на тех, которые ведут к коммунизму) значительно меньше, чем в прошлом году.

Хозяин эти цифры аккуратно записал в блокнотик и как бы между прочим:

— Кстати, об авариях. Тут летом со мной случился казус...

Товарищи из райотдела мигом все схватывали, на ходу подметки рвали:

— Оформим чин-чинарем! Грузовик достанем, вывезем. Где это произошло? На семьдесят первом километре? Скверный поворот. Там не то что “Запорожец“, недавно трактор перевернулся! Но уже разработан проект, этот участок будем заново профилировать — смета утверждена. Поэтому не стоит в центральной прессе...

— Конечно, не стоит!

Руку долго жали.

И все-таки Хозяин тоже поехал на 71-й километр.

Во дворе хутора по пояс в снегу лежал Красавец. Передние шины спущены, попка задрана. Рожица, сплюснутая от удара, застыла в болезненной гримасе. Пустые глаза мертвы. На лбу, где засохло варенье, — красные сосульки.

Отвернулся Хозяин, шмыгнул носом, утерся:

— Спасибо, Пауль! Спасибо, что выручил! Спасибо, что сберег. Вот деньги: купи ребятам три пол-литра. Пусть помянут добрым словом.

Технический паспорт Красавца и мотор купил какой-то народный умелец. Видимо, задумал смастерить себе механизированную тачку.

А кузов “Запорожца“, бранные останки, куда девать? Заседала авторитетная комиссия. Решала.

С одной стороны, было мнение, что раз характер Красавца бесспорно героический, то соорудить Красавцу памятник, прямо у дороги, на месте происшествия.

Но, с другой стороны, всплыли иные мнения. Дескать, морально Красавец был не очень устойчив (припомнили наезд на клумбу в нетрезвом виде, лихачество на Крымском шоссе).

А физически устойчив? Физически совсем неустойчив!

Зачитали заключение иностранного специалиста. Иностранец аж диву дался. Иностранец анализировал технические данные и утверждал, что, по идее, Красавец должен был попасть в аварию при первой же попытке обгона, перевернуться на третьем повороте, потерять колеса на четвертой тысяче своего километража, стореть на пятой, рассыпаться на мелкие детали — на шестой.

Огорошила всех техническая экспертиза иностранца. Такой категоричности не ожидали. Правда, кто-то вякнул, что, мол, близко к истине: ведь не случайно сняли с производства старый “Запорожец“, запустили новую, модернизированную модель — на ошибках учимся!

Но сурово сдвинул брови председатель комиссии.

— У иностранца кишка тонка! Не понимает, жук валютный, русского характера. Подумаешь, технические данные! А как во время войны? Хлеба четыреста граммов, луковица, три патрона в винтовке — и ничего, разбили немца! Победили! И все миролюбивые народы Европы нам до сих пор благодарны. Вот так!

Постановили: возвести на 71-м километре бетонный постамент, водрузить туда кузов Красавца и плакат соответствующий. Утвердили единогласно.

Однако, как иногда еще случается, решение приняли, а проведение его в жизнь — не проконтролировали.

Бетон для постамента, точно, достали. Но весной в колхозе коровник рассыпался, бетон туда и утянули.

Район задолжал Вторчермету, и пионеры кузов “Запорожца” на металлолом сволокли. Тем самым район план перевыполнил.

Зато плакат остался. Поезжайте на 71-й километр шоссе Рига—Даугавпилс, полюбуйте. Высокий плакат, красочный. Железные опоры, алюминиевая доска. А на ней несмываемыми, светящимися ночью буквами написано:

“СОВЕТСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!”

Париж, 1976

КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРУБЫ С ОРКЕСТРОМ

*“Не повесть, не роман, не очерк,
...а просто соло на фаготе с ор-
кестром — так и передайте”.*

В. К а т а е в. “Кубик”

Вся моя жизнь — концерт. То, что происходит со мной, помимо концерта, — затянувшийся антракт. Сон, утренний туалет, завтрак, прогулка, репетиция, обед, какие-то разговоры, общение с семьей — все это я воспринимаю как досадную, но, увы, необходимую паузу между выступлениями. Нас, оркестрантов, вероятно, можно сравнить с древними жрецами, которые целый день готовились, настраивались, приводили себя в особое, божественное (или, с точки зрения современной медицины, сомнамбулическое) состояние, чтобы на один час стать ясновидцами.

День — это какофония борща и перегретой электробритвы, драма пережаренной яичницы, конфликт между отцами и детьми из-за мусорного ведра, это поиски тишины в сапожной мастерской, это диспут на моральные темы в очереди за селедкой, это бег рысаков-прохожих по чужим мозолям, это пилка дров ржавой пилой со второго такта, это рыбная ловля “на блесну” в кошельке жены, это галантерейный набор старых анекдотов в курилке, —

но первый звонок врывается в вестибюль, как порыв ветра на аллею бульвара, вороша опавшие пестрые листья, —

день — это нисходящие, восходящие, уходящие, заклеянные липким шрифтом пишущей машинки проходящие бумаги, которые люди (в строгих серых костюмах, люди с высокими лбами и волевыми подбородками) разрисовы-

вают косыми абстрактными автографами и передают друг другу (в этом пригородном вокзале циркуляров есть тоже свои часы “пик” — бумаги несутся, пропуская остановки, и нетерпеливо гудят); это протезные руки кранов, лениво шьющие ширпотребовский костюм нового квартала; это румяные блестящие машины, прыгивающие с конвейера, как пятаки из разменного автомата, —

но второй звонок устраивает легкую карусель у дверей партера, —

день — это стиральная пена океана, в которой плещутся помятые стальные посудины; это мечтательные глаза лунатика-часового, прислонившегося к заиндедевшему основанию вороной межконтинентальной ракеты; это мозаика сигнальных лампочек на пульте управления космического корабля (а сам пилот искоса наблюдает, как намазанный маслом бутерброд кувырдается в кабине, гоняясь за полированным кружком копченой колбасы); это формула, извиляющаяся и шевелящаяся в тетрадке ученого, марсианская бактерия, способная отравить или исцелить нашу планету, —

но третий звонок насухо подметает лестницу и фойе дирижер застывает в позе распятого Бога, повернувшись лицом к освещенному алтарю

костел с кренделями хоров, в котором верующие столетиями просили отпущения грехов

церковь, где пели монотонные псалмы первые христиане пещера со сталактитовыми сосульками люстр, в которой далекие предки прятались от ужасов первобытного мира, благоговейно любуясь жаркими плясками языческого костра.

И вот раздается вздох, низкий грудной голос нашей матери Земли.

Человек наедине с природой, наедине с самим собой, что было, то и будет, что делается, то и будет делаться под солнцем, но мы мечтаем об ином и будем мечтать, пока не умрем, будем надеяться на лучшее, так почему оно, это лучшее, еще не наступило, а если оно есть, то надо задержать навечно минуты счастья, а если оно прошло, то когда вернется?

Глухие аккорды струнных звучат на низких октавах. Равномерные взмахи лопат. Пехота все глубже зарывается в землю. Эшелонированная оборона виолончелей. Прячьтесь от злых сил холодного мира! Слабо всхлипывают передовые укрепления скрипок. Вдрагивают короткими очередями альты. Самоходка рояля заползает на рваных гусеницах минорных пассажей в укрытие. Тупо и обреченно ухают гаубицы басов и баритонов.

И вдруг в небо взмывает труба. Это поднят фланг наступления. Это идут наши самолеты, пехота выскакивает из укрытий. Альты обгоняют скрипки. Виолончели выстраиваются в штурмовые колонны. Рояль несется на мажорной скорости. Тяжелый калибр духовых стреляет прямой наводкой. Задыхаясь, семенит арфа-санитарка. Замполит-ударник бьет в литавры. Победа близка.

И все потому, что вступила труба.

Высокий звук трубы, повисший над низкими октавами струнных, дает ощущение забытого, доисторического счастья.

Господи, как хорошо тем людям, которые могут понять эту гармонию. Как ярка их жизнь! Можно сказать, на ровном месте, без тревог и волнений, они вкушают райское блаженство — и всего-то за рубль, рубль пятьдесят — цену входного билета.

Впрочем, и в гармонии должен быть порядок. Для нас, профессионалов, это система расположения на нотной бумаге семи знаков — до, ре, ми, фа, соль, ля, си (до-ре-ми-фа-соль-ля-си, села кошка на такси, заплатила сто рублей и поехала в музей), — это минорный или мажорный ряд с кавалерийскими наскоками бемолей и дизезов, это... Впрочем, смотрите сами нотную грамоту. Для себя я давно заметил, что эти знаки на определенной октаве прочно вошли в мою жизнь. Я просыпаюсь под звук “ля” (гамма си-диез минор). Засыпаю на “до” в нижнем регистре. Жена моя начинает меня пилить с “ре”. Доклад на международную тему обязательно кончается на “фа мажоре”. Когда на репетициях у нас, допустим, вместо финала пятой симфо-

нии происходит сеча русских с кабардой, то концертмейстер стучит по пюпитру и на жалобном “ми” произносит: “И не стыдно, товарищи?” “Соль” и “си” — это голоса моих детей. Вероятно, я не одинок в своих причудах, ибо помню, как в гостях у Петухова, первой скрипки, валторна Шенгелая рассказывала разные забавные байки и все смеялись, а альтист Садовкин сидел зажмурившись и покачивал головой. “Что вы заскучили?” — спросили Садовкина, и он, словно проснувшись, обволок нас своими вязкими синими глазами и сказал: “Какое чистое “ля” сейчас выдала девочка!”

Однажды все эти знаки приобрели четкий человеческий облик. Я вошел в вагон метро, достал газету и вдруг вздрогнул. Прямо передо мной сидела вся гамма. Причем самое странное было то, что знаки не перемешались, а расположились в строгой последовательности слева направо:

“До” — молодой парень с черными прямыми волосами, спадающими на глаза, без улыбки, серьезный, подтянутый — словом, именно таким я представлял себе этот звук.

“Ре” — ощеренный худой работяга, колючий взгляд, распахнутая рубашка, длинные руки.

“Ми” — благообразный лысый интеллигент, в меру начитанный, чуть ироничный.

“Фа” — человек с лицом “фа”, просто копия знака, висящие щеки и уши, маленькие испуганные глаза.

“Соль” — пожилая домохозяйка, расплзшаяся, но благопристойная, опора семьи.

“Ля” — удачливый, веселый, в светлом костюме субъект, балагур-остряк, душа общества.

Гамму завершали поднятые брови, закаченные подведенные глаза, вздернутый нос, взбитая прическа — в общем, типичное “Си” — романтически настроенной крашеной блондинки лет сорока пяти с кружевным бабушкиным воротничком.

Не хватало только ключа из пяти линейек. Возможно, я бы определил тональность, но тут на остановке ворвалась толпа визжащих детей со своими ошалевшими родственни-

ками; гамма моя была растерзана в клочья: на месте “соль” и “ля” взгромоздились трое близнецов с двумя огромными хозяйственными сумками, и вообще пошел такой диссонанс...

Диссонанс возникает, когда люди не понимают друг друга. Я стою перед молодежьим озабоченным человеком, который одновременно говорит по двум телефонам, дает указания секретарше, а в перерывах слушает мои сбивчивые речи. У меня в голове репетиция, у него — заграница. Он комплектует составы на зарубежные поездки, а я (в старом, обсыпанном перхотью пиджаке) никак не гармонирую, не вписываюсь в ансамбль, не соответствую. Он с раздражением посматривает в мою сторону. Перед ним типичный неудачник. Господи, как они ему надоели! Ведь, слава Богу, не безработный, и с жильем в порядке. Куда же я лезу? Ведь любому ясно, что могу бормотать тут целый день, но это ровным счетом ничего не изменит. Лишь занимаю время у занятых людей. Царапаю вилкой по стеклу. Диссонанс.

Много таких, как я, к нему ходит.

Все, наверно, на одно лицо. С готовой отрепетированной улыбкой. Заискивающий взгляд. Некоторая склонность к юмору (конечно, только над самим собой), склонность, по которой скользишь и падаешь (конечно, только в его глазах). Очень предупредительны. Готовы сразу признать превосходство, глубину мысли этого власть имущего хмыря. И все ради чего? Расположить к себе, растрогать, разжалобить, окрутить? Нет, не выйдет. Ибо если хмырь хоть что-нибудь понимает, то он догадывается о твоём подспудном искреннем желании плюнуть в его заостренное последними указаниями рыло, в отшлифованную инструкциями рожу — всех их штампуют на одно лицо, под копирку, в тиши таинственных кабинетов, у врат которых сидят на привязи лохматые дворняги-секретарши: не лают, не кусают, но в дом не пускают. Но, догадываясь о твоих желаниях, он уверен, что ты никогда не осмелишься: тебя будут отчитывать, а ты — станешь благодарить, над тобой

будут вежливо издеваться (именно вежливо, в этом состоит правило игры), а ты — станешь извиняться.

Но ты же трубач!

“Когда трубач над Краковом возносится с трубою“. Возносится!

День Страшного суда архангел возвестит сигналом трубы. Люди заткнут уши, чтобы не слышать, и уставятся в телевизоры, но там, на экране, вместо спортивной передачи, появится Конь Блед. Так вот, может, за минуту перед тем, как взять в руки трубу, архангел позовет меня и попросит дать консультацию, дескать, с какой ноты начать и как вести (на “фа диезе“ или “ре миноре“), и надо ли доходить до верхнего “ля“, — ведь архангелу не захочется схалтурить или сфальшивить, ведь архангел знает, что в нашем деле тоже техника нужна.

Я трубач, и тема трубы — призвание человека, его предназначение, единственный мотив, который прорывается сквозь шумовое оформление нашего лучшего из миров. Надо слышать эту тему, иначе мы потеряем самих себя.

Труба — это наша совесть. Но мы прячем трубу в футляр. Нам надо будить людей, а мы выдумываем мыльные пузыри танцевальных ритмов. Судьба играет человеком. Библейская истина. А человек играет на трубе. Анекдотец из мужской курительной комнаты.

Все верно. Верно потому, что нам не сыграть сигнал тревоги. Мы пасем стадо и своей мелодичной трелью зовем его к водопою. На пастушеских рожках. Да и сами мы стадо. И нас пасут. Дают пожевать травку на специально отведенных тощих пастбищах. И это состояние для нас привычно и естественно. Весь наш бунт сводится не к протесту против пастухов. Нет, мы недовольны только плохими пастухами! Нам бы сторожей-вегетарианцев — мы мигом успокоимся. Идиллия. Такого не бывает. Хорошо, говорим мы, но если вы закалываете на ужин кого-нибудь самоуверенно блеющего, то делайте это потише, где-нибудь в сторонке, по возможности объясняя остальным необходимость сего их же безопасностью. Желательно, конечно, в такие моменты показывать нам новые ворота. Здорово отвлекает.

И мы все воспринимаем как должное. Да еще благодарственный адрес подпишем. Волки и овцы едины! Приятного аппетита.

Короче — например, лично меня вполне устраивает Виктор Николаевич Самородов.

Повторение темы, басы:

и все они, эти люди, которые нас пасут, которых нам поставляют сверху, все они металлические, цельнометаллические. Не железные (это был бы комплимент, гвозди из них не сделаешь), скорее всего они жестяные, жесткие. И костюм у них тускло отсвечивает, и на лице отштамповано выражение превосходства (им известно, когда с каждого из нас спустят шкуру, — а мы строим иллюзии, беззаботно щиплем траву), и глаза — жестянки. И рот у них не улыбается, а открывается вполкруга (уголки рта презрительно опущены — отверстие достаточное, чтобы из банки вылилась очередная тонирующая или охмуряющая жидкость). Но почему, почему он имеет право командовать? Он разбирается в музыке? Он умеет найти ключ к человеку? Из всех ключей он, естественно, орудует только консервным. Впрочем, мои слова его не пробьют. Он блесит на солнце жестяными доспехами, у него блестящее будущее, он и они далеко пойдут, но не очень, им далеко до Самородова, и это, пожалуй, единственное, что несколько успокаивает. Самородов — талант, умница, чиновник по призванию, ему не нужен кованый панцирь и металл в голосе. Он самородок, он родился, чтобы руководить.

Виктор Николаевич — полковник. В сорок восьмом году, для укрепления политвоспитательной работы, его перебросили в наш оркестр из бронетанковых войск.

Часть вторая. Аллегро модерато. Краткое содержание: тенистый парк шумит зелеными кронами. На ветру полощутся стяги дружественных армий. К пустынной скамейке около фонтана подходит героиня в бело-розовом платье. Она садится, поправляет подол, достает конспекты лекций и скромно закуривает. Тихо щебечут

птицы и тонкие струйки фонтана. В центре фонтана стоит статуя Вождя. Голова запрокинута, правая рука вытянута вперед. Из рта бьет мощный поток воды.

Часто мы выступаем под управлением гастролеров, наших и зарубежных. На концерте мы следим за каждым движением дирижера. Он рукой взмахнет, голову опустит, брови подымет — на все оркестр чутко реагирует. Ведь мы — послушный инструмент, мы — под управлением.

Гастролер собрал аплодисменты и укатил. Скатертью дорога. Нас, словно временно, сдавали напрокат. У нас же есть свой Главный.

Фамилия Главного печатается на всех афишах. Главный принимает поздравления и выступает “от имени” на юбилеях. Главный проводит большинство концертов, составляет репертуар, определяет так называемое лицо оркестра. Главный шпыняет нас на репетициях и дает персональные “домашние задания”. Главный устраивает “конкурс”, но уже тут он не совсем главный. Способности, профессионализм, конечно, имеют значение, но еще важна и анкета. А это в компетенции инспектора, Виктора Николаевича Самородова. Да и репертуар Самородов тоже контролирует. Дескать, не мне вам подсказывать, уважаемый Главный, но у нас намечается нехороший крен в сторону западной музыки, надо бы взять что-нибудь из русской классики или современное, советское, оптимистическое, в народных традициях.

Главные бывают разные. Некоторые ногой открывают дверь приемной министра культуры, и при них Самородов старается держаться в тени. Но Главные приходят и уходят. На моем веку их было восемь. А Самородов остается.

Самородов дает нам характеристику для загранки, включает в гастроли, выписывает премии, утверждает тарификацию.

К Главному обращаешься с какой-нибудь просьбой — он пообещает с три короба, а потом забудет. Что с него взять? Человек творческий...

Самородов если скажет “да” — значит, “да”. Если “нет” — бесполезно жаловаться. Потому что Главный — он Главный, а Самородов — хозяин.

Помню, как квартиру получал. Давно очередь подошла, справок собрал на полтора килограмма (от нервного диспансера и от пожарной охраны ходатайства имелись), а исполком все тянул. Я к Главному бегал, и Главный не пошел, при мне звонил. Ему, конечно, пообещали протолкнуть, ускорить (все-таки он Народный и Заслуженный) — и опять ни с места.

Вот тогда я отправился прямым ходом к Самородову. Выложил все как есть.

— Виктор Николаевич, — говорю, — позвоните в исполком! Дети малые, в комнате не повернутся, соседка в суп мусор подкидывает.

Самородов посмеялся, а потом сказал:

— Звонить бесполезно. Я старый аппаратчик и знаю, как дела делаются. Я бумагу напишу. Придет бумага в исполком, а там тоже чиновник сидит. Он понимает, что у меня копия осталась. Бумага — вещь серьезная. От нее не отвертишься.

Составил он письмо, и через неделю мне ордер выписали.

Однажды я влип в неприятную историю и, как всегда, не вовремя. Проходил у нас очередной конкурс на замещение. И меня должны были перевести из артистов оркестра в солсты оркестра. Я подходил по всем статьям, вопрос казался решенным, но тут случилась аморалка между второй скрипкой Ватрушкиным и валторной Шенгелая. Вроде бы дело их личное, но в наши дни не такое уж простое: для морального разложения нужна свободная жилплощадь. Они оба — люди семейные, а я с Ватрушкиным еще в армии в одном подразделении служил. Вот и попросил меня Ватрушкин как старого друга помочь. Ключи я им от квартиры оставлял (моя жена с детьми на лето в деревню уезжала). Потом эта история всплыла, шум поднялся невероятный. Муж Шенгелая говорил с Ватрушкиным на улице и отправил его на бюллетень. Партбюро заседало, подробности выясняло. Где встречались? У Котеночкина.

Ах так, значит, Котеночкин покрывал, потворствовал? И накрылась моя переаттестация. Даже к конкурсу не допустили.

Опять я побежал к Самородову плакать и рыдать. За звание солиста я бы надбавку к жалованью получил. Жена моя пальто рассчитывала купить, на холодильник записались. Что же теперь делать? Как жене объяснить? Заподозрит еще чего, и прощай здоровая советская семья!

Ладно, сказал Самородов, подготовьте бумаги, пробьем.

Прихожу я к Главному. Он сидит с Самородовым, мое дело листает. Самородов докладывает: так, мол, и так, Котеночкин просит перевести его в солисты, а я не могу, я наложу резолюцию, а вы, уважаемый Сан Саныч, спросите: “На каком основании?“, по закону это компетенция конкурсной комиссии, а она соберется только через два года. Главный соглашается: дескать, он лично ничего против не имеет, но закон есть закон, у нас демократия.

Я стою, дурак дураком, понимаю, что они правы, а сам близок к истерике. Хорошо, закон есть закон, но зачем же вы, Виктор Николаевич, обещали? Зачем издевались над человеком?

Самородов продолжает:

— Я очень хочу помочь Котеночкину, но не вижу путей.

Сан Саныч и тут соглашается: действительно, что-то не видно.

Самородов повторяет:

— Я очень хочу помочь Котеночкину, но...

И они долго переливали из пустого в порожнее, а я уже в полуобморочном состоянии, дай, думаю, хлопну дверью и уйду, но тут Главный вдруг догадался.

— Хорошо, — говорит, — раз так хочет Виктор Николаевич, я это сделаю.

Самородов натурально удивляется: дескать, каким образом?

— В порядке исключения, — говорит Главный, — у нас был прецедент с Морозовым.

— Ну, если вы это дело санкционируете, то я подпишу, — сказал Самородов.

Только тогда я все понял. Не обманул меня инспектор. Просто он мужик ушлый и хитрый. Не хотел брать ответственность на себя. Самородов прекрасно изучил наш дружный творческий коллектив. Начинается склока, Самородова обвинят, что, дескать, у него любимчики. А теперь никто не подкопается.

Как-то Петухов, первая скрипка, выступил на собрании против Самородова. Дельно говорил, зло. И про администрирование, и про зажим критики, и про необоснованное вмешательство в репертуар. Присутствовали представители из Министерства, и мы решили, что запахло жареным. Все-таки Петухов — первая скрипка, да и человек осторожный, — значит, учуял что-то. Петухов говорил, зал одобрительно хлопал, а Самородов сидел спокойно. Правда, заметил я, что шепнул он слово секретарше, и та на каблучках тук-тук, и потом обратно тук-тук, с тонкой папочкой, которую передала Виктору Николаевичу. Кончил Петухов, гордо спустился с трибуны. Самородов взял слово.

Критика, говорит, хорошо. Замечены, говорит, отдельные недостатки, мы их учтем. Но хотелось бы обратить внимание товарищей на личность самого Петухова. Петухов, конечно, музыкант одаренный, но... И стал Самородов листать папочку, зачитывать некоторые бумаги: Петухов три года не отдаст двести рублей в кассу взаимопомощи. Прошлым летом у него был привод в милицию за пьяный дебош в ресторане. Во время гастролей во Франции, когда весь коллектив отправился на кладбище Пер-Лашез возложить цветы у стены расстрелянных коммунаров, Петухов остался в гостинице, сославшись на недомогание, а потом побежал в стриптиз на рю де Мольер. В юности у Петухова была судимость за спекуляцию консервами на Тишинском рынке, на этот факт своей биографии Петухов не указывал ни в одной анкете. В студенческие годы за незаконную связь с несовершеннолетней школьницей...

Тут собрание зашумело, раздались крики: гнать подлеца из оркестра! убрать вообще из системы Министерства! культуру в народ надо нести чистыми руками!

Мы думали — конец Петухову. И вышибли бы нашу первую скрипку к чертовой матери, и пиликать бы ему до

конца своих дней рапсодии на темы Дунаевского в кинотеатре перед вечерними сеансами, но потом, когда вопрос решался в высших инстанциях, за Петухова заступился... Самородов.

Впоследствии я сообразил, что ни к чему было Виктору Николаевичу увольнять Петухова. Петухов теперь, можно сказать, человек со сломанным хребтом. Будет шелковым. А с новым скрипачом еще работать и работать!

Моя жизнь — концерт. Я надеваю черный фрак с длинными фалдами, похожими на хвостовое оперение пассажирского лайнера, и на три часа улетаю к высотам чистого искусства — черный ангел с модернизированными короткими крыльями для преодоления звукового барьера (еще я похож на королевского пингвина в белой манишке). То, что происходит со мной, помимо концерта, — затянувшийся антракт. В старой полинявшей кофте я брожу по квартире, варю суп на газовой плите, кормлю детей, когда они возвращаются из школы, и играю на трубе. Гаммы и этюды. Доремифасольяси, села кошка на такси. Такой пушистый котенок. Хвостиком помахала и уехала в жаркие страны. Теперь повторим в верхнем регистре. Ежедневно, часов по восемь. Отработка техники. Однообразно, но зато успокаивает. Гаммы и этюды — мои закадычные приятели. Нам все известно друг про друга, не надо вставать на носки, искать умные слова, выдавать себя за того, кем ты на самом деле не являешься. Привычная компания. В этом кругу проходит моя жизнь. “Одиночество бегуна на длинные дистанции“ — читал я когда-то и эту книгу. Я забыл сюжет, но помню одно: чтобы показывать приличное время, бегун должен пробежать километров двести за неделю. Хочешь не хочешь — а надо. Надо поддерживать форму. И потому стайер остается в одиночестве. Это понятно. Кто же по доброй воле будет пробежать с ним тридцать километров ежедневно, в дождь и снег, да еще с ускорениями? Выступление на стадионе — концерт. Праздник два раза в месяц. Но в остальные дни — это кросс по пересеченной местности, интенсивная тренировка. Моя дистанция — это моя

жизнь. Целыми днями я играю на трубе одно и то же. Поддерживаю форму. Зато на концерте (переходя на спортивную терминологию) я могу вырваться вперед. И хмырь болотный, слушая мое соло, скажет: класс!

Сначала соседи по дому смотрели на меня белыми ненавидящими глазами. Некоторые меняли квартиру. Но те, которые оставались, привыкли. И семья привыкла. Для жены мои пассажи как однообразный рев машин на улице. Она просто этого не слышит. Дети относятся ко мне снисходительно. Конечно, у других отец приходит с работы и сообщает анекдоты, происшествия, включает телевизор, проверяет уроки. А я скучный человек. Играю на трубе. Упражнения, которые всем осточертели. Но я все-таки папа. Кормилец. Глава семьи. Меня надо уважать или хотя бы делать вид, что, дескать, уважаю, за хвост беру и провожаю. Провожать по вечерам на концерт. Я забыл, что значит слово “хочу”. Я знаю слово “должен”. Тридцать километров, кросс по пересеченной местности в дождь и в жару. Обязан. Говорят, музыканты — тупые люди. А как тут не отупеешь? Мы словно в летаргическом сне — просыпаемся на три часа в день, когда начинается концерт. Легко и свободно мы взмываем в поднебесье и учим людей летать, и учим людей мечтать, и учим людей быть людьми. Но потом снова гаммы и этюды, повторение партитуры, одиночество бегуна на длинные дистанции. Боль в груди — это обычная вещь при моей профессии. И во рту постоянный медный привкус от мундштука.

По ночам я редко вижу сны. Сплошной черный занавес, свет отключен. Однако если сны приходят, то там я тоже играю на трубе.

Впрочем, мне — грех жаловаться. Ведь ничего другого я не умею.

Часть третья. Анданте кантабиле. Краткое содержание: однажды великий русский композитор лежал в постели и предавался приятным размышлениям. Вдруг в дверь спальни постучали. “Чего тебе, Архипка?” — спросил композитор очень недовольным голосом, ибо в доме

все знали, что композитор по утрам не просто сибаритствует, а музыку пишет — да, да, нотная бумага на тумбочке, перо в чернильнице у зеркала, и весьма неплохо получается на свежую голову. “Барин! — сказал Архипка из-за двери. — К вам граф прибыли, из Императорского театра“. Композитор чертыхнулся, проворно облачился в халат и вышел в гостиную. Действительно, там удобно расположился в кресле зам.директора Императорского оперного театра граф Н. “Чему обязан, ваше сиятельство?“ — осведомился композитор, и в тоне этого вопроса даже немзыкальное ухо могло различить нотки недовольства и смущения. Недоволен был композитор потому, что ему прекрасно были известны причины раннего визита титулованного служителя Музы. Срок договора на новую оперу истек, а у композитора еще не была готова и половина партитуры. Смущение же композитора объяснялось тем, что в его спальне сейчас находилась дама, связь с которой он вообще старался не афишировать, а перед графом особенно. Граф встал, небрежно поклонился и начал, блистая амуницией и позвякивая шпагой, фланировать по комнате. Граф в изящных выражениях намекал композитору, что, дескать, общественность ждет новую оперу, срок пролонгации истек и через суд администрация может свободно аванс затребовать. Граф ораторствовал, а композитору казалось, что его сиятельство с любопытством поглядывает в сторону спальни, тем более что оттуда послышался звон разбитого флакона. Надо было срочно выкручиваться из неприятной ситуации, и тогда композитору пришла в голову гениальная мысль. Композитор сказал, что он уважает административный талант графа, но подозревает, что граф не очень разбирается в творческих вопросах. Партитура не закончена, ибо композитору надо поехать в свою деревню, поприсутствовать на какой-нибудь крестьянской свадьбе с песнями и танцами, послушать музыку в трактире и т.п. “К чему такие сложности?“ — натурально удивился граф. “К тому, уважаемый, что музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем“. Граф обалдел от такого откровения и по-

спешил откланяться, композитор облегченно вздохнул, а через сто с лишним лет в центральной прессе на всю полосу крупным шрифтом была набрана великая цитата: "Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы...", и далее по тексту. Впоследствии эта мысль явилась основополагающей для ста двадцати одной докторской диссертации, а число кандидатов перевалило за две тысячи. Цитата переходила из книги в книгу, из статьи в статью, и долго еще художники выписывали эти слова на плакатах в районных клубах, на фронтонах музыкальных школ, в фойе консерваторий и филармоний. Модные песенники в тиши огромных государственных квартир лихо перекладывали бразильские фокстроты (народная музыка негров) на оптимистические авиационные марши, а за окнами в морозной дымке клубилась эпоха базиса и надстройки.

Погорел я из-за происков американского империализма во время гастролей Кливлендского симфонического оркестра. Мы тогда выступали в концертном зале Чайковского, и нас предупредили, что, мол, ждите, придут гости дорогие. Естественно, мы старались, в грязь лицом не ударили. Зал минут двадцать не отпускал, на "бис" Глюка исполнили. А потом, когда я уже трубу в футляр запаковал, вбегает в артистическую Садовкин. Леша, говорит, бери ноги в руки и дуй прямо в дирекцию. Я прихожу, ничего не понимаю, а там народу!!! Шампанское разносят, на бутерброды намекают. И все товарищи из Министерства, из Управления. Присматриваюсь. Из наших только трое: Главный, Самородов и Петухов — первая скрипка. При чем тут я, думаю, наверно, подшутил Садовкин, тем более что в центре внимания американец, пузатый и полосатый. За ним еще несколько лиц иностранного происхождения. Переводчики — соловьями заливаются. Я про себя решил, что Садовкин — сволочь, ведь прием для начальства! Начал я к выходу просачиваться, а Самородов по имени-отчеству окликает. Плохо дело. Не иначе как усмотрел, что я бокал шампанского на дармовщинку опрокинул. Ладно, думаю, я не виноват, все, как есть, расскажу, Садовкину не отвертеться.

И вдруг Самородов меня, как лучшего друга, обнимает, сладко улыбается и к пузатому-полосатому подталкивает. Вот, говорит, Алексей Яковлевич Котеночкин, тот самый трубач, чье соло вам так понравилось! И переводчики сразу фридли-бридли-тру-ля-ля и замолкли, вроде бы подавились. Пауза возникла. Все на меня уставились. Гляжу — глаза у руководящих товарищей как после сытного обеда, с нежной поволокой. И улыбки прямо в воздухе тают. А пузатый-полосатый руку протягивает, лопочет какие-то курли-мурли-плиз. Тут мне незнакомый, спортивного вида малый в ухо шепчет: дескать, господин Неразберешь фамилию, антрепренер Кливлендского оркестра, за мое здоровье выпить хочет. Мне шампанское суют, я кладу глаз на Самородова, а Виктор Николаевич головой кивает и ласково жмурится. Спасибо, говорю (и сам удивляюсь своему визливому, срывающему голосу), но я предлагаю выпить за искусство, которое объединяет все миролюбивые народы! В комнате улыбки запорхали, зашелестели крыльями, а наш Главный откуда-то с потолка спикировал: разрешите, говорит, Котеночкин, с вами чокнуться. Выпили мы, лихо опрокинули. Чувствую, пора линять. Но пузатый-полосатый шурум-бурум — переводчикам, значит, — не успокоился, продолжает провокации.

Вопрос:

— Сколько вы получаете?

Отвечаю.

Вопрос:

— Видимо, переводчик ошибся. Эту сумму вам, наверно, платят за одно выступление, а мне послышалось, что один раз в месяц?

И улыбочки, птички залетные, висят в воздухе, но не двигаются, застыли.

Ах ты, гад пузатый-полосатый! Сидел бы сейчас в ресторане, жрал бы икру ложками, так не ценишь ты русского гостеприимства, все шныряешь, шпионишь. Но со мной это номер не пройдет. Не на такого нарвался!

Отвечаю:

— Я не понимаю вопроса. Нас, советских музыкантов, деньги не интересуют. Мы высокому искусству служим.

И сразу птички перелетные защебетали, замахали крыльями — резвятся, как после грозы. Наш Главный на меня преданными собачьими глазами смотрит: давай, говорит, Котеночкин, выпьем за здоровье твоей драгоценной супруги. Я опять озираюсь на Самородова, а тот в хвойной ванне блаженствует. Опрокинули мы еще по бокалу, и только я за бутербродом полез, как пузатый-полосатый меня за пуговицу берет и без переводчика, с одесским акцентом, прямо по-русски шпарит:

— Скажи, Леша, что ты тут делаешь? Ведь ты “соль” достаешь, а наш Смит Джонс на “ре” захлебывается. Почему же тебя в Европе не видно?

Каюсь: сразил меня одесский акцент. Вместо того чтобы дать достойный отпор, я забормотал: дескать, когда-то сам Дакшицер меня боялся, и в Европу я готов поехать, вот, может, Министерство организует гастроли, и вообще музыка интернациональна...

А потом я опомнился, да поздно. Птичек не слышно, одни переводчики верещат, перед моим носом торчит спина Главного, а Самородов в углу застыл с улыбкой, но глаза у него — стеклянные.

Утро было туманное. В окно бил дождь, а Самородов ходил по кабинету.

— Конечно, — говорил Самородов, — на Западе трубач получает зарплату в десять раз больше. Это факт. Но почему? Да потому, что десять других музыкантов сидят без работы и умирают с голоду. А вам безработица не угрожает. Правда, у нас скоро конкурс на замещение... Не знаю, как комиссия... Кстати, господин антрепренер — он вовсе не музыкант, а известный разведчик. Госдепартамент таких специально командировывает в соцстраны для установления контактов с неустойчивыми элементами.

— Виктор Николаевич, — взмолился я, — так ведь он, этот шпион проклятый, нахрапом действовал! Закусывать не давал. Я же после концерта, голова не варит, а господин тот шампанского подливает и на психику давит.

— Да, — вздохнул Самородов, — методы вражеской

агентуры разнообразны и коварны. Вы знаете, сколько ЦРУ ассигнует на разведку?

— Виктор Николаевич, я еще ни одного политзанятия не пропустил.

— Вот некоторые наши товарищи скоро отправляются в Канаду. Культурное соглашение. Выступления в разных городах. Конечно, концерты пройдут с успехом. Социалистическое искусство завоевывает все более широкое признание. Но иногда, опьяненные аплодисментами публики, мы забываем о бдительности. А между прочим, кто там имеет возможность посещать филармонии? У пролетариата нет денег на входной билет. Понимаете, к чему я клоню?

— Виктор Николаевич, если вы говорите о том семинаре, то, клянусь, болен я был. Бюллетень вам лично сдавал. С температурой валялся.

— Мы вам верим, Котеночкин. И вы тоже записаны на гастроли. В Узбекскую Советскую Социалистическую Республику. Ответственная поездка!

И очередное наглое вранье в газете под названием “Весь мир рукоплещет”. Ну как, как может весь мир, pardon, рукоплескать? Понятие “весь мир” включает в себя один миллиард китайцев, индийцев и пакистанцев! Они ведь с голоду умирают! Некогда им рукоплескать. Да и не каждый рабочий на цивилизованном Западе имеет возможность приобрести входной билет...

Нью-Йорк, Оттава, Гамбург, Киото, Порт-оф-Спейн, Нант, Сингапур, Рабат, Детройт, Гавана, Сингапур, Мельбурн, Гонолулу, Мар-дель-Плато, Веллингтон, Манила — какие города бывают на свете! Острова Феникс, острова Фиджи — такое и не приснится! Брюссель, Антверпен, Вена, Женева, Багдад, Карачи, Бостон, Буффало, Сакраменто, Монтевидео, Буэнос-Айрес — ведь это же все рядом, пять—десять часов на самолете! Пустите меня, ей-Богу, я там не останусь. Мне ведь только побродить по ули-

цам, посмотреть. И деньги не нужно — всю заработанную валюту я отдам государству. И без переводчика обойдусь — музыку понимают даже дикие племена в верховьях Амазонки.

Факт присутствия биологической жизни пока не установлен ни на одной планете. Но меня скорее запустят куда-нибудь к созвездию Кассиопеи, чем разрешат пересечь Государственную границу, которую бдительно охраняет солдат в зеленой гимнастерке с начищенными до блеска маленькими желтыми пуговицами. Пуговицы лучше всего драить окисью хрома.

— Усатый Хозяин, — сказал Садовкин, — правильно делал, что никого не выпускал за границу. Ну, побывал я в Лондоне, а потом два года опомниться не мог. Каждую ночь гулял по Пикадилли. Нет, уж лучше сидеть дома.

— Конечно, — сказал я. — За границей одно расстройство. Вот мы с тобой раздавим пол-литра, поплачемся, а утром спокойненько побежим сдавать бутылки. И полный порядок. Ведь на Западе, говорят, сплошная некоммуникабельность. Выпить не с кем.

Недавно я пришел на прием к Самородову и прямо с порога кабинета заявил:

— Виктор Николаевич, скоро предстоят гастроли в Сьерре-Леоне. Опять начнут утверждать кандидатуры.

— Простите, Котеночкин, — ответил Самородов, сурово глянув на меня поверх очков, — разве мы вам когда-нибудь отказывали в характеристике?

— Никогда, Виктор Николаевич. Я получал самую положительную. Но в последний момент, когда список окончательно утрясался, моя фамилия почему-то обязательно вычеркивалась.

— Министерство обычно сокращает фонды. Мы тут бесильны... Нехватка валюты...

— Виктор Николаевич, поймите меня правильно. Я не в претензии ни к Министерству, ни, тем более, к вам. Но я старый человек. Три месяца оформляешь бумаги, соби-

раешь справки — лишняя нервозность, суета. А зачем? К чему ненужные хлопоты? Я лучше спокойно уеду в отпуск. Заранее приобрету путевочку. Ведь и на этот раз сократят список. Сами говорите, что плохо в стране с валютой.

— Присядьте, Алексей Яковлевич. Курите? Курите. Да, люди мы уже немолодые. Не заботимся о собственном здоровье. А пора. Как самочувствие? Что-то вы неважно выглядите последнее время. Нет, нет, какая пенсия? Мы с вами еще поработаем. Но беречь себя надо. Я вот давно думаю: почему бы вам не попросить путевочку куда-нибудь в санаторий? Например, в Кисловодск? Полезное дело.

— Так в Кисловодск не достанешь. Все нарасхват.

— А вы рискните. Мы вас поддержим. Напишите мне сразу заявление.

— Виктор Николаевич, путевка-то кусается. Я на курорт уеду, а семья без денег останется. Боюсь, ничего у нас не выйдет.

— В заявлении укажите, что просите бесплатную. За счет профсоюза.

— Неудобно. Товарищи скажут: почему Котеночкину вдруг такие льготы? Чем мне мотивировать?

— А это уж моя забота. Поняли? Пишите. Мы заинтересованы, чтобы лучшие наши оркестранты пребывали в добром здравии. Кстати, в Сьерре-Леоне очень тяжелый климат. Не рекомендую. Большой процент влажности.

— Повезло Котеночкину, — сказал потом Петухов, первая скрипка. — Нам опять лягушками и прочей нечистью питаться, а он к нарзану поближе устроился.

— А ты привези одной кофтой меньше, — сказал я. — Так ведь — на консервах — язву зарабатываешь.

Финал. Модерато э грациозо. Краткое содержание: то, что бомбежка кончилась, я заметил, когда почувствовал на щеке капли дождя. Да, шел мелкий грибной

дождь. Лучи солнца сверкали на траве, на листьях, на мокрой зеленой кабине опрокинутого взрывом грузовика. И вдруг я услышал команду: "Оркестр, ко мне!" Посреди шоссе, около большой воронки, стоял полковник Щербачков, а за ним — двое со знаменем. Мы робко потянулись из кустов, опасливо поглядывая на небо, где совсем недавно юнкеры резали верхушки деревьев. "Расчехлить инструмент! — приказал полковник. — Играть марш!" В воздухе, оглохшем от неправдоподобной тишины, раздались первые такты "Прощания славянки". Ту-ту, ту-ту, ту-ту, ту-ту — деловито вел на баритоне Вася Аксельраторов вторую партию. Та-таа, та-та-таа, та-таа, та-та-таа! — взмыла моя труба. Жив, жив, думал я, а ведь казалось, что совсем убили, нет, стою, живой и вроде бы целый, не задела, сволочи, так думал я, а труба пела независимо от меня, словно она тоже ожила. Из мертвого, искореженного леса выползли наши ребята, отряхивались, матерились и становились в строй. Левее, в десяти километрах, полк уже обошла колонна немецких танков, но многие из нас этого так и не узнали.

Через витрину мастерской я вижу, как часовщик, прильнув к своему черному карманному окуляру, пытается разгадать тайну времени.

Когда за мной закроется занавес (горизонтальный, плоский занавес в крематории) и я на бесшумном скоростном лифте (модерн, финского производства, где уже в первый день кто-то, анонимный, нацарапал на стенках "Миша — дурак" и еще несколько неприличных слов) поднимусь прямо к архангелу, так этот архангел (Михаил Израилевич?), естественно, спросит:

— Скажи, Котеночкин, остался ли ты доволен своей жизнью?

И в семитских печальных глазах архангела я прочту откровенное разочарование.

— Эх, Котеночкин, — вздохнет архангел, — ведь ты родился трубочом! Мы-то на тебя надеялись!

— На Бога надейся, — отвечу я, — а сам не плошай. Мне зарплата с неба не капала. Кто платит, тот и музыку заказывает. Так на кого же мне было молиться?

На Самородова, на дорогого Виктора Николаевича!

Я трубач. Я отыграл концерт и выхожу на улицу. Я маленький человек и разбираюсь только в нотах. А на меня со всех сторон милиция и общественность, домоуправление и товарищеский суд, министерства и профсоюзы, исполкомы и горсовет, коммунальное обслуживание и школы, прачечная и химчистка, гражданский кодекс и политпросвещение, пресса и телевидение, детские сады и вражеская пропаганда, агрессивный блок НАТО и китайские догматики, экономическая реформа и морганизм-менделизм, модернизм, абстракционизм, ревизионизм, аполитизм, аморализм, бытовизм, продуктивизм (нет мяса в магазинах), спекулятизм, сексуализм, дефицитизм, социализм, алкоголизм и разные прочие соблазнизмы — их много, а я один! Кто же меня выручит, кто мне глаза раскроет, кто мне справку напишет, ребенка в спецшколу устроит, путевочку достанет, ходатайство в ЖЭК пошлет? Допустим, пьяный в троллейбусе драку затеет, меня вовлечет, так кто же от протокола спасет Котеночкина, в больнице койку забронирует, к распределителю прикрепит, телефон выхлопочет, уму-разуму научит, приголубит, приласкает? Только Самородов, Виктор Николаевич родимый. На него вся надежда.

Ну не пускали меня за границу. И правильно делали. Какой смысл меня туда посылать? Ойстрах и Ростропович ездили — и ничего, устоял проклятый Запад. А я сам человек неустойчивый, так Виктор Николаевич соблюл мою нравственность.

Я на спиртное падаю, а вдруг после двух рюмок какая-нибудь блонда потащит меня домой унижать достоинство советского человека? Потом на собраниях позору не оберешься. Нет, на страже стоял Виктор Николаевич — честь ему и хвала!

Выйдет срок, и пенсию мне Самородов оформит. А умру, так семье беспокоиться нечего: Виктор Николаевич нишу у крематория выбьет, панихиду организует и о некрологе позаботится. И все, заметьте, за счет государства. Ценить надо такие удобства!

Не дай Бог заберут от нас Самородова. Страшно подумать, что будет! Молодые аппаратчики — люди надменные, от них душевного подхода не дождешься. Они себе дачи еще не построили, а Виктор Николаевич давно наелся. И ведь не воровал он, а другие еще как воруют! Многие инспектора звание народных артистов выхлопотали (хотя даже нот читать не научились), а Самородов умен, себя на посмешище не выставляет, у него свое, честно заработанное звание — полковник (говорят, он до сих пор в сейфе хранит погоны). Возможно, он мечтал дослужиться до генерала. Увы, у каждого свои трудности.

Новый инспектор, придя на место Самородова, карьеру захочет сделать, а инспекторская карьера — дело известное — основана на том, что нужно разоблачать, выискивать, распознавать и прорабатывать так называемых скрытых модернистов и низкопоклонников. И начнется в коллективе смута, склока, нервотрепка, и полетят к черту репетиции — одни персональные дела пойдут. А Самородов к месту прикипел, должностью доволен, поэтому он заинтересован в нормальной работе оркестра и лишнего шума подымать не будет.

Если инспектором назначат кого-нибудь из наших, так еще хуже. Скрипач все льготы струнным отдаст, духовик — личные счета сводить станет, ударник одни марши в репертуар введет, дирижер — вдоволь наиздевается. А Самородов, он вне партий, вне группировок, для него все мы равны.

Вот почему, когда я замечаю в конце коридора знакомую фигуру, я радостно бросаюсь навстречу и от всего сердца приветствую:

— Доброго вам здоровья, Виктор Николаевич!

**АНАТОЛИЕМ ГЛАДИЛИНЫМ
НАПИСАНО:**

- “Хроника времен Виктора Подгурского“ (1956)
“Идущий впереди“ (1958)
“Бригантина поднимает паруса.
История одного неудачника“ (1959)
“Песни золотого прииска“ (1960)
“Вечная командировка“ (1962)
“Первый день Нового года“ (1963)
“История одной компании“ (1965)
“Дым в глаза. Повесть о честолюбии“ (1959)
“Евангелие от Робеспьера“ (1972)
“Прогноз на завтра“ (1972)
“Два года до весны“ (1975)
“Тигр переходит улицу“ (1976)
“Репетиция в пятницу“ (1978)
“Парижская ярмарка“ (1980)
“Большой беговой день“ (1983)
“ФСРС. Французская Советская
Социалистическая республика“ (1985)
“Меня убил скотина Пелл“ (1991)

Анатолий Гладилин родился в 1935 году в Москве. После окончания школы работал электриком, в 1954—58 гг. учился в Литературном институте им. Горького. Наступало время оттепели, время необыкновенное, когда самый невинный вроде бы прозаический пассаж воспринимался как смелое разоблачение: “Стояли последние дни зимы. На одной стороне улицы еще мороз (сегодня минус двенадцать), а на другой с сосулек падают громкие капли“. (Илья Эренбург, повесть “Оттепель“.) Впрочем, метафоры действительно высвечивали реальность: на одной стороне — мороз, наследники Сталина; на другой — начало живой жизни. Гладилин оказался на той стороне улицы, где падали “громкие капли“. Он и сам был “громкой каплей“, ибо с его “Хроники времен Виктора Подгурского“ (1956) началась новая литература — “молодая“, или “исповедальная“, проза шестидесятых.

“Молодая проза“ пробила основательную брешь в канонах соцреализма, через которую и вывела на сцену нового героя (молодого горожанина), новый язык (разговорный, иронический), новую раскованную форму письма. Этот тектонический сдвиг в культуре имел далеко идущие — вплоть до постсоветских девяностых годов — последствия, с него началось наше новое самосознание. Возможности “молодой прозы“ были тогда ограничены: например, в 57-м году Гладилин уже мог написать, но не мог опубликовать повесть “Беспокойник“ — она стала чуть ли не первым Самиздатом, который естественным образом превращался в Тамиздат. Естественно также, что писатели этого поколения и умонастроения и составили по преимуществу третью волну эмиграции. В

72-м году роман Анатолия Гладилина “Прогноз на завтра” попал на Запад, а через четыре года туда попал и сам автор.

Ушла из жизни старая фразеология — та неистинная речь, против которой прежде всего восстала литература “шестидесятников”. Но появился другой “новояз”, столь же легко подменяющий живое слово и живую мысль. Потому и обаятельны для нас сегодня давние рассказы Анатолия Гладилина, собранные в книге “Каким я был тогда”. Она увидела свет в 86-м году благодаря американскому издательству “Ардис”, самоотверженно и бескорыстно поддерживающему русскую литературу.

Г52 Гладилин А. Беспокойник: Рассказы разных лет. — М.: Независимый альманах "Конец века", 1992, — 288 с.

Труп мечется по заснеженной Москве в поисках жертвы.

Его не берут милицейские пули, никто и ничто не страшит его.

Впрочем, его мало кто замечает, он слился в городе со всеми нами, он — как мы. И мы — как он. И жизнь наша вроде загробной.

Повесть «Беспокойник» была написана в 1957 году. Публиковалась за рубежом, в нашей стране выходит впервые, как и многие произведения этого автора.

Клеймо «антисоветчина» прочно прилепили к творчеству Анатолия Гладилина, русского писателя, живущего ныне в Париже. Его книги возвращаются на родину спустя десятилетия.

Рассказы этого сборника взяты из книги американского издательства «Ардис», благодаря которому десятки изгнанных из нашей страны писателей могли печататься, не канули в небытие.

Анатолий Гладилин
БЕСПОКОЙНИК
рассказы разных лет

Компьютерная верстка *Григорьева О.И.*
Корректоры *Гальперина Н.Б., Звездочетова Н.В.,*
Красильникова С.В.

Сдано в набор 25.04.92. Подп. к печати 10.07.92. Формат 84X108/32.
Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл.печ.л. 15,12. Уч.-изд.л. 13,79. Тираж 50 000.

Заказ № 1865

МП «Конец века», 103055, Москва, к-55, а/я 95.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Можайском полиграфкомбинате
Министерства печати и информации РФ.
143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, 93.